

МИРОВАЯ КЛАССИКА

Д. ЛОУРЕНС



Любовник леди Чаттерли

Любовник леди Чаттерли

Дэвид Герберт Лоуренс

Аннотация
Дэвид Герберт Лоуренс. ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

По поводу романа «Любовник леди Чаттерли» (Эссе)

Аннотация

Дэвид Герберт Лоуренс остается одним из самых любимых и читаемых авторов у себя на родине, в Англии, да, пожалуй, и во всей Европе. Важнейшую часть его обширного наследия составляют романы. Лучшие из них — «Сыновья и любовники», «Радуга», «Влюбленные женщины», «Любовник леди Чаттерли» — стали классикой англоязычной литературы XX века. Последний из названных романов принес Лоуренсу самый большой успех и самое горькое разочарование. Этический либерализм писателя, его убежденность в том, что каждому человеку дано право на свободный нравственный выбор, пришлись не по вкусу многим представителям английской буржуазии. Накал страстей и яркость любовных сцен этого романа были восприняты блюстителями морали как вызов обществу. «Любовник леди Чаттерли» сразу же после выхода в свет в 1928 году был запрещен к дальнейшему изданию, а готовый тираж был изъят и уничтожен. Запрет действовал более 30 лет, и лишь в 1960 году после

громкого судебного процесса, всколыхнувшего всю Англию, роман был реабилитирован и полностью восстановлен в правах. Лоуренс создал три версии своего романа. Последняя из них была признана окончательной самим автором.

Дэвид Герберт Лоуренс
ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛИ

1

В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди — рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо, с грехом пополам, берем приступом. Но какие бы невзгоды на нас ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.

Так примерно рассуждала Констанция Чаттерли. Война в пух и прах разбила ее благополучие. Что ж, дорого приходится платить за уроки житейской мудрости.

Констанция вышла замуж за Клиффорда Чаттерли в 1917 году — его в ту пору отпустили из армии на побывку. Промелькнул медовый месяц, и Клиффорд уехал обратно во Фландрию. А через полгода его, израненного, едва живого, привезли домой. Констанции исполнилось двадцать три года, Клиффорду — двадцать девять.

Он отчаянно боролся со смертью, явив завидную волю, и мало-помалу шел на поправку. Два года колдовали над ним врачи и вернули его

к жизни, прописав, правда, разные снадобья. Но ниже пояса тело Клиффорда так и осталось недвижным.

Шел 1920 год. Клиффорд и Констанция обосновались в родовом гнезде Чаттерли — усадьбе Рагби. Старый баронет уже умер, сын унаследовал титул, его стали величать сэром Клиффордом, а Констанцию — леди Чаттерли. Семейную жизнь им пришлось начинать в довольно запустелом доме на довольно скромные средства. Из близкой родни у Клиффорда осталась лишь старшая сестра, да и та жила отдельно. Старший брат погиб на войне. Клиффорд знал, что детей у него не будет и что род Чаттерли просуществует, покуда живы он сам и его усадьба в закопченном и задымленном сердце Англии.

Увечье не столь удручало его. Передвигаться он мог на кресле-каталке и заказал себе кресло на колесах, с моторчиком. Неспешно объезжал он сад и чудесный печальный парк. Втайне Клиффорд гордился им, на людях же упоминал с пренебрежением.

Клиффорд так настрадался, что почти избыл самое способность страдать. По-прежнему держался чуть сдержанно, по-прежнему в голубых дерзких глазах светился ум, по-прежнему на

румяном лице играла бодрая, если не сказать веселая, улыбка, по-прежнему широки плечи и крепки руки. Одежду он носил самую дорогую, галстуки — самые красивые и модные. И все же читалась в лице настороженность, а во взгляде порой сквозила отрешенность, присущая калекам.

Заглянув в лицо смерти, он теперь принимал жизнь (точнее, то, что ему осталось) как бесценный и чудесный дар. Да, он выстоял, вынес все тяготы и гордился собою, и об этом говорил взгляд умных беспокойных глаз. Но слишком тяжел был удар — что-то надломилось у него в душе, какие-то чувства безвозвратно исчезли. Опустошенность и безразличие легли на сердце.

У его жены Констанции были мягкие каштановые волосы, румяное, простодушное, как у деревенской девушки, лицо, крепкое тело. Движения обманчиво плавны и неспешны — не угадать недюжинной внутренней силы. Большие, будто вечно вопрошающие глаза, тихий, мягкий говорок — ни дать ни взять только что из соседней деревушки заявилась. Но внешность обманчива. Ее отец — некогда известный художник, член Королевской Академии, достопочтенный сэр Малькольм Рид. Мать — женщина образованная,

сторонница фабианства в политике, взращенная на традициях Возрождения в искусстве, столь пышно расцветших в середине прошлого века[1]. В кругу художников и просвещенных социалистов Констанция и ее сестра Хильда воспитывались, можно сказать, в современнейшей эстетической атмосфере, без мещанских условностей и предрассудков. Девочек возили в Париж, Флоренцию, Рим — надышаться подлинным искусством; в Гаагу и Берлин — на съезды социалистов; на каких только языках там не произносились речи! Но это отнюдь не смущало присутствующих.

Итак, сызмальства окунувшись в сферы высокого искусства и теории справедливого жизнеустройства, девочки ничуть не тушевались, чувствовали себя в родной стихии. Столичный лоск в них прекрасно уживался с ограниченностью провинциалок; И как хорошо сочеталось их простодушное суждение о мировом искусстве с высокими идеалами справедливого общества!

Лет пятнадцати их послали в Дрезден. Там, помимо всего прочего, им предстояло приобщиться к миру музыки. Время они провели замечатель-

---

[1] notes: 1

Имеется в виду группа английских поэтов и художников «Прерафаэлитское братство».

но. Жили в студенческой среде. Жарко спорили с юношами о философии, общественной жизни, искусстве и ни в чем не уступали сильному полу, пожалуй, даже превосходили: как-никак они — женщины! Ходили в походы по лесам, и у ладных спутников непременно оказывались гитары. Сколько песен они перепели, наслаждаясь свободой. Свобода! Какое великое слово! Перед ними распахнут весь мир, их привечают предрассветные леса, рядом — здоровые молодые парни. Делай что хочешь, говори (это еще важнее!) что хочешь! Ведь разговоры, страстные споры, обмен мнениями — главное! А любовь — нечто второстепенное.

К восемнадцати годам и Хильда, и Констанция уже познали мужчин. Конечно же, их спутники, с которыми они так неистово спорили, так ладно пели, ночевали под раскидистыми деревьями, добивались близости с девушками. И те, поколебавшись, уступили. Ведь о половой жизни столько говорят. Значит, это и впрямь нечто важное. Да и мальчишки ведут себя достойно, сдерживая страсть. Так почему же девушке не проявить воистину царскую щедрость и не одарить поклонника своим телом?

И девушки одарили, выбрав наиболее остро-

умных и задушевных собеседников. Ведь самое приятное, самое главное — в беседах. А в постели — жалкое подобие приятного, пожалуй, даже разочарование. И девушки сначала охладели к приятелям, потом появилась неприязнь: будто парни посягнули на нечто сокровенное, на внутреннюю девичью свободу. Ибо в чем суть и смысл девичества, в чем его достоинство? Достичь полной, безоговорочной, беспорочной и благородной свободы! В чем еще смысл девичьей жизни? Решительно избавиться от стародавних постыдных оков, от зависимости от мужчины.

И как бы ни приукрашивали все прелести половой жизни, именно они суть древнейшие оковы, орудия постыднейшего рабства. И воспевали их в основном поэты-мужчины. Женщины-то исстари понимали, что есть на свете ценности поважнее, поблагороднее. И наш век не раз это подтвердил. Свобода, чистая, прекрасная свобода несравнимо выше и чудесней любви Плотской. Только вот беда: не доросли еще мужчины до «прекрасного пола», не открыли для себя истины. Настоящие кобели — только плоть свою потешить.

И приходится женщине уступать. Но мужчина, что дитя малое, меры не знает. И приходится женщине его ублажать, а то, не дай Бог, ее ми-

лый разобидится и упорхнет, так и порушится приятное знакомство. Но женщина научилась уступать мужчине, не жертвуя и толикой своей внутренней свободы. Этого-то и недоглядели поэты и говоруны-сладострастники. Да, женщина может овладеть мужчиной и не подпасть в свою очередь под его власть. Точнее, женщина сама возьмет власть над мужчиной, и поможет ей в этом плоть. Главное, поначалу чуть сдерживаться в постели, пусть мужчина утолит жажду. Он удовлетворится, и тогда можно подумать о своем удовольствии — мужчина долее лишь игрушка в руках женщины.

Едва сестры вкусили от плотских радостей, как грянула война, и их спешно отправили домой. Истинной любви девушки так и не познали, для этого потребовалось бы очень близко сойтись со спутниками в разговорах. Точнее, глубокий интерес (а за ним и чувство) могли возникнуть только в *беседе*. Сколько удивительного, упоительного трепета (кто бы мог подумать!) таилось в жарких, целыми днями напролет, спорах-разговорах с тем или иным по-настоящему умным парнем. И день бежал за днем, проплывали месяцы… Нет, такого не испытать, не понять! Перефразируя прародительский завет — «И да прилепится жена

к мужу, дабы беседовать с ним!», хотя сами слова не были произнесены. Завет исполнился раньше, чем девушки осмыслили его.

И уж коль скоро пылкие, предельно доверительные и душепросветительные беседы разбудили плоть, что ж, пусть все идет своим чередом. Заполнится, так сказать, еще одна страничка жизни. И в ней есть своя прелесть. Ни с чем не сравнить волнами накатывающий трепет. И вот — девятый вал — извержение! Точно восклицательный знак в конце фразы! Знак исполненности и законченности. Или череда звездочек в конце главы, знаменующая завершение эпизода.

Летом 1913 года, когда девушки (Хильда — двадцати, а Конни — восемнадцати лет) вернулись на каникулы домой, отец сразу смекнул, что дочери уже познали мужчин. Но сам человек, как говорится, бывалый, он решил не вмешиваться в течение их жизни. Мать, доживавшая свой век в сильном нервном расстройстве, пеклась лишь об одном, чтоб ее девочки были «свободны», чтоб их личности «полностью раскрылись». Самой бедняжке жизнь в этом отказала, «раскрыться» ей так и не удалось. Почему — ведомо лишь Господу, ведь она жила в достатке и независимости. Винила она во всем мужа. И напрасно: сызмальства в

ее сердце и уме запечатлелся образ мужчины-повелителя, и избавиться от него так и не удалось. И сэр Малькольм Ни при чем. Он предоставил своей неуравновешенной, вечно недовольной, враждебно настроенной супруге распоряжаться ее собственной судьбой, выгородив ее из своей жизни.

Дочери и впрямь были «свободны», а потому вернулись вскорости в Дрезден, к музыке, университетским премудростям и приятелям. Каждая по-своему любила «своего» парня, и те тоже любили их со всей пылкостью, коренившейся не в сердце, а в уме. Все самые прекрасные мысли, слова подарили они своим возлюбленным. Приятель Конни занимался музыкой, приятель Хильды — точными науками. Но главное занятие в жизни — любимые девушки. То бишь в жизни внутренней, в сфере мыслей и чувств. В жизни обыденной у них бывали и неудачи, и разочарования, но юноши их не замечали.

И у юношей можно заметить, как любовь поражает не только их дух, но и плоть. Интересно, как неброско, но очевидно меняется обличье и мужчин, и женщин. Женщина расцветает, теряет девичью угловатость: бедра, груди обретают округлость. Взгляд либо взволнован, либо торже-

ствующе-уверен. Мужчина делается спокойнее, чуть замыкается, не так гордо размахнуты плечи, подобраны ягодицы. Появляется раздумчивость и неуверенность.

Поначалу, столкнувшись с незнакомой мужской силой, которая ввергла их плоть в трепет и смятение, сестры едва не подчинились ей. Но вовремя возобладал разум: да, ласки приятны, но не более. В кабалу за них идти нельзя. У мужчин по-другому: в благодарность женщинам за минуты любви они готовы всю душу отдать. Хотя потом сами же в затылках чешут — эх, потеряли золотой, а нашли медяк. Приятель Конни становился все мрачнее, а приятель Хильды — язвительнее. Такой вот народ эти мужчины. Неблагодарные и ненасытные! Отказываешь им — они сердятся, потакаешь — пуще прежнего злобятся, повод всегда найдется. А то и вовсе без повода, просто капризничают, как дети, которых — старайся, не старайся — женщине не ублажить.

Грянула война. Хильда и Конни поспешили домой, где были совсем недавно — хоронили мать. А к Рождеству 1914 года погибли и их друзья немцы. Сестры всплакнули, любовь полыхнула в душе ярким огоньком и подернулась пеплом забвения. Этих молодых людей не вернешь.

Сестры поселились в отцовском доме в Кенсингтоне (по сути — доме их матери). Теперь их окружали студенты Кембриджа, они тоже отстаивали свою «свободу»: носили тонкие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками; кичились чистокровной анархией чувств; говорили вкрадчивым, журчащим шепотком; в поведении выказывали нарочитую впечатлительность и ранимость.

Хильда неожиданно вышла замуж; ее избранник был на десять лет старше, из той же кембриджской группы, немалого достатка, с нехлопотным чиновничьим местом, которое досталось ему по наследству. Он также писал философские трактаты. Она переехала к нему в тесноватый домик в Вестминстере. Круг знакомых теперь составляли чиновники, хоть и не самого высокого ранга, зато несомненно самые толковые на сегодняшний (или на завтрашний) день в стране. Такие люди не пустословят, а если уж говорят, то умно и веско.

Конни участвовала в благотворительной работе в помощь фронту, однако не особенно усердствовала; проводила много времени в обществе своих кембриджских друзей, щеголявших не только модными брюками, но и непримиримы-

ми взглядами. Эти молодые люди по-прежнему подсмеивались над всем и вся. Особенно она сблизилась с Клиффордом Чаттерли. Было ему двадцать два года, и он только что приехал из Бонна, где изучал технологию угольной добычи. А до этого два года проучился в Кембридже. Теперь, облачившись в лейтенантскую форму, он с большим форсом осмеивал все на свете. Принадлежал он, несомненно, к кругам высшим, нежели Конни. Та — из зажиточной интеллигентской среды, Клиффорд — из аристократии. Не ахти какой знатной, но все же. Отец его носил титул баронета, мать — графская дочь.

Клиффорд, хоть и получил лучшее, чем Конни, воспитание, хоть и вращался в свете, уступал ей в широте кругозора и напористости. В узком кругу помещиков-аристократов, «сливок общества» он чувствовал себя, как рыба в воде, но с низшими сословиями — ордами простолюдинов и иноземцами — он терялся, робел. Да, если уж говорить начистоту, «низы» пугали его. Он чувствовал свою беззащитность, оттого бывал скован, хотя лучшей защитой ему служило положение в обществе. Увы, в наши дни, как ни странно, это козырь немалый.

Может, именно поэтому тихая, спокойная, но

неизменная твердость духа привлекала его в Констанции Рид. В мире, где царит хаос, она чувствовала себя много увереннее, чем Клиффорд.

Нет, он отнюдь не мирился со всем, он восставал, восставал даже против аристократов. Впрочем, «восставал», пожалуй, сильно сказано. Слишком сильно. Просто в ту пору его подхватила волна всеобщего среди молодежи протеста против условностей, против любой власти. Как нелепо и смешно старшее поколение! А его собственный отец — вдвойне! Как нелепы и смешны чиновники! А наши трусливые и ленивые бюрократы — вдвойне! Как нелепы армии, смешны тупоголовые генералы! А красномордый Китченер — вдвойне! А до чего ж нелепа война, смешного, правда, в ней мало: гибнут тысячи и тысячи людей.

Если приглядеться — все в жизни нелепо и смешно, прямо обхохочешься; а там, где попахивает властью, — и подавно, будь то армия, правительство или университет. А глядя, как правящий класс изо всех сил пыжится, воображая, что правит, разве удержишься от смеха?

Как смешон сэр Джеффри: он рубил деревья на крепеж для окопов, увольнял рабочих, поставляя солдат для фронта. И так, не рискуя волоском

с головы, являл пример патриотизма, правда, очень накладного — он в конце концов едва не обанкротился.

Из центра страны в Лондон приехала его старшая дочь Эмма — она решила поработать сестрой милосердия. К отцовскому ура-патриотизму она отнеслась со спокойной улыбкой. Зато старший сын (и наследник) Герберт смеялся отцу в лицо, хотя именно в его парке вырубались деревья. Клиффорд тоже усмехался. Но чуть смущенно. Верно, все в жизни нелепо. Но когда нелепости врастают в твою жизнь, и сам становишься нелепым… Люди из других сословий, например Конни, жили без притворства. Они по крайней мере во что-то верили.

Они непритворно жалели английских солдат, боялись призыва в армию, сетовали на нехватку сахара и конфет детишкам. Ведь во всем этом — смейся не смейся — виноваты власть предержащие. Клиффорд всерьез об этой связи не задумывался. По его разумению, власть изначально нелепа и смешна, ни солдаты, ни конфеты тут ни при чем.

Меж тем правительственные чиновники, чувствуя свою нелепость и смехотворность, соответственно и поступали, и некоторое время

страна жила словно в сумасшедшем доме. Пока не поменялось к лучшему положение на фронтах, пока Ллойд-Джордж не пришел к власти и не спас-таки положение. Приумолкли юные острословы, неуместны стали их насмешки.

В 1916 году погиб Герберт Чаттерли, и наследником стал Клиффорд. Даже такая малая ответственность напугала его. С рождения его почитали как сына сэра Джеффри, дворянского отпрыска, и участи своей ему не избежать. Знал он и то, что на бескрайнем и таком беспокойном белом свете всякие титулы и привилегии видятся кому желанными, а кому смешными. И вот теперь он наследник и отвечает за судьбу родового гнезда. Как не испугаться?! Но в то же время он упивался своим барством. Может, это глупое тщеславие?

Для сэра Джеффри, разумеется, самая мысль о тщеславии показалась бы кощунственной. Он ходил бледный, деланно спокойный, погруженный в собственные замыслы: во что бы то ни стало спасти свою родину и свое положение — при правительстве Ллойд-Джорджа или при каком ином — не важно. Он так плохо представлял себе истинную Англию, так был оторван от сиюминутных ее забот, что держался доброго мнения даже

о политиканах-прохвостах! Сэр Джеффри верил в Англию и Ллойд-Джорджа; как его предки издревле верили в Англию и Георгия-Победоносца. Чаттерли-старший этой маленькой разницы так и не заметил. Он знай себе валил лес на своих угодьях и свято верил в Ллойд-Джорджа и Англию, в Англию и… Ллойд-Джорджа.

Он очень хотел, чтобы Клиффорд женился и произвел наследника. Прямо средневековье какое-то, думал Клиффорд. Впрочем, далеко ли он ушел сам, разве что в язвительных насмешках над нелепой жизнью и над собственным смехотворным положением. Хочешь не хочешь, а пришлось ему, сдерживая глумливый смех, смириться: принимать ему и титул баронета, и родовую усадьбу Рагби.

Война в два счета покончила с беспечным весельем мирных дней. Кругом смерть, кровь… Мужчине хотелось уюта, поддержки. Мужчине хотелось в тихую гавань, где можно бросить якорь. Мужчине хотелось жениться.

Странное дело: несмотря на многочисленные знакомства, младшие Чаттерли (Герберт, Клиффорд и Эмма) жили в Рагби весьма обособленно, довольствуясь обществом друг друга. Семейные узы крепли: все трое чувствовали свою обособ-

ленность, шаткость своего положения среди людей (титул и земли скорее способствовали тому, нежели защищали). Жили они вроде бы и в самом промышленном сердце Англии, однако пульс их жизни был совсем иной. Жили они вроде бы среди таких же помещиков, как и отец, однако из-за домоседства, замкнутости и упрямства они так и не сблизились с соседями. Дети, хотя и нежно любили отца, частенько подсмеивались над его тяжелым нравом. Они поставили прожить всю жизнь неразлучной троицей. Но вот погиб Герберт, и сэр Джеффри все надежды связал с женитьбой младшего сына. Нет, разговора об этом старик не заводил, он вообще был скуп на слова. Но его задумчивый взгляд, тяжелые, неспешные шаги, исполненное смысла молчание нудили Клиффорда пуще всяких попреков.

Его браку, впрочем, решительно воспротивилась Эмма. Была она десятью годами старше и считала: женится Клиффорд — значит, предаст и опорочит некогда изъявленную волю троих юных Чаттерли.

Все же Клиффорд женился на Конни и успел провести с ней медовый месяц. Страшный 1917 год сблизил их — так вмиг сближаются пассажиры на палубе тонущего корабля. До женитьбы

Клиффорд не спал с женщинами, а плотские утехи значили для него очень и очень мало. А душевная близость с женой не нарушила его девства. Конни даже обрадовалась: вот истинная любовь, выше всяких там сексуальных отношений, выше «удовлетворения страсти». Клиффорд, собственно, и не домогался никакого удовлетворения, не в пример многим и многим мужчинам. Его близость с Конни глубже, интимнее близости половой, которая нечто далеко не обязательное, второстепенное. Так, допотопная и смехотворно нелепая биологическая реакция, назойливо заявляющая о себе, а меж тем надобность в ней давно отпала. А Конни мечтала о ребенке. Хотя бы для того, чтобы утвердиться перед золовкой.

Нов начале 1918 года Клиффорда привезли домой, что называется, еле-еле душа в теле. Детей ждать не приходилось. Сэр Джеффри не вынес горя и умер.

2

Осенью 1920 года Конни и Клиффорд вернулись в Рагби. Сестра Клиффорда так и не простила ему «предательства» и поселилась в Лондоне, в маленькой квартирке.

Усадьба Рагби — старый приземистый и долгий дом, сложенный из песчаника, — стояла давно, с середины восемнадцатого века. С той поры к дому все лепились и лепились бесчисленные пристройки, и теперь дом являл собою скорее муравейник, нежели дворянское гнездо. Стояла усадьба на всхолмлении посреди дубравы, но прямо за ней, увы, дымила и чадила огромная труба — там уже главенствовала шахта Тивершолл, а у подножья холма, прямо от усадебных ворот начиналась деревня, тоже Тивершолл — тонувшая в сыром мареве. Собственно деревушку составляли унылые и безобразные домишки, разбросанные там и сям на добрую милю. Тесные, убогие, прокопченные дома из кирпича, крытые почерневшим шифером. Фасады их напоминали искаженные безысходной злобой лица.

Конни была более привычна к другой Англии:

к Кенсингтону, к горам Шотландии, к долинам Сассекса. Но и чудовищно бездушное уродство шахтерского «сердца Англии» приняла с присущими всем молодым твердостью и решимостью. Приняла сразу. Взглянула и решила — точно отрезала: и лучше об этом и не думать, хотя такое и в страшном сне не приснится. Из тоскливых усадебных покоев ей было слышно, как лязгают огромные сита на сортировке, как тяжко вздыхает и отдувается подъемник, как громыхают вагонетки, как хрипло в изнеможении гудят шахтовые паровозы. Огонь уже долгие годы пожирал устье шахты Тивершолл, но погасить его — накладно. Так и горел огромный факел денно и нощно.

А подует ветер в сторону дома (что не редкость), и усадьба наполнялась удушливой серной вонью испражнений Земли. Да и в безветренный день тянет чем-то подземным: серой, железом, углем и еще чем-то кислым. Даже розы, выращенные к Рождеству, каждый раз покрываются копотью, как черной манной с небес в Судный день. Глазам своим не поверишь.

Увы, это так: здешний край обречен! Конечно, это ужасно, но стоит ли вставать на дыбы? Жизнь идет своим чередом, ее не остановишь.

На низких полночных тучах загорались красные точки, играли огненные блики, то надувались пузырями, то лопались, как волдыри после ожога, оставляя непреходящую боль. То были шахтные печи. Поначалу они завораживали и пугали Конни, ей казалось, что она живет в преисподней. Но обвыклась. Почти каждое утро встречало ее нудным дождем.

Клиффорд же во всеуслышанье заявлял, что Рагби ему больше по душе, нежели Лондон. В этом краю таилась своя угрюмая сила, жили крепкие, с характером, люди. А что еще, кроме характера, есть у этих людей, думала Конни. Ничего. Пустые глаза, пустые головы. Люди под стать своей земле: изможденные, мрачные, безобразные, недружелюбные. А еще таилась страшная неразгаданность и в гортанном их говоре, и в шарканье тяжелых башмаков с подковками, когда тянулись по асфальтовой дороге с работы группы шахтеров.

Ни торжественной встречи, ни празднества по случаю возвращения молодого хозяина селяне не устроили. Никто не пришел приветить его, не принес цветов. И пришлось уныло трястись в машине под дождем по мокрой, темной, обсаженной угрюмыми деревцами аллее; на холме,

где начинался парк, паслись овцы; чуть выше раскинулась мрачная усадьба. У подъезда, как загостившиеся и в доме, и на земле постояльцы, робко переминались с ноги на ногу экономка и ее супруг, готовясь произнести кургузое приветствие.

Обитатели усадьбы и деревни не общались — решительно и бесповоротно. Встречая господ, мужчины не снимали шапок, женщины не приседали в полупоклоне. Шахтеры лишь глазели на хозяев; торговцы кивали Клиффорду, как знакомцу (хоть и смущались при этом), и чуть приподнимали шапки, здороваясь с Конни. Вот и все почести. Непреодолимая пропасть пролегла между господами и простолюдинами. А еще их разделяло скрытое презрение друг к другу. Первые дни Конни очень страдала от этого чувства, изморосью висевшего в деревенском воздухе. Потом закалила сердце и даже гордилась своей твердостью. Нельзя сказать, что их с Клиффордом ненавидели. Просто Конни и Клиффорд — существа иного порядка, нежели шахтеры. И пропасть меж теми и другими бездонна, они немыслимо далеки друг от друга, как, скажем, далека река Трент (хотя отнюдь не бездонна). Здесь же, среди заводов и шахт центральной и северной Англии,

меж хозяевами и рабочими никакого мостика не перекинуть, общения не завязать. Мы на своем краю, вы — на своем! Странно: ведь и у тех, и у других бьются в груди одинаковые сердца!

Впрочем, в деревне даже жалели молодоженов, но лишь отвлеченно. А в делах житейских — не тронь! — и та, и другая сторона замыкались.

Местный священник — милый старичок лет шестидесяти, истый ревнитель веры — напрочь потерял особинку, подчинившись деревенской заповеди. Шахтерские жены почти все принадлежали к методистской церкви. Сами шахтеры — ни к какой. Но даже простое облачение отгораживало священника от шахтеров, те совершенно не принимали служителя культа как простого, обыкновенного человека. Для них он оставался господином Эшби, этакой произносящей молитвы и проповеди машиной.

Поначалу Конни и удивлялась и недоумевала, натыкаясь на непроизвольно упрямую спесь местных: дескать, хоть вы и леди, мы тоже не лыком шиты. А чего стоит недоверчивая, насквозь лицемерная улыбчивость шахтерских жен в ответ на попытки Конни найти с ними общий язык. Как все это странно! И как обидно! Всякий раз слышишь насмешливые шепотки: «Эка! Надо

ж, сама леди Чаттерли меня словом удостоила! Только пусть нос не задирает, не воображает, что я — грязь у нее под ногами». Невыносимо! И не избавиться от этого. Местные на сближение не пойдут, нечего и надеяться!

Клиффорд уже махнул на них рукой, пришлось и Конни менять отношение. Она шла по улице, ни на кого не глядя, хотя на нее глазели, как на заводную куклу. Случись Клиффорду с кем заговорить, он держался надменно, даже презрительно. Искать с ними дружбы долее — непозволительная роскошь. Дело еще и в том, что Клиффорд привечал и уважал людей лишь своего круга. И в этом он был неколебим, никаких уступок и компромиссов! Среди шахтеров он не снискал ни любви, ни ненависти. Они принимали его как неотъемлемую часть бытия: как шахты или как усадьбу Рагби.

В душе Клиффорд отчаянно робел и страдал, сознавая свою увечность. Он не хотел никого видеть, кроме домашней прислуги. Ведь ему приходилось либо сидеть в кресле, либо передвигаться тоже в кресле, но с моторчиком. Однако одевался он по-прежнему изысканно: шил платье у лучших портных, носил элегантные галстуки — все как прежде, и, если поглядеть со стороны,

он выглядел по-прежнему красавцем-щеголем. Причем в нем не было слащавой женственности, столь присущей нынешним юношам. Напротив, широкие, как у крестьянина, плечи, румяное лицо. Но нет-нет да, и проглядывала его суть: в тихой неуверенной речи; во взгляде — смелом и в то же время боязливом, уверенном и нерешительном. И вел он себя то до обидного надменно, то скромно, даже тушуясь, а случалось, и вовсе робел.

Конни и Клиффорд были привязаны друг к другу, но, как заведено у современной молодежи, без каких-либо сантиментов. Игривым, ласковым котенком Клиффорду уже не стать — слишком великое потрясение выпало ему, слишком глубоко засела боль. Увечный. И Конни льнула к нему всей своей сострадающей душой.

Конечно же, она замечала, что муж почти отгородился от людей. Шахтеры по сути — крепостные. И видел он в них скорее орудия труда, нежели живых людей; они составляли для него часть шахты, но, увы, не часть жизни; относился он к ним как к быдлу, но не как к равным. А в чем-то даже боялся их: вообразить страшно, как они будут глазеть на него теперешнего, на калеку. А их грубый, малопонятный уклад представлялся

ему скорее звериным, нежели человечьим.

Наблюдал он эти существа отстранение, будто букашек в микроскоп или неведомые миры в телескоп. Сблизиться с ними и не пытался, как, впрочем, и ни с кем, разве что с обитателями усадьбы (давно ему привычными) да с сестрой Эммой (их связывали узы кровного родства и защита семейных интересов). И больше, казалось, ничто и никто его не касается. Пустота. Пропасть. И мне до него не дотянуться, — думала Конни. — Ухватиться не за что. Ведь он отвергает любое общение.

На самом же деле Клиффорд не мог обойтись без жены. Ни единой минуты. Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться по дому да ездить по парку он умел сам. Но оставаясь наедине с собой, он чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна быть рядом, она возвращала ему уверенность, что он еще жив.

Бок о бок с неуверенностью в Клиффорде уживалось честолюбие. Он принялся писать рассказы: удивительные, глубоко личные воспоминания о бывших знакомых. Получалось умно, иронично, но — вот загадка! — не угадывался авторский замысел. Клиффорду не отказать в чрезвычай-

ной и своеобычной наблюдательности. Но его героям не хватало жизни, связи друг с другом. Действие разворачивалось словно в пустоте. А поскольку сегодняшняя жизнь в основном — ярко освещенные театральные подмостки, то рассказы Клиффорда удивительнейшим образом оказались созвучны современной жизни, точнее, душевному ладу современного человека.

Клиффорд прямо-таки с болезненной чуткостью внимал отзывам. Ему непременно хотелось, чтобы рассказы нравились, считались великолепными, непревзойденными. Напечатали их самые передовые журналы. Как водится, кое-что критика похвалила, кое за что — пожурила. Журьба для Клиффорда хуже пытки, каждое слово — нож острый. Похоже, в рассказы он вкладывал всю душу.

Конни помогала, чем могла. Сперва работа волновала. Муж обсуждал с ней каждую мелочь дотошно и обстоятельно, а ей приходилось напрягать все силы и тела, и души, и женского своего естества — собирать их воедино, увязывать в композиции рассказа. Это и волновало, и увлекало Конни.

Иных, кроме духовных, забот у них не было. На Конни вроде бы лежало все домашнее хозяйство…

но и им занималась экономка, долгие годы прослужившая еще при сэре Джеффри. Высохшая, безупречных манер и поведения… такую даже горничной неудобно назвать или застольной прислужницей. Ведь она в доме уже сорок лет! Да и служанки долгие-долгие годы при усадьбе. Ужас! Уклад усадебной жизни неколебим. Лучше и не трогать. Пусть себе стоят многочисленные комнаты (куда хозяева и не заглядывают), и пусть наводят там столь привычную и столь же бессмысленную чистоту и порядок — так заведено в этих краях. Клиффорд, правда, вытребовал себе новую повариху, эта искусная стряпуха готовила ему еще в Лондоне. А в остальном в доме царила особая анархия, бездушная и механистичная. Все совершалось в определенной последовательности, все было расписано по минутам. Честность слуги блюли не менее строго, чем чистоту. И все же за таким бездумно-бездушным распорядком виделась Конни анархия. Ибо только теплом и лаской можно связать воедино и наполнить смыслом все эти ритуалы. А пока что дом жил уныло и безотрадно, словно забытая улица.

Могла ли Конни что-либо изменить? Нет, пожалуй, лучше ничего не трогать. Так она и поступила. Изредка наведывалась сестра Клиф-

форда; на ее худощавом породистом лице всякий раз запечатлевалось нескрываемое ликование: в доме все по-прежнему! Нет, вовек она не простит Конни, ведь та порушила ее духовный союз с братом. Эмма первой привозила и только что вышедшие в свет рассказы Клиффорда. Несомненно, это новое слово в литературе, и принадлежит оно роду Чаттерли — единственное мерило ценности для Эммы. Все мыслители и писатели прошлого не в счет. Ценится в мире только новое, а новое — это книги Чаттерли, столь доверительные и интимные.

Заезжал в Рагби и отец Конни. Разговаривая с дочерью с глазу на глаз, он так отозвался о рассказах Клиффорда: «Пишет умно, да только копнешь, а внутри пусто. Бабочки-однодневки его рассказы!»

Конни глядела на отца — дородного шотландского дворянина, обратившего всю жизнь лишь себе на пользу, — и ее большие, еще по-детски изумленные голубые глаза затуманивались. «Внутри пусто!» Что он хотел сказать? Что значит «пусто»? Ведь критики расхваливают Клиффорда, он уже стал известным, книги его стали доходными. Так что же хотел сказать отец, назвав мужнины рассказы «пустыми»? Какой содержа-

тельности им не хватает?

Конни, как и все молодые, считала: все самое-самое происходит сию минуту. А минуты, увы, быстротечны, и они подчас не являют непрерывную цепочку.

На второй год в Рагби, зимой, отец спросил у нее:

— Надеюсь, Конни, ты не поплывешь по течению и не останешься demi-vierge?

— Demi-vierge? — нерешительно переспросила та. — А почему бы, собственно, и нет?

— Да ради Бога, если тебя такое положение устраивает, — спешно пошел на попятный отец.

А оставшись наедине с Клиффордом, сказал по сути то же самое.

— По-моему, Конни не очень-то на пользу быть demi-vierge.

— То есть и не женщиной, и не девушкой? — уточнил Клиффорд, переведя с французского.

Ненадолго он задумался, густо покраснел — упрек задел за живое.

— И в каком же смысле ей это не на пользу? — сухо спросил он.

— Ну, она с лица и с тела спала, одни мослы торчат. Ее это отнюдь не красит. Воблой сушеной она отродясь не была, всегда ладненькая: кругло-

бокая, как форель у нас в Шотландии.

— Одним словом, со всех сторон хороша, — подхватил Клиффорд.

Потом он хотел поговорить с Конни о ее двойственном положении… каково ей оставаться девушкой при живом муже. Но так и не набрался храбрости. Близкое, доверительное отношение к супруге порой словно натыкалось на преграду. Душой и мыслями они были едины, телом — просто не существовали друг для друга и избегали любого напоминания об этом, боялись, как преступники — улик.

Впрочем, Конни догадалась, что у отца был какой-то разговор с Клиффорд ом и чем-то Клиффорд крепко озабочен. Она знала, что его не беспокоит — demi-vierge она или demi-monde[2] — лишь бы сам он ничего не ведал и никто б не указал. Чего глаз не видит, о том душа не болит, того просто не существует.

Почти два года жили в Рагби Конни и Клиффорд, и тусклую жизнь их целиком поглощала Клиффордова работа. В этом интересы супругов никогда не расходились. Они обсуждали каждый поворот сюжета, спорили, в муках рождая рас-

---

[2] notes: 2
дама полусвета *(фр.)*

сказ, и обоим казалось, что их герои и впрямь живут, дышат… но в безвоздушном пространстве.

Так же в пустоте протекала и жизнь супругов. Остального просто не существовало. Усадьба, слуги — все казалось бесплотным и ненастоящим. Конни ходила гулять и в парк, и в лес сразу за парком: лес дарил ей уединение и тайну. Осенью она ворошила палую листву, весной — собирала первоцветы. Словно один бесконечный сон, похожий на жизнь. Порой она видела себя будто в зеркале: вот она, Конни, ворошит листву, а вот женщина (она напоминает героиню какого-то рассказа) собирает первоцветы. И цветы — лишь тени воспоминаний, отзвуки чьих-то слов. И она сама, и все вокруг — бесплотны. И некому протянуть руку, не с кем обмолвиться словом. Все, что у нее есть, — это жизнь с Клиффордом, плетение нескончаемых словесных кружев с тончайшим орнаментом подсознательного, хотя и говорит ее отец, что рассказы пустые, «бабочки-однодневки». А почему, собственно, должны они полниться чем-то? Почему должны жить вечно? Довольно для каждого для своей заботы[3],

[3] notes: 3
Евангелие от Матфея, 6:34.

как довольно для каждого мига не правдивого изображения, а правдивой иллюзии.

У Клиффорда водились друзья, вернее сказать, знакомцы. Иногда он приглашал их в Рагби. Люд бывал самый разный: и критики, и писатели, но каждый усердно подпевал в хоре славословий хозяйским рассказам. Им льстило приглашение в Рагби, вот они и старались. Конни все это отлично понимала, но не противилась. Подумаешь — мелькают в зеркале тени. Ну и что из того?

Она радушно принимала гостей, в основном мужчин. Она радушно принимала и редких мужниных родичей — дворян. И те, и другие, видя милую, румяную, голубоглазую простушку с тихим голосом (чуть ли не конопатую!), полагали ее несовременной — сегодня такие крутые, вальяжные бедра не в почете. Сегодня и впрямь в моде «воблы сушеные», девушки с мальчишескими фигурами, плоскогрудые и узкобедрые. А Конни слишком уж женственна для современной красавицы.

Разумеется, гости — мужчины, в основном немолодые, — относились к ней распрекрасно. Она же, зная, как уязвит Клиффорда даже малейший намек на флирт, не принимала никаких знаков внимания. Держалась спокойно и чуть

отстраненно, намеренно отгораживаясь от какого-либо общения. Клиффорд в такие минуты гордился собой несказанно.

И родные его, в общем-то, привечали Конни. Возможно потому, что не боялись ее. Но раз не боялись, значит, и не уважали. И с родней мужа у Конни не складывалось никаких отношений. Пусть говорят ей любезности, пусть едва скрывают снисходительное высокомерие — опасаться ее не стоит, так что острый булат их злословия может почивать в ножнах. Ведь Конни, по сути дела, отстояла от них далеко-далеко.

Время шло, что-то происходило вокруг, но для Конни ничего не менялось, она так замечательно самоустранилась от всего окружающего мира. Жили они с Клиффордом среди литературных замыслов. Скучать Конни не доводилось: в доме почти всегда были гости. Тик-так, тик-так, тикали дни и недели, только они явно спешили…

3

Конни стала замечать, как в душе все растет и растет беспокойство, оно заполняло пустоту, завладевало ее разумом и телом. Вдруг, вопреки желанию, начинали дергаться руки и ноги. Или словно током било в спину, и Конни вытягивалась в струнку, хотя ей хотелось развалиться в кресле. Или начинало щекотать где-то во чреве, и нет никакого спасения, разве что прыгнуть в реку или озеро и уплыть от щекотливой дрожи прочь. Наваждение! Или вдруг отчаянно заколотится сердце — ни с того ни с сего. Конни еще больше похудела и осунулась.

Наваждение! Вдруг вскочит и бросится по парку — прочь от Клиффорда, — упадет ничком в зарослях папоротника. Только бы подальше от дома, подальше ото всех. В лесу обретала она и приют и уединение.

Впрочем, приют ли? Ведь и с ним ничто ее не связывало: скорее, в лесу ей удавалось спрятаться от всех и вся. А к истинной душе леса, если вообще о ней уместно говорить, Конни так и не прикоснулась.

Она смутно чувствовала: в ней зреет какой-то разлад. Она смутно понимала: жизнь, люди — точно за стеклянной стеной. Не проникают сквозь нее живительные силы! Рядом лишь Клиффорд и его книги — бесплотные миражи, то есть — пустота. Куда ни кинь — лишь пустота. Конни это чувствовала и понимала, но смутно.

Что же делать? Стену лбом не прошибешь. Снова намекал отец:

— А что б тебе ухажера завести, а? Познала б все радости жизни.

В ту зиму на несколько дней в Рагби заезжал Микаэлис, молодой ирландец-драматург, сколотивший состояние в Америке. Некогда его с восторгом принимали в лучших домах Лондона. Как же! Ведь его пьесы о них, аристократах. Со временем в лучших домах поняли, что их просто-напросто высмеял дублинский мальчишка из самых что ни на есть низов общества. И его возненавидели. В разговоре его имя стало олицетворять хамство и ограниченность. Вдруг выяснилось, что настроения у него — антианглийские. Для некогда поднявших его на щит аристократов это было самым страшным преступлением. Итак, высшее общество морально казнило Микаэлиса и выбросило труп на помойку.

Сам же драматург преспокойно жил в престижнейшем районе Лондона, одевался как истинный джентльмен (не запретишь ведь лучшим портным шить и для подонков, если те хорошо платят).

Приглашение от Клиффорда Микаэлис получил в самый неблагоприятный момент за все тридцать лет жизни. Причем Клиффорд послал приглашение, не колеблясь! В ту пору к мнению Микаэлиса прислушивались еще миллионы людей. В лихую для себя годину он, несомненно, будет рад-радешенек погостить в Рагби, ведь для него закрыты все остальные «приличные» дома. И уж конечно, он потом отблагодарит Клиффорда, вернувшись в Америку. Деньги! Слава! И то, и другое — что пожелаешь — придет, если о тебе в нужную минуту, в нужном месте замолвят словечко, особенно там, за океаном. Молодой, подающий надежды писатель вдруг обнаружил огромную, совершенно подсознательную и глубоко коренящуюся тягу к известности. В конце концов Микаэлис поступил очень великодушно: вывел Клиффорда в очередной своей пьесе, тем самым прославив. Не сразу сообразил Клиффорд, что драматург высмеял и его.

Конни не понимала, откуда у мужа такое

слепое, подсознательное стремление — прославиться. Важнее ничего не существовало. Зачем ему слава в этом безалаберном мире, которого он толком не знал и боялся, не ожидая добра. В этом мире его, однако, почитали писателем, причем писателем первоклассным и весьма современным. Конни вспомнила слова своего удачливого, грубого и простодушного отца: кто к искусству причастен, непременно должен себя в лучшем виде представить, да еще и все «прелести» напоказ выставить. Но сам отец, как и его друзья-художники, поторговывавшие своими холстами, довольствовался доступной рекламой. Клиффорд же изыскивал все новые, неочевидные способы — только чтоб о нем узнали. Он принимал в Рагби самых разных людей и ни перед одним, в общем-то, не пресмыкался. Но уж если вознамерился воздвигнуть в одночасье памятник своему писательскому таланту, не погнушаешься и за малым камушком нагнуться.

Микаэлис не заставил себя ждать, приехал на красивой машине, с шофером, и слугой. Джентльмен с головы до пят! У Клиффорда, привыкшего не к столичному лоску, а к простой деревенской жизни, шевельнулось в душе неприятное чувство. Что-то притворное, нет, пожалуй, даже

лживое угадывалось во внешности гостя. Под холеной личиной скрывалась совсем иная суть. Клиффорду этого было достаточно — выводы он делал категорично. Тем не менее к гостю отнесся очень уважительно. И тот был просто очарован. Подле него, тишайше-нижайше ироничнейшего, виляла хвостом, то рыча, то ощериваясь, Удача. И благоговеющему Клиффорду так захотелось почесать ей за ухом, подружиться — вот только, не ровен час, укусит.

Как ни обряжали, ни обували, ни холили Микаэлиса моднейшие лондонские портные, башмачники, шляпники, цирюльники, на англичанина он решительно не походил. Совершенно не походил! Не то лицо — бледное, вялое и печальное. Не та печаль — не подобающая истинному джентльмену. Читалась на этом лице помимо печали еще и озлобленность. А ведь и слепому ясно, что истинный, рожденный и взращенный в Англии джентльмен сочтет ниже своего достоинства выказывать подобные чувства. Бедняге Микаэлису досталось изрядно пинков и тычков, поэтому вид у него был чуть затравленный. Он выбился «в люди» благодаря безошибочному чутью и поразительному бесстыдству в пьесах, завоевавших теперь подмостки. Публика валила валом.

Казалось, все пинки и тычки — в прошлом… Увы, так только казалось. Никогда им не суждено кончиться. Микаэлис зачастую сам лез на рожон. Тянулся к высшему обществу, где ему совсем не место. Ах, с каким удовольствием английские светские львы и львицы набрасывались на драматурга! И как люто он их ненавидел!

Тем не менее этот выходец из дублинской черни ездил с собственным шофером и со слугой!

А Конни в нем даже что-то понравилось. Он не заносился, прекрасно сознавая свое положение. С Клиффордом беседовал толково, немногословно и обо всем, что того интересовало. Говорил сдержанно, не увлекался, понимал, что пригласили его в Рагби, поскольку заинтересованы в нем. И как многоопытный и прозорливый, но в данном случае почти бескорыстный делец, если не сказать — воротила, он любезно выслушивал вопросы и, не тратясь душой, спокойно отвечал.

— Что деньги? — говорил он. — Страсть к деньгам у человека в крови. Это свойство человеческой натуры, и от вас ничего не зависит. И страсть эта — не единичный приступ, а болезнь всего вашего существа, долгая и изнурительная. Вы начала делать деньги и уже не остановитесь. Впрочем, у каждого свой предел.

— Но важно начать, — вставил Клиффорд.

— Безусловно! Пока не «заразились», ничего у вас не выйдет. А как на эту дорожку встанете, так все — вас понесет по течению.

— А могли бы вы зарабатывать иначе, не пьесами? — полюбопытствовал Клиффорд.

— Скорее всего, нет. Плох ли, хорош ли, но я писатель, драматург, это мое призвание. Поэтому ответ однозначен.

— И что же, ваше призвание — быть именно популярным драматургом? — спросила Конни.

— Вот именно! — мгновенно повернувшись к ней, ответил Микаэлис. — Но эта популярность — мираж, и только. Мираж и сама публика, если на то пошло. И мои пьесы тоже мираж, в них нет ничего особенного. Дело в другом. Как с погодой: какой суждено быть, такая и установится.

В чуть навыкате глазах у него таилось бездонное, безнадежное разочарование. Вот он медленно поднял взгляд на Конни, и она вздрогнула. Микаэлис вдруг представился ей очень старым, безмерно старым; в нем будто запечатлелись пласты разных эпох и поколений, пласты разочарования. И в то же время он походил на обездоленного ребенка. Да, в каком-то смысле он изгой. Но чувствовалась в нем и отчаянная

храбрость — как у загнанной в угол крысы.

— И все же за свою жизнь вы сделали очень и очень много, — задумчиво произнес Клиффорд.

— Мне уже тридцать… да, тридцать! — воскликнул Микаэлис и вдруг, непонятно почему, глухо рассмеялся. Слышались в его смехе и торжество, и горечь.

— Вы одиноки? — спросила Конни.

— То есть? Живу ли я один? У меня есть слуга, грек, как он утверждает, и совершенный недотепа. Но я к нему привык. Собираюсь жениться. Да, жениться необходимо!

— Вы словно об удалении гланд говорите! — улыбнулась Конни. — Неужто жениться так тягостно?

Микаэлис восхищенно взглянул на нее.

— Вы угадали, леди Чаттерли! Выбор — страшное бремя! Простите, но меня не привлекают ни англичанки, ни даже ирландки.

— Возьмите в жены американку, — посоветовал Клиффорд.

— Американку! — глухо рассмеялся Микаэлис. — Нет уж, я попросил слугу, чтобы он мне турчанку нашел или какую-нибудь женщину с Востока.

Конни надивиться не могла на это дитя сног-

сшибательной удачи: такой необычный, такой задумчивый и печальный... Поговаривали, что только постановки в Америке сулят ему пятьдесят тысяч долларов ежегодно. Порой он казался ей красивым: склоненное в профиль лицо его напоминало африканскую маску слоновой кости — чуть навыкате глаза, рельефные дуги волевых бровей, застывшие неулыбчивые губы. И в неподвижности этой — несуетная созерцательность, отрешенность от времени. Таким намеренно изображают Будду. А в африканских масках никакой намеренности — все естественно и просто — в них извечное смирение целой расы. Сколько же ей уготовано судьбой терпеть и смиряться! Иное дело — мы: всяк сам по себе, топорщится, противится судьбе. Барахтаемся, точно крысы в омуте, пытаемся выплыть. Конни вдруг захлестнула волна жалости к этому человеку, странная, брезгливая жалость, но столь великая, что впору сравнить с любовью. Изгой! Ведь он же изгой! «Нахал», «пройдоха» — бросали ему в лицо. Да в Клиффорде в сто раз больше и самомнения и нахальства! Да и глупости тоже!

Микаэлис быстро смекнул, что покорил хозяйку дома. И во взгляде больших карих глаз засквозила отстраненность. Он хладнокровно

оценивал Конни, равно как и впечатление, которое на нее произвел. С англичанкой даже в любви он навечно обречен оставаться изгоем. Женщины, однако, нередко льнули к нему. В том числе и англичанки.

С Клиффордом Микаэлис держался независимо и раскованно, смекнув, что и этот — такой же чужак в аристократической стае. Им более по душе рычать друг на друга, нежели улыбаться. Но обстоятельства сильнее.

С Конни он не был столь самоуверен.

Завтракали они в покоях — в столовой Клиффорд обычно появлялся лишь к обеду, а в утренний час там было не очень-то уютно. После кофе Микаэлис — непоседа и суетник — затосковал, не зная, чем заняться. Стоял чудесный ноябрьский день… чудесный, конечно, по меркам Рагби. Микаэлис загляделся на печальный парк. Господи! Какая красота!

Микаэлис послал слугу узнать, нельзя ли чем услужить леди Чаттерли — он собирается поехать в Шеффилд. Слуга вернулся с ответом: хозяйка просит пожаловать к ней в гостиную.

Гостиная Конни располагалась на верхнем этаже в центральной части дома. Покои и гостиная Клиффорда, разумеется, на первом. Микаэлису

польстило приглашение в апартаменты хозяйки. Ничего не замечая вокруг, пошел он за слугой… Впрочем, он вообще ничего не замечал и с окружением не соприкасался.

В гостиной он осмотрелся, приметил отличные немецкие копии Ренуара и Сезанна на стенах.

— Как у вас здесь хорошо, — похвалил он и осклабился. Странная у него улыбка — точно болезненный оскал. — Умно вы поступили, наверху устроились.

— Да, здесь лучше, — согласилась она.

И впрямь: во всем доме лишь ее комната не была безнадежно уныла и старомодна. Лишь в ее комнате запечатлелся характер хозяйки. Клиффорд ее вообще не видел, да и не многих гостей приглашала Конни к себе наверх.

Они с Микаэлисом сели слева и справа от камина и затеяли разговор. Она расспрашивала его о семье, о нем самом. Люди, казалось, всегда несли с собой чудо, и уж коль скоро они пробуждали в Конни сочувствие, не все ли равно, к какому классу принадлежат. Микаэлис говорил совершенно откровенно, но не играл на чувствах собеседницы. Он просто открывал ей свою разочарованную и усталую, как у бездомного пса душу, иногда чуть обнажая уязвленную гордыню.

— Вы — словно птица, отбившаяся от стаи. Почему так? — спросила Конни.

И снова большие карие глаза пристально глядят на нее.

— А не все птицы стаи держатся, — ответил он и прибавил с уже знакомой иронией: — Вот вы, например? Вы же тоже сами по себе.

Слова эти смутили Конни, и она не сразу нашла, что ответить.

— Далеко не во всем, не то что вы.

— А я, выходит, безнадежный одиночка? — спросил он, снова осклабившись и сморщившись, как от боли. Лишь в глазах на исказившемся лице все та же грусть, или же смирение перед судьбой, или разочарование, или даже страх.

— Конечно! — У Конни даже захватило дух, когда она взглянула на него. — Конечно, одиночка.

Сколь велик зов его плоти! Конни с трудом сохранила спокойствие.

— Вы совершенно правы! — ответил он, отвел взор, опустил глаза, лицо же оставалось неподвижным, как древняя маска древней расы, которой ныне уже нет. Микаэлис отстранился и замкнулся. От этого, именно от этого лишилась Конни спокойствия.

Вдруг он снова поднял голову, посмотрел ей

прямо в лицо: ничто не укроется от такого взгляда, каждую мелочь приметит. И в то же время словно малое дитя воззвало к ней среди беспросветной ночи. И глас, рвущийся из его сердца, отозвался у Конни во чреве.

— Спасибо за то, что думаете обо мне, — только и сказал он.

— Отчего же мне не думать?! — едва слышно с чувством произнесла она.

Микаэлис криво усмехнулся, будто хмыкнул.

— Ах, вон, значит, как!.. Позвольте руку! — вдруг попросил он и взглянул на нее, вмиг подчинив своей воле, и снова мольба плоти мужской достигла плоти женской.

Она смотрела на него зачарованно, неотрывно, а он опустился на колени, обнял ее ноги, зарылся лицом в ее колени и застыл.

Потрясенная Конни как в тумане видела мальчишески трогательный затылок Микаэлиса, чувствовала, как приник он лицом к ее бедрам. Смятение огнем полыхало в душе, но почти помимо своей воли Конни вдруг нежно и жалостливо погладила такой беззащитный затылок. Микаэлис вздрогнул всем телом.

Потом взглянул на нее: большие глаза горят, в них та же страстная мольба. И нет сил про-

тивиться. В каждом ударе ее сердца — ответ истомившейся души: отдам тебе всю себя, всю отдам.

Непривычны оказались для нее его ласки, но Микаэлис обращался с ней очень нежно, чутко; он дрожал всем телом, предаваясь страсти, но даже в эти минуты чувствовалась его отстраненность, он будто прислушивался к каждому звуку извне.

Для Конни, впрочем, это было неважно. Главное, она отдалась, отдалась ему! Но вот он больше не дрожит, лежит рядом тихо-тихо, голова его покоится у нее на груди. Еще полностью не придя в себя, она снова сочувственно погладила его по голове.

Микаэлис поднялся, поцеловал ей руки, ступни в замшевых шлепанцах. Молча отошел к дальней стене, остановился, не поворачиваясь к Конни лицом. Потом вернулся к ней — Конни уже сидела на прежнем месте подле камина.

— Ну, теперь вы, очевидно, ненавидите меня? — спросил он спокойно, пожалуй, даже обреченно. Конни встрепенулась, взглянула на него.

— За что же?

— Почти все ненавидят… потом. — И тут же спохватился. — Это вообще присуще женщине.

— Ненависти к вам у меня никогда не будет.

— Знаю! Знаю! Иначе и быть не может! Вы ко мне так добры, что даже страшно! — вскричал он горестно.

«С чего бы ему горевать?» — подумала Конни.

— Может, присядете? — предложила она.

Микаэлис покосился на дверь.

— А как сэр Клиффорд?.. — начал он. — Ведь ему… ведь он… — и запнулся, подбирая слова.

— Ну и пусть! — бросила Конни и взглянула ему в лицо. — Я не хочу, чтоб он знал или даже подозревал что-то… Не хочу огорчать его. По-моему, ничего плохого я не делаю, а как по-вашему?

— Господи, что ж тут плохого! Вы просто бесконечно добры ко мне… Невыносимо добры.

Он отвернулся, и она поняла, что вот-вот он расплачется.

— Не нужно, чтоб Клиффорд знал, правда? — уже просила Конни. — Он очень расстроится, а не узнает — ничего и не заподозрит. И никому не будет плохо.

— От меня, — взорвался вдруг Микаэлис, — он уж во всяком случае никогда ничего не узнает! Никогда! Не стану ж я себя выдавать? — И он рассмеялся глухо и грубо — его рассмешила сама мысль.

Конни лишь завороженно смотрела на него. А он продолжал:

— Позвольте ручку на прощанье, и я отбуду в Шеффилд. Пообедаю, если удастся, там, а к чаю вернусь. Что мне для вас сделать? И как мне увериться, что у вас нет ко мне ненависти? И не будет потом? — закончил он на отчаянно-бесстыдной ноте.

— У меня нет к вам ненависти, — подтвердила Конни. — Вы мне очень приятны.

— Да что там! — продолжал он неистово. — Лучше б вы сказали, что любите меня. Эти слова значат куда больше… Прощаюсь до вечера. Мне надо многое обдумать. — Он смиренно поцеловал ей руку и ушел.

За обедом Клиффорд заметил:

— Что-то мне трудно выносить общество этого молодого человека.

— Почему? — удивилась Конни.

— За внешним лоском у него душа прохвоста. Только и ждет, когда б ножку подставить.

— С ним так обходились, — обронила Конни.

— И не удивительно! Ты думаешь, он день-деньской только добро и творит?

— По-моему, он бывает и благороден по-своему.

— К кому это?

— Наверное не скажу.

— Конечно, не скажешь. Не путаешь ли ты благородство с беспринципностью?

Конни задумалась. Неужели Клиффорд прав? Не исключено. Конечно, Микаэлис к цели идет любым путем, но даже в этом что-то привлекает. И исходил он ох как немало, а Клиффорд и нескольких жалких шагов не прополз. Микаэлис достиг цели, можно сказать, покорил мир, а Клиффорд только мечтает. А какими путями достигается цель?.. Да и так ли уж пути Микаэлиса грязнее Клиффордовых? Бедняга пускался во все тяжкие, не мытьем, так катаньем, но добился своего. Чем лучше Клиффорд: чтобы пробраться к славе, не гнушается никакой рекламой. Госпожа Удача — ни дать ни взять сука, за которой тысячи кобелей гонятся, вывалив языки, задыхаясь. Кто догонит — тот среди кобелей король. Так что Микаэлис может гордиться!

То-то и удивительно, что не гордился.

Вернулся он к пяти часам с букетами фиалок и ландышей. И снова — как побитый пес. Может, это маска, думала Конни, так легче обескураживать врагов. Только уж больно он привык к этой маске. А вдруг он и впрямь — побитая грустно-

глазая собака?

Так и просидел весь вечер Микаэлис с видом несчастной собаки. Клиффорду за этой маской представлялась суть — дерзость и бесстыдство. Конни не чувствовала подобного; возможно, против женщин он не направлял это оружие. А воевал только с мужчинами, с их высокомерием и заносчивостью. И вот эту-то неистребимую дерзость, таящуюся за унылой, худосочной личиной, и не могли простить Микаэлису мужчины. Само его присутствие оскорбляло светского человека, и оскорбление это не скрыть за ширмой благовоспитанности.

Конни влюбилась, но ничем себя не выдала; в беседу мужчин она не вмешивалась, занялась вышивкой. И Микаэлису нужно отдать должное: он оставался, как и вчера, грустноглазым, внимательным собеседником, хотя по сути был несказанно далеко от хозяев дома. Он лишь умело подыгрывал беседе, отвечая коротко, но ровно столько, сколько от него ожидалось, не выпячивая свое «я». Конни даже показалось, что он, скорее всего, забыл их утреннюю встречу. Но он ничего не забыл.

Не забыл и где находится. Тут он тоже изгой, что ж, такова участь уродившегося изгоем. Утреннюю

любовную игру он не принял близко к сердцу. Не переменит его это приключение. Как бездомным псом жил, таким и останется. Хоть завидуют его золотому ошейнику, а все одно: не бывать ему комнатной собачонкой.

В глубине души он сознавал (и смирялся!): в какие павлиньи перья ни рядись, все равно он чужак и в обществе не приживется. Но с другой стороны, внутренняя отрешенность от всех и вся была ему необходима. Ничуть не меньше, чем чисто внешнее единообразие в общении с «благородными» людьми.

Редкие любовные связи утешали, успокаивали, словом, влияли на него благотворно, и Микаэлиса не упрекнуть в неблагодарности. Напротив, он пылко и растроганно благодарил за малую толику человеческого тепла, нежданной доброты, едва не плача при этом. За бледным, недвижным лицом-маской, запечатлевшим разочарование, таилась детская душа, до слез благодарная ласковой женщине. Нестерпимо хочется побыть с ней еще, а душа изгоя твердила: ты все равно от нее далеко.

Зажигая свечи в зале, он улучил момент и шепнул ей:

— Можно мне к вам прийти?

— Я приду сама, — ответила Конни.

— Господи!

Он ждал ее долго-долго… но дождался.

Ласкал он ее трепетно, возбуждение его быстро нарастало, но так же быстро кончилось. Странно, голый он походил на подростка: щуплый, беззащитный — такие тела у мальчишек. Будто вместе с одеждой он расстался со своей броней: умом и хитростью, которая вошла в плоть и кровь. И обнажилось не только его тело, но и душа. Нежный, еще не сформировавшийся плотью ребенок беспомощно барахтается подле нее.

Да, он вызывал в ней необоримую жалость, но равно и необоримую страсть, желание близости. И близость меж тем не приносила ей радости: Микаэлис слишком быстро возгорался, но так же быстро и затухал — без сил падал к ней на грудь, и мало-помалу к нему возвращалась привычная бесстыдная дерзость. А Конни лежала как в полусне, разочарованная и опустошенная.

Но скоро она научилась управлять его телом; когда он быстро утолял свою страсть, Конни, чувствуя в себе его жаркую, на удивление все еще упругую плоть, не отпускала его, а неистово, со всей нерастраченной пылкостью брала на себя ведущую роль, а он благодарно поддавался, усту-

пая ее страсти. Так она достигала высшей точки блаженства. А он, видя, что даже в пассивном положении способен удовлетворить женщину, сам, как ни странно, бывал горд и удовлетворен.

— Как хорошо! — трепетно шептала она, затихала и приникала к нему. А он лежал такой близкий и такой далекий, довольный собой.

В тот раз он гостил у них три дня, и Клиффорд не заметил в нем никаких перемен. Не заметила бы и Конни. Маску Микаэлис носил безупречно.

Он писал ей письма, все на той же грустно-усталой ноте, порой остроумные, порой трогавшие странной привязанностью без намека на плотское. По-прежнему он был раздвоен: с одной стороны, безнадежно тянулся к Конни, с другой — оставался далеким и одиноким. Какая-то безысходность таилась у него в душе, и он не торопился с ней расстаться, возродив надежду. Скорее наоборот, он ненавидел самое надежду. «Огромной волной катит по земле надежда», — вычитал он где-то и заметил: «И гонит на пути все достойное и желанное».

Конни толком не понимала его, хотя по-своему любила. Впрочем, безысходность Микаэлиса подавляла ее чувства. Нельзя без оглядки любить разуверившегося человека. А уж он и подавно

никогда никого не любил.

Так и тянулась их связь несколько времени — письма да редкие встречи в Лондоне. Она по-прежнему получала удовлетворение, истинное трепетное наслаждение, лишь подчинив его тело своему после того, как у него наступала чересчур быстрая разрядка. И он по-прежнему с гордостью подчинялся ее воле. На этом малом, собственно, и держалась их связь.

Но Конни доставало и малости. У нее появилась уверенность в себе, даже белее — едва заметное довольство собой. Уверенность в своих силах, хоть и зиждилась на чистой физиологии, давала огромную радость.

Как переменилось ее настроение в Рагби! Конни радовалась жизни, радовалась пробудившемуся женскому началу. И своим настроением она изо всех сил старалась подвигнуть Клиффорда на самые удачные творения. И в ту пору они ему удавались, и он был почти что счастлив в неведении: ведь он пожинал плоды, взращенные на чувственной ниве его супруги, по сути, ею же самой, так как пахарь, равно и орудие его страсти были полностью подвластны Конни. Но Клиффорд, конечно же, об этом не догадывался. Узнай он, вряд ли похвалил бы жену.

Впрочем, когда дни великой радости и подъема ушли (причем безвозвратно!) и Конни вновь сделалась унылой и раздражительной, Клиффорд безмерно тосковал по дням минувшим. Тогда, может быть, даже узнав о связи жены с Микаэлисом, он попросил бы их снова сойтись.

4

Конни предчувствовала, что отношения с Миком (так многие называли Микаэлиса) заведут в тупик. Однако другие мужчины для нее будто и не существовали. Душой она была привязана к Клиффорду. Он хотел многого: чтобы вся ее жизнь принадлежала ему, и Конни давала, что могла. Но она тоже хотела многого от мужчины, с которым живет. Клиффорд этого не давал. Не мог. Она довольствовалась редкими, скоротечными ласками Микаэлиса. Но предчувствие крепло: скоро все кончится. Мик не способен на долгую привязанность. Он непременно разорвет любую связь: вырваться на свободу — в этом его суть. Отрешится от всех и вся и снова станет бродячим псом. Без этого ему не прожить. Хотя потом он любил повторять: «Это она меня бросила!»

На белом свете полным-полно самых заманчивых возможностей, но каждому в жизни выпадает лишь одна-две. Много в море самой замечательной рыбы, но попадается все скумбрия да сельдь. И если вы сами не из благородных, то хорошей рыбы встретите в море не много.

Клиффорд рвался к славе, да и к деньгам тоже. К нему часто приезжали, гость в Рагби шел косяком. Но все скумбрия да сельдь, редко-редко кто покрупнее да поблагороднее.

Был и, так сказать, постоянный круг — однокашники Клиффорда по Кембриджу.

Томми Дьюкс, он и после войны не оставил армию. Дослужился уже до бригадного генерала.

— Служба оставляет мне много времени для раздумий и спасает от битв в жизни повседневной, — говаривал он.

Ирландец Чарльз Мей, он очень умно писал о звездах.

Хаммонд — тоже писатель.

Все они — ровесники Клиффорда, молодые современные интеллигенты. Все они верили, что нужно жить высокодуховно. А остальное — личное дело каждого и значения не имеет. Никому же не придет в голову спрашивать, когда вы ходите в уборную. Никого это не интересует, кроме вас.

И ко всему в повседневной жизни — бедны вы или богаты, любите ли жену или у вас есть любовница — они относились так же: это дело посторонних интересовать не должно.

— Смысл полового вопроса в том, что он бес-

смыслен, — разглагольствовал тощий, долговязый Хаммонд, супруг, отец двух детей, более породнившийся, однако, с пишущей машинкой, — сам вопрос надуман. Придет ли кому в голову сопровождать вас в сортир? Так почему же мы должны лезть к вам в постель, когда вы с женщиной? Вот и весь вопрос. Научиться не замечать половую жизнь, как и прочие естественные отправления, и нет больше никакого вопроса. Все дело в нашем неуместном любопытстве.

— Верно, Хаммонд, верно! Представь: кто-то задумал переспать с твоей Джулией, ты небось вскипишь, а перейди он от слов к делу — взорвешься!

— Ну, конечно! Если кто станет мочиться в углу гостиной — тоже не потерплю. Всему свое место.

— То есть, соблазни кто Джулию в пристойном будуаре, ты и ухом не поведешь.

Чарли Мей немного язвил — он приударял за женой Хаммонда. Тот грубо отрезал:

— Наша половая жизнь с Джулией никого не касается. И совать нос я никому не позволю.

— Вот видишь, Хаммонд, как в тебе развито собственничество, — заметил тщедушный, конопатый Томми Дьюкс, куда больше похожий на ирландца, чем дебелый Мей. — А еще ты жаж-

дешь самоутверждения, успеха. Я до мозга костей человек военный, светскую жизнь со стороны наблюдаю и вижу, как чрезмерна в мужчинах тяга к самоутверждению и успеху. Она все затмевает. Силы забирает без остатка. Ну, а такие, как ты, считают, что с женщиной под боком быстрее к цели придешь. Оттого и ревнуешь. Для тебя и постель — генератор успеха. А пойдет успех на убыль — начнешь и жене изменять. Вон, как Чарли: его успех стороной обошел. Но на таких, как вы с Джулией, супругах будто ярлычок висит, знаешь, как на чемоданах: собственность такого-то. Вы уже сами себе не принадлежите. Джулия — «собственность Арнольда Б.Хаммонда», а сам он — «собственность госпожи Хаммонд». Да, конечно, ты возразишь, дескать, высокая духовная жизнь требует материального достатка: и уютного жилья, и вкусной пищи. Даже потомство — и то непременное условие. И зиждется все на подсознательном стремлении к успеху. Вокруг этой оси вся наша жизнь вертится.

Хаммонда эти слова задели. Он гордился тем, что в своей духовной жизни не шел ни на какие компромиссы со временем. Уж приспособленцем-то его не назвать! Хотя от этого ничуть не убыло его стремление к успеху.

— Верно, без денег не проживешь, — вздохнул Мей, — нужен достаток, чтоб жить, развиваться… Даже для того, чтоб беззаботно размышлять о том же достатке. На голодный желудок не поразмышляешь. А вот что касается собственнических ярлыков, я б не стал их навешивать на отношения мужчин и женщин. Мы беседуем, с кем нам хочется, почему б нам не спать с теми женщинами, которые нам милы?

— Итак, слово похотливому кельту, — вставил Клиффорд.

— Похотливому? Впрочем, что ж в этом плохого? По-моему, переспав с женщиной, я обижу ее не более, чем станцевав с нею… или даже просто поговорив о погоде. Только в разговоре мы обмениваемся суждениями, а в постели — чувствами. Так что ж в этом плохого?

— И превратимся в кроликов. Они любой самке рады.

— А чем, собственно, тебе не нравятся кролики? Неужто они хуже человеческого племени, всех этих неврастеников и революционеров, исходящих зудом ненависти?

— И все же мы не кролики, — бросил Хаммонд.

— Вот именно! Я обладаю разумом. Я могу производить расчеты астрономических величин, и

они для меня едва ли не важнее жизни и смерти. Порой меня допекает желудок. А голод и вовсе действует губительно. Так же и изголодавшаяся плоть частенько напоминает о себе. Что же делать?

— Твоя плоть, по-моему, больше бунтует не от голода, а от обжорства, — съязвил Хаммонд.

— Только не от обжорства! Не терплю излишеств ни в пище, ни с женщинами. Во всем нужно знать меру. Но ты б меня посадил на голодный паек.

— Зачем же! Я б и тебе советовал жениться.

— А откуда ты знаешь, гожусь я для семейной жизни или нет? Семейная жизнь подорвет… да что там — сведет на нет мою жизнь духовную. Я не могу ограничивать свой мир семьей, не хочу сидеть на привязи и жить монахом! Все это чушь и суета! Мне суждено жить, заниматься астрономией и иногда спать с женщинами. Я отнюдь не такой уж сердцеед, но ничьих осуждений или запретов не потерплю. Мне было бы стыдно видеть женщину с ярлыком, на котором значится мое имя, адрес, — словно чемодан с платьем.

Хаммонд не мог простить Мею флирта с женой, а тот не упускал случая уязвить соперника.

— Ты, Чарли, интересно рассуждаешь, — всту-

пил в разговор Дьюкс, — сравнивая половое общение с разговором. Дескать, в первом случае — дела, во втором — слова. По-моему, ты прав. И надо как можно полнее обмениваться с женщинами чувствами, ощущениями, ведь можем же мы с ними многословно рассуждать о погоде. Так и физическая близость: вроде обыкновенного, только на уровне физиологии, разговора между мужчиной и женщиной. Ведь и словесно ты заговариваешь с ней лишь тогда, когда чувствуешь что-то общее, то есть, нет интереса — нет и разговора. То же самое и с близостью: нет у тебя чувства к женщине, не станешь и спать с ней. А уж если чувство появится…

— Если чувство появится, то твой прямой долг — переспать с этой женщиной, — заключил Мей. — Поступать иначе просто неприлично. Как и в беседе: если тебе интересно, ты выскажешься, иначе просто неприлично. А что, лучше быть ханжой и помалкивать, прикусив язычок? Нет уж, лучше, все накопившееся излить. Во всех случаях лучше.

— Как ты неправ, Мей, — начал Хаммонд. — На твоем же примере докажу. Вот ты тратишь на женщин половину сил. И не совершишь того, что мог бы, ведь у тебя светлая голова. Но ты растра-

чиваешь себя попусту.

— Возможно, но ведь и тебе, дорогой мой, больших свершений не видать, хотя ты и женат, и не «растрачиваешься». Только ум твой, праведный и бескомпромиссный, давно высох. И вся твоя праведность и стойкость, насколько я вижу, ушла в слова.

Томми Дьюкс рассмеялся:

— Да хватит вам, умники! Посмотрите на меня. Я не ахти какой философ, просто, случается, кое-какие мыслишки записываю. Я не женат, но и за женщинами не волочусь. По-моему, Чарли прав: если ему нравятся женщины, пусть спит с ними, часто ли, редко ли — его дело. Во всяком случае, я ему запрещать не буду. А у Хаммонда возобладал инстинкт собственника, поэтому для него праведность и смирение плоти — главное. Погоди, его еще при жизни нарекут Великим английским писателем. Все у него четко, ясно и понятно, от А до Я. А взять меня. Ничтожный человек, пустослов… А ты, Клиффорд, как думаешь: постель и впрямь генератор успеха, движитель мужчины в жизни?

В подобных разговорах Клиффорд участвовал редко, стараясь держаться в тени: в этой области его рассуждения маловажны. Теперь же он по-

краснел и смутился.

— Я, так сказать, hors de combat, человек увечный, вряд ли смогу что-либо сказать по существу.

— Не наговаривай на себя, — вмешался Дьюкс, — голова-то у тебя отнюдь не увечная, ум твой цел-невредим и по-прежнему глубок. И нам интересно тебя послушать.

— Право, не знаю, — Клиффорд запнулся. — Не знаю, что и сказать. «Женись, и дело с концом», вот, пожалуй, суть. Ну, а если мужчина и женщина любят друг друга, их близость — великое чудо.

— Ну-ка, расскажи о великом чуде, — попросил Томми.

— Близость таких людей много выше близости плотской, — пробормотал Клиффорд, его, как девушку, смущали такие разговоры.

— Ну, вот, например, мы с Чарли считаем, что секс — это форма общения, как речь. Случись женщине заговорить со мной на языке интимности, я, естественно, поддержу этот разговор и пересплю с ней, когда время подойдет. К сожалению, женщины не очень-то балуют меня такими разговорами, так что приходится спать одному, что, впрочем, ничуть не хуже. Хотя откуда мне

знать, можно лишь предполагать. Ведь я не считаю звезды, не пишу бессмертных романов. Я всего-навсего простой армейский бездельник.

Беседа прервалась. Мужчины закурили. А Конни все сидела подле них и — стежок за стежком — продолжала вышивать. Да, она присутствовала при этих разговорах! Но сидела молча — таков порядок — не вмешивалась в сверхважные рассуждения высокодуховных джентльменов. И уйти ей нельзя — без нее беседа у мужчин не клеилась. Они теряли велеречивость. А Клиффорд совсем терялся, нервничал, трусил, если Конни не сидела рядом, и беседа заходила в тупик. Больше остальных Конни симпатизировала Томми Дьюксу — очевидно, чувствуя это, он старался вовсю. Хаммонд не нравился ей вовсе — в каждом слове, в каждой мысли проглядывал себялюбец. К Чарльзу Мею она относилась более благосклонно, но что-то в нем претило ей, что-то вульгарно-приземленное, несмотря на высокие устремления к звездам.

Сколько вечеров провела Конни, слушая откровения четырех мужчин. Редко к ним добавлялся один-другой гость. Конни нимало не трогало, что мужчины так ни до чего и не договаривались. Она просто с удовольствием слушала, особенно

когда говорил Томми. Лестно! Мужчины открывали перед ней свои мысли, а это, право, же, стоило всех их поцелуев и ласк. До чего же лестно! Но сколь холоден их разум!

Но они ее и раздражали. Пожалуй, Микаэлиса она уважала больше, хотя на его голову гости обрушивали столько испепеляющего презрения: шавка, рвущаяся к славе, невежественный нахал, каких свет не видывал. Пусть шавка, пусть нахал, но он мыслил четко и по-своему, а не утопал в пышном многословии, любуясь своей высокодуховностью.

Конни привечала духовность, ее очень увлекала такая жизнь. Но не слишком ли усердствовали друзья Клиффорда? Да, приятно сидеть в клубах табачного дыма на этих славных вечерах закадычных (как она величала их про себя) друзей. Как забавно и лестно, что им не обойтись без ее присутствия. Она безгранично уважала мысль, а эти мужчины пытались хотя бы мыслить честно. Однако мысли мыслями, а дальше-то что? Никак не могла она взять в толк, в чем суть этих разговоров. Не раскрыл эту суть и Микаэлис.

Впрочем, сам-то он ничего особенного не замышлял, а просто шел к цели, не мытьем, так катаньем добиваясь своего и равно страдая от чу-

жих козней. Клиффорд со своими закадычными дружками считал его врагом общества. Сами же они врагами не были, напротив, они радели об обществе, жаждали так или иначе спасти человечество или, по крайней мере, просветить.

Вечером в воскресенье беседа удалась. Незаметно она снова коснулась любовной темы.

— Благословенна будет связь, что наши души сочетает, — продекламировал Томми Дьюкс. — А вот знать бы, что это такое. У нас, например, связь, как у разномастных шестеренок, только сцепляемся мы своими воззрениями. А в остальном нас очень мало что связывает. Стоит разъять шестеренки, и мы уже порознь, говорим друг о друге гадости — так заведено у интеллигентов во всем мире. Впрочем, черт с ними, речь не обо всех, а о нас. А зачастую злоба друг к другу у нас не на языке, а в душе, и вот мы ее прячем, прикрываем лживой любезностью. Удивительно! Жизнь мыслителей цветет прекрасным цветом, а корнями-то уходит в злобу, в бездонную, чудовищную злобу. И так испокон веков! Вспомните Сократа, его ученика Платона и сравните со всем их окружением. Сколько в них злобы, как рады они растерзать кого-либо, например Протагора, если мне не изменяет память. Или взять Алкивиада

и всех мелких шавок-учеников[4]. Как упоенно травят они учителей! Поневоле обратишь взгляд на Будду, смиренно сидящего под священным деревом, или на Христа: в Его притчах ученикам столько любви, покоя и никакой мишурной зауми. Нет, что-то в корне неверно в том, как живет и развивается мысль. Ее питают злоба и зависть, зависть и злоба! Дерево по плодам узнаешь.

— По-моему, не столь уж мы и злобны, — возразил Клиффорд.

— Дорогой мой, прислушайся, как мы друг с другом говорим. Я, пожалуй, хуже всех. Да я предпочту самую горькую пилюлю конфете, в которой сокрыт яд. И когда я завожу, какой Клиффорд славный малый, тут его впору пожалеть. Ради Бога, не жалейте меня, говорите самое мерзкое, тогда я, по крайней мере, пойму, что вам на меня не наплевать. А начнете льстить — все, значит, со мной покончено.

— А мне кажется, мы друг к другу питаем искреннюю приязнь, заметил Хаммонд.

— И все ж нам надо… да, чего там, мы и в глаза друг другу всякие пакости говорим. А за глаза — и подавно! Я, пожалуй, больше всех!

---

[4] notes: 4

В тексте Лоуренса намеки на отношения этих людей в «Диалогах» Платона.

— Ты, по-моему, путаешь размышление с критикой. Согласен: Сократ положил блистательное начало критическому направлению, но ведь он не только в этом преуспел, — важно произнес Чарльз Мей. Сколько тщеславия и напыщенности прятали закадычные друзья под личиной скромности. Каждое слово рассчитано на публику и вместе с тем сколь смиренно!

Дьюкс не стал спорить относительно Сократа, а Хаммонд заметил:

— Совершенно верно — критика и познание далеко не одно и то же.

— Далеко не одно и то же, — эхом откликнулся Берри — молодой застенчивый смугляк. Он приехал на два дня повидать Дьюкса и остался.

Присутствующие изумленно воззрились на него, как на Валаамову ослицу.

Дьюкс рассмеялся.

— Да я вовсе не о познании говорил, а о сознании. Истинное знание приходит к нам посредством всех органов тела: и через желудок, и через половой член, и, в том числе, через сознание, то бишь мозг. Сознание, мозг, лишь анализирует и логически обосновывает. Стоит возвысить мозг над остальными органами, и ему останется только критиковать, то есть выхолостится его

основное предназначение. Но и критика исключительно важна! Наш образ жизни нуждается в нелицеприятнейшей критике. И давайте жить разумом, и давайте с радостью глотать горькие пилюли, а с былым ханжеством и притворством покончим. Но помните, пока живете как простой смертный, вы — частичка всего сущего и незримо связаны с ним. А как выбрали жить разумом, так в миг прервалась связь, как бы отторгли вы себя от ветки, на которой росли. И если; кроме жизни разума, не будет у вас никакой иной, вы завянете, как палое яблоко. Отсюда и вытекает логически: не уйти нам от злобы, это естественно и неизбежно, как не миновать палому яблоку гниения.

Клиффорд не скрывал недоумения; что за чушь несет приятель?! Конни тоже едва сдерживала смех.

— Что ж, видно, мы все — палые яблоки, — сердито и не без яда бросил Хаммонд.

— Впору из нас сидр сделать, — обронил Чарли.

— А что вы думаете о большевизме? — вдруг спросил смуглый Берри, словно его подвела к вопросу логика разговора.

— Браво! — воскликнул Чарли. — Так что же вы думаете о большевизме?

— Ну-ка, ну-ка! Сейчас мы и с большевизмом в два счета разделаемся!

— Вопрос, прямо скажем, непростой. Тут не до шуток, — покачал головой Хаммонд.

— По-моему, большевизм — это высшая точка ненависти ко всему, что кажется большевикам буржуазным, — начал Чарли. — Ну, а «буржуазное» — понятие очень и очень расплывчатое. Оно включает в себя и капитализм. Равно и все чувства — проявления «буржуазные»; и нужно создать человека без этих предрассудков. Тогда и сам человек, его личность, его неповторимость — тоже явление буржуазное. К ногтю его! Личное должно уступить место большему, общественному. Так это понимают Советы. Для них даже человеческий организм — проявление буржуазности. Так не лучше ли придумать механическое нутро? Наделать бездушных, противоестественных, разнозначных, но равноценных винтиков и собирать из них свою машину. Каждый человек — винтик. Ну, а движет эту машину… ненависть ко всему буржуазному. Вот так я понимаю большевизм.

— Очень точная картина! — воскликнул Томми. — Но до чего она близка к идеалу нашего промышленного мира. Идеал заводчика в общих

чертах. Правда, заводчик не согласится избрать ненависть движителем. Впрочем, ненависть многолика. Можно ненавидеть самое жизнь. Достаточно взглянуть на наш край, неприкрытая ненависть во всем… но, как мы уже говорили, если жить разумом, логика неизбежно приведет к ненависти.

— Выходит, большевизм закономерен? Не согласен! Ведь он отрицает основы самой логики! — возмутился Хаммонд.

— Дорогой мой, у большевиков своя логика, материалистическая. Это привилегия… душ неискушенных.

— Как бы там ни было, а большевики потрясли мир.

— Потрясли-то потрясли, а где этому конец? Очень скоро у большевиков будет лучшая армия в мире, с лучшим техническим оснащением.

— Но должен же прийти конец… всей этой ненависти. Должно же быть противодействие.

— Сколько лет ждали, подождем еще. Ведь ненависть, как и все на свете, развивается. Это неизбежный результат насильственного претворения в жизнь тех или иных замыслов, насильственное извлечение чьих-то глубоко запрятанных чувств. Появляется идея и тянет

на свет Божий глубоко сокрытые чувства. Нас нужно завести, как машину. Разум стремится возобладать над чувствами, а чувства-то все — суть ненависть. Так что мы все большевики. Но лицемерим, не признаемся в этом. А русские — большевики без всякого лицемерия.

— Но развитие может идти не только путем Советов. Много и других путей. Ведь большевики, по сути, глупы.

— Верно. Но порой быть дураком не так уж глупо. Если хочешь добиться своего. Я лично считаю большевизм — движением полоумных, равно и общественная жизнь на Западе представляется мне полоумной. Даже более того: наша хваленая «жизнь разума» и та, кажется мне, от скудоумия. Мы — выродки, идиоты. Лишены человеческих чувств. Чем мы не большевики? Только называем себя по-другому. Мы мним себя богами, всесильными и, всемогущими. Точно так же и большевики. Нужно вернуться к человеческому естеству, вспомнить, зачем нам сердце, половой член, — только тогда мы перестанем уподоблять себя богам и, соответственно, большевикам, что, по сути, одно и то же: добродетельны они лишь на вид.

Наступило молчание. Чувствовалось, что при-

сутствующие не согласны. И тут снова прозвучал вопрос Берри:

— Но уж в любовь-то вы верите, Томми?

— Ах, ты мой милый! — усмехнулся Томми. — Нет, мой ангел, нет, нет и еще раз нет! Любовь в наш век — еще одна забава полоумных. Вихлявые мальчишки спят с, грубыми девками, у которых бедра под стать мальчишечьим. Посмотришь — как два жеребчика в упряжке. Ты такую любовь имеешь в виду? Или любовную связь, что непременно приведет к успеху? Или, может, унылый брак двух собственников? Нет, в такую любовь я не поверю ни за что!

— Но во что-то вы же верите?

— Я-то? Ну, разумом я верю в доброе сердце, в задорный пенис, в живой ум, в мужество, если его достанет сказать при даме неприличное слово.

— Во всем этом вам не отказать, — согласился Берри.

Томми Дьюкс захохотал во все горло.

— Ах, ты ангел мой! Если бы! Увы, в сердце моем не больше доброты, чем в картофелине, пенис совсем понурился, и я скорее дам его отрезать, чем выругаюсь при матушке или тетушке; они у меня истинные дамы. Да и ума у меня маловато, мой разум — мое вечное узилище! А хотелось

бы обладать умом. Встрепенулся б тогда, ожил бы каждой клеточкой, каждым органом. Тогда б мой пенис приосанился бы, поприветствовал бы меня, как всякого умного человека. Ренуар, по его же признанию, рисовал картины пенисом… и как! Вот бы и мой на что толковое употребить! Господи! Какая же пытка работать только языком! Мука адская! Это все идет от Сократа.

— Но красивые женщины на белом свете еще не перевелись, — подняла голову и, наконец, заговорила Конни.

Мужчины оскорбление промолчали. Хозяйке дома не полагалось вслушиваться в беседу. Им претила самая мысль, что Конни могла следить за ходом разговора.

— Нет, и думать нечего! Я просто не могу соответствовать всем колебаниям женской натуры. Нет такой женщины, которая будила бы во мне желание. Это желание мне нужно вызывать в себе силой… Господи! Нет никакой надежды. Я буду жить, по-прежнему руководствуясь голым разумом. И честно в этом признаюсь. Я счастлив, разговаривая с женщинами. Но это просто разговор, непорочный, без каких-либо задних мыслей! Не сулящий никаких надежд. Что ты на это скажешь, мой птенчик? — обратился он к Берри.

— Если остаться непорочным, жизнь намного проще, — ответил тот.

— Да, жизнь вообще предельно проста!

5

Морозным утром, под тусклым февральским солнцем Клиффорд и Конни отправились парком на прогулку в лес. Клиффорд ехал на кресле с моторчиком, Конни шла рядом.

В холодном воздухе все же чувствовался запах серы, но и Клиффорд и Конни давно привыкли к нему. Горизонт скрывала молочно-серая от копоти морозная дымка, а над ней — лоскуток голубого неба. Будто Клиффорд и Конни оказались под смрадным колпаком, откуда и не выбраться. И вся жизнь — страшный, дикий сон под этим колпаком.

Коротко взблеивали овцы, щипля жесткую, жухлую траву в парке, там и сям во впадинках серебрился иней. Через парк к лесу красной лентой вилась тропинка, выложенная наново (по приказу Клиффорда) мелким гравием с шахты. Выгорая, выделяя серу, порода делалась красноватой, под цвет креветки, в дождливый день темнела — более под стать крабьему панцирю. Сейчас тропинка была нежно-розовой с голубовато-серебристой оторочкой из инея. Конни так

нравилось хрустеть мелким красным гравием. Нет худа без добра: и шахта дарила маленькую радость.

Клиффорд, осторожно правя креслом, съехал с пригорка, на котором стояла усадьба. Конни шла следом, придерживая кресло за спинку. Невдалеке раскинулся лес: спереди плотной кучкой выстроились каштаны, за ними, догорая последним багрянцем, высились дубы. На опушке прыгали, вдруг застывая, как вкопанные, зайцы. Снялась и устремилась к голубому небесному лоскутку большая стая грачей. Конни открыла калитку, выводившую из парка в лес, и Клиффорд медленно выехал на широкую аллею, взбирающуюся на пригорок меж ровно и густо растущих каштанов. Некогда лес был дремуч, в нем охотился сам Робин Гуд, некогда и нынешняя аллея была основной дорогой меж западными и восточными графствами. Сейчас же по аллее только ездить верхом да оглядывать частные владения, а дорога забирала на север, огибая лес.

Лес стоял недвижим. Палые листья иней прилепил к холодной земле. Вот вскрикнула сойка, разом вспорхнули какие-то мелкие птахи. Но поохотиться уже не удастся — даже фазанов нет. В войну уничтожили всю живность, некому посто-

ять за господский лес. Лишь недавно Клиффорд нанял егеря-лесничего.

Клиффорд любил лес, любил старые дубы. Скольким поколениям Чаттерли служили они. Их нужно охранять. Ему хотелось уберечь лесок от мирской скверны.

Медленно катило кресло вверх по Уклону, вздрагивая, когда под колесо попадал ком мерзлой земли. Неожиданно слева открылась полянка, — кроме приникших к земле спутанных кустиков папоротника, нескольких чахлых побегов, гололобых пней, уцепившихся мертвыми корнями, — ничего нет. Чернели лишь кострища: дровосеки жгли валежник и мусор.

Во время войны сэр Джеффри определил этот участок под вырубку. И пригорок справа от аллеи облысел и глядел очень сиротливо. Некогда на макушке его красовались дубы. Сейчас — проплешина. Оттуда виднелась рудничная узкоколейка за лесом, новые шахты у Отвальной. Конни смотрела как зачарованная. Вот как вторгается мирская суета в покой и уединение леса. Но Клиффорду ничего не сказала.

Плешивый пригорок приводил Клиффорда в необъяснимую ярость. Он прошел войну, повидал Всякое, но не ярился так, как при виде этого

голого холма. И тут же велел его засадить. А в сердце засела острая неприязнь к отцу.

Неспешно Клиффорд взбирался на своей каталке все выше, лицо у него напряглось и застыло. Одолев кручу, остановился, спуск долог и ухабист, нужно отдохнуть. Засмотрелся на аллею внизу, четко обозначенную меж побурелыми деревьями. Вон там ее окружили заросли папоротника, дальше — красавцы дубы. У подножья холма дорога заворачивала и терялась из виду. Но сколь изящен и красив этот поворот: вот-вот из-за него появятся рыцари и изящные амазонки.

— По-моему, вот это и есть подлинное сердце Англии, — сказал Клиффорд жене, оглядывая лес в скупых лучах февральского солнца.

— Ты так думаешь? — спросила Конни и села на придорожный пенек, не жалея голубого шерстяного платья.

— Уверен! Это и есть сердце старой Англии, и я его сберегу в целости-сохранности.

— Правильно! — кивнула Конни. С шахты у Отвальной прогудела сирена, — значит, уже одиннадцать часов. Клиффорд вообще не обратил внимания — привык.

— Я хочу, чтоб этот лес стоял нетронутым. Чтоб ничья нога не оскверняла его, — продолжал он.

И впрямь: лес будил воображение. Что-то таинственное и первозданное таил он. Конечно, он пострадал: сэр Джеффри вырубил немало деревьев во время войны. Сейчас лес стоял тихий, воздев к небу бесчисленные извилистые ветви. Серые могучие стволы попирали бурно разросшийся папоротник. Покойно и уютно птицам порхать с кроны на крону. А когда-то водились здесь и олени, бродили по чащобе лучники, а по дороге ездили на осликах монахи. И все это лес помнит по сей день.

На светлых прямых волосах Клиффорда играло неяркое солнце, на полном румяном лице — печать непроницаемости.

— Здесь мне особо горько. Так недостает сына, — заговорил он.

— Но ведь лес много старше рода Чаттерли.

— Но сохранили его мы. Не будь нас, не было бы уже и леса. Уже сегодня бы ни деревца не осталось. И так от былого леса — рожки да ножки. Но ведь нужно сохранить хоть что-то от Англии былых времен.

— А нужно ли? Ну, сохранишь ты старое, а оно новому помешает. Хотя я понимаю тебя — видеть это грустно.

— Если не сохраним ничего от прежней Ан-

глии, новой не будет вообще! И сохранять это нам, тем, кто владеет землей, лесами, тем, кому на это не наплевать!

Разговор прервался на грустной ноте.

— Что ж, сохранишь на несколько лет, — вздохнула Конни.

— Пусть на несколько лет! Большее нам не по силам. Но с той поры, как мы здесь поселились, я уверен, каждый из нашего рода внес свою малую лепту. Можно противиться условностям, но должно чтить традицию.

И снова Конни откликнулась не сразу.

— О какой традиции ты говоришь? — спросила она.

— О традиции, на которой зиждется Англия! Сохранить все, что нас окружает!

— Теперь поняла, — протянула Конни.

— И будь у меня сын — продолжил бы дело. Все мы — точно звенья одной цепи.

Мысль о звеньях в цепи Конни не понравилась, но она промолчала. Ее удивило, насколько обезличена и абстрактна его тоска по сыну.

— Жаль, что у нас не будет сына, — только и сказала она.

Он пристально посмотрел на нее. Большие голубые глаза не мигали.

— Я бы, пожалуй, даже обрадовался, роди ты от другого мужчины, — сказал он. — Воспитаем ребенка в Рагби, и он станет частичкой нас самих, частичкой Рагби. Я вообще-то не очень придаю значению отцовству. Будет ребенок, мы его вырастим, и он продолжит дело. Как ты думаешь, есть в этом смысл?

Конни наконец подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Ребенок, ее ребенок, был для Клиффорда лишь «продолжателем дела».

— А как же… с другим мужчиной?

— Разве это важно? Неужто нам обоим не все равно? Был же у тебя любовник в Германии. Ну, и что он значит для тебя сейчас? Почти ничего. Дело-то, по-моему, не во всяких там интрижках, связях — не они определяют нашу жизнь. Связь кончается, и все, нет ее… нет! Как прошлогоднего снега! А важно лишь то, что неподвластно времени. Мне важна моя жизнь, и все в протяженности и в развитии. А что эти сиюминутные связи? Особенно те, которые держатся не духом, а плотью? Все как у птичек: раз-два и разлетелись, большего связи и не стоят. Правда, люди порой пытаются придать этим связям значительность. Смешно! А важна общность людей на протяжении всей жизни. Важно жить вместе изо дня в день, а не просто

раз-другой переспать. Мы с тобой вместе, что бы с нами ни случилось. Мы уже привыкли друг к другу. А привычка, как я разумею, куда сильнее, нежели всполох страсти. Жизнь тягуча, тяжка и долга, это отнюдь не фейерверк. Постепенно, мало-помалу люди, живя вместе, начинают сочетаться друг с другом, как инструменты, звучащие в унисон, хотя порой это так нелегко. Вот в чем истинная суть брака, а отнюдь не в половой сфере. Точнее, половой сферой брак далеко не исчерпывается. Вот мы с тобой буквально вросли друг в друга за время семейной жизни. И если мы будем из этого исходить, то легко решим и половую проблему, это не сложнее, чем сходить к дантисту и вырвать зуб. Что ж поделать, раз судьба поставила нас в безвыходное положение.

Конни сидела и с изумлением слушала мужа. Она не знала, прав ли он. Ведь у нее есть Микаэлис, и она любит его (или внушила себе, что любит). Связь с ним — словно развлекательная поездка, бегство из страны унылого супружества, построенного долгим упорным трудом, страданием и долготерпением. Очевидно, человеческой душе необходимо отвлекаться и развлекаться. И грех в этом отказывать. Но беда любой поездки в том, что рано или поздно приходится возвра-

щаться домой.

— Неужели тебе все равно, от кого родится ребенок? — полюбопытствовала она.

— Отчего же. Я доверяю твоему природному чутью и скромности. Ты же ничего не позволишь недостойному человеку.

Она сразу подумала о Микаэлисе! В глазах Клиффорда — он самый недостойный.

— Но ведь мужчины и женщины могут по-разному толковать, кто достойный.

— Вряд ли. Ты очень внимательна ко мне. И мужчина, крайне мне неприятный, и половины бы этого внимания не получил. Не верю. Тебе характер не позволит.

Конни промолчала. Логика — советчик никудышный, какой с нее спрос.

— И как по-твоему: должна ли я потом тебе все рассказать? — спросила она, украдкой взглянув на мужа.

— Зачем это? Мне лучше ничего не знать… но согласись, мимолетная связь — ничто по сравнению с долгими годами, прожитыми вместе. И не кажется ли тебе, что запросы семейной жизни диктуют и сексуальное поведение? Сейчас важно найти мужчину, раз того требуют обстоятельства. В конце концов, неужели минутный трепет в

постели — главное? Может, все-таки главное в жизни — год за годом растить в себе цельную личность? И жить цельной, упорядоченной жизнью. Ибо какой смысл в жизни неупорядоченной? Если личность твоя разрушается без плотских утех — съезди куда-нибудь, потешь себя. Если личность твоя разрушается, потому что не познала материнство, — заведи ребенка. Но и то, и другое — лишь средства, лишь пути к цельной жизни, к вечной гармонии. И мы к ней придем… вместе — правда ведь? Нужно только приспособиться к условиям жизни так, чтоб не повредить, а органично обогатить нашу упорядоченную жизнь. Согласна ты со мной?

Слова Клиффорда изрядно озадачили Конни. Да, конечно, теоретически он прав. Но на деле… она задумалась о своей «упорядоченной» жизни с Клиффордом и заколебалась. Неужто ее удел ниточку за ниточкой вплетать всю себя без остатка в жизнь Клиффорда? И так до самой смерти? Неужто ничего иного ей не уготовано?

И так пройдет ее век? Она будет смиренно жить «цельной» жизнью с мужем, сплетая ровный ковер их бытия, лишь изредка вспыхнет ярким цветком какое-либо увлечение или связь. Но откуда ей знать, как изменятся ее чувства через

год? Да и вообще, дано ли это знать кому-нибудь? И возможно ли всегда и во всем соглашаться? Всегда произносить короткое, как вдох, «да». Она словно бабочка на булавке — среди пришпиленных догм и правил «упорядоченной» жизни. Выдернуть все булавки, и пусть летят себе все помехи и препоны стайкой вольных бабочек.

— Да, Клиффорд, я согласна с тобой. Ты прав, насколько я могу понять. Только ведь жизнь может и иначе все повернуть.

— Ну, пока не повернула. Значит, ты согласна?

— Согласна. Честное слово, согласна.

Откуда-то сбоку вдруг появился коричневый спаниель; подняв морду, принюхался, коротко и неуверенно взлаял. Быстро и неслышно выступил вслед за псом человек с ружьем, решительно направился было к супругам, но, узнав, остановился. Молча отдал честь и пошел дальше вниз по склону. Это и был новый егерь. Конни даже испугалась, так внезапно и грозно он надвинулся на них с Клиффордом. По крайней мере, ей так показалось — вдруг, откуда ни возьмись, ураганом налетела опасность.

Одет был егерь в темно-зеленый плисовый костюм, на ногах — гетры — издавна так одевались все егери. Смуглое лицо, рыжеватые усы. Взгляд,

устремленный вдаль. Вот он проворно сбегает с холма.

— Меллорс! — окликнул его Клиффорд.

Егерь чуть обернулся, козырнул, сразу видно — из солдат.

— Поверните, пожалуйста, мне кресло и подтолкните. Так легче ехать.

Меллорс перекинул ружье через плечо, проворно, но по-кошачьи мягко, без суеты, будто хотел остаться не только неслышным, но и невидимым, взобрался наверх. Чуть выше среднего роста, сухощавый, очевидно, немногословный. На Конни он даже не взглянул, обратив все внимание на кресло.

— Конни, познакомься, это наш новый егерь — Меллорс. Вам ведь, Меллорс, с госпожой еще не приходилось разговаривать?

— Никак нет, сэр, — бесстрастно отрезал он и снял шляпу. Волосы у него оказались густые, темно-русые. Он посмотрел прямо в глаза Конни. Во взгляде не было ни робости, ни любопытства, казалось, он просто оценивал ее внешность. Конни смутилась, чуть склонила голову, он же переложил шляпу в левую руку и ответил легким поклоном, как настоящий джентльмен, однако не произнес ни слова. Так и застыл со шляпой

в руке.

— Вы ведь не первый день у нас? — спросила Конни.

— Восемь месяцев, госпожа… Ваша милость! — с достоинством поправился он.

— И нравится вам здесь?

Теперь она посмотрела ему прямо в глаза. Он чуть прищурился — насмешливо и дерзко.

— А как же! Спасибо, ваша милость. Я в этих краях вырос. — Он вновь едва заметно поклонился. Надел шляпу и отошел к креслу. Последнее слово он произнес тягуче, подражая местному говору. Может, тоже в насмешку, ведь до этого речь его была чиста. Почти как у образованного человека. Прелюбопытнейший тип — сноровистый и ловкий, любит самостоятельность и обособленность, уверен в себе.

Клиффорд запустил моторчик, Меллорс осторожно повернул кресло и направил его на тропинку, полого сбегавшую в чащу каштанов.

— Моя помощь больше не требуется? — спросил егерь.

— Вы нас все же немного проводите. Вдруг мотор заглохнет; он не очень мощный, на холмы не рассчитан.

Егерь огляделся — потерял из вида собаку, —

взгляд у него был глубокий, раздумчивый. Спаниель, не спуская глаз с хозяина, вильнул хвостом. На мгновение в глазах Меллорса появилась озорная, дразнящая и вместе нежная улыбка и потухла. Лицо застыло. Они довольно быстро двинулись под гору. Меллорс придерживал кресло за поручни. Он, скорее, походил на солдата, нежели на слугу, и чем-то напоминал Томми Дьюкса.

Миновали каштановую рощицу. Конни вдруг припустила вперед, распахнула калитку в парк, подождала, пока мужчины проедут. Оба взглянули на нее. Клиффорд — неодобрительно, Меллорс — с любопытством и сдержанным удивлением, опять тот же отстраненный, оценивающий взгляд. И в голубых глазах увидела она за нарочитой бесстрастностью боль, и неприкаянность, и непонятную нежность. Почему ж он такой далекий и одинокий?

Проехав калитку, Клиффорд остановил кресло. Слуга же быстро и почтительно вернулся ее запереть.

— Зачем ты бросилась открывать? — спросил Клиффорд; ровный и спокойный тон его выдавал недовольство. — Меллорс сам бы справился.

— Я думала, вы сразу, без задержки поедете.

— Чтоб ты нас потом бегом догоняла?

— Пустяки! Иногда так хочется побегать.

Подошел Меллорс, взялся за кресло, видом своим давая понять, что ничего не слышал. Однако Конни чувствовала: Меллорс все понял. Катить кресло в гору было труднее. Меллорс задышал чаще, приоткрыв рот. Да, сложен он отнюдь не богатырски. Но сколько в этом сухопаром теле жизни, скрытой чувственности. Женским нутром своим угадала это Конни.

Она чуть поотстала. День поскучнел: серая дымка наползла, окружила и сокрыла голубой лоскуток неба, точно под крышкой, — и фазу влажным холодом дохнуло на землю. Наверное, пойдет снег. А пока все кругом так уныло, так серо! Одряхлел весь белый свет!

На пригорке в начале красной тропинки ее поджидали мужчины. Клиффорд обернулся.

— Не устала? — спросил он.

— Нет, что ты!

Все-таки она устала. К тому же в душе пробудилось непонятное досадливое томление и недовольство. Клиффорд ничего не заметил. Он вообще был глух и слеп к движениям души. А вот чужой мужчина понял все.

Да, вся жизнь, все вокруг представлялось Конни дряхлым, а недовольство ее — древнее окрестных

холмов.

Вот и дом. Клиффорд подъехал не к крыльцу, а с другой стороны — там был пологий въезд. Проворно перебирая сильными руками, Клиффорд перекинул тело в домашнее низкое кресло-коляску. Конни помогла ему втащить омертвелые ноги.

Егерь стоял навытяжку и ждал, когда его отпустят. Внимательный взгляд его примечал каждую мелочь. Вот Конни подняла неподвижные ноги мужа, и Меллорс побледнел — ему стало страшно. Клиффорд, опершись на руки, поворачивался всем туловищем вслед за Конни к домашнему креслу. Да, Меллорс испугался.

— Спасибо за помощь, — небрежно бросил ему Клиффорд и покатил по коридору в сторону людской.

— Чем еще могу служить? — прозвучал бесстрастный голос егеря, такой иной раз прислышится во сне.

— Больше ничего не нужно. Всего доброго.

— Всего доброго, сэр!

— До свидания, Меллорс. Спасибо, что помогли. Надеюсь, было не очень тяжело, — обернувшись, проговорила Конни вслед егерю — тот уже выходил.

На мгновение они встретились взглядами. Казалось, что-то пробудилось в Меллорсе, спала пелена отстраненности.

— Что вы! Совсем не тяжело! — быстро ответил он и тут же перешел на небрежный тягучий говорок. — Всего доброго, ваша милость!

За обедом Конни спросила:

— Кто у тебя егерем?

— Меллорс! Ты же его только что видела.

— Я не о том. Откуда он родом?

— Ниоткуда! В Тивершолле и вырос. Кажется, в шахтерской семье.

— И сам в шахте работал?

— Нет, по-моему, при шахте кузнецом. В забой сам не лазил. Он еще до войны два года здесь егерем служил, потом армия. Отец о нем всегда хорошо отзывался. Поэтому я и взял его снова егерем — сам-то он после войны пошел было снова кузнецом на шахту. Я полагаю, мне крупно повезло, найти в здешнем краю хорошего егеря почти невозможно. Ведь он еще и в людях должен толк знать.

— Он не женат?

— Был раньше. Но жена с кем только не гуляла, наконец спуталась с каким-то шахтером из Отвальной, кажется, так по сей день с ним и

живет.

— Значит, он совсем один?

— Почти что. У него в деревне мать… и, помнится, был ребенок.

Клиффорд посмотрел на жену. Большие голубые глаза подернулись дымкой. Взгляд вроде бы и живой, но за ним проступала все ближе и ближе — мертвенно серая дымка, под стать той, что заволакивает небо над шахтами. Клиффорд смотрел как всегда значительно, как всегда с определенным смыслом, а Конни все виделась эта омертвляющая пелена, обволакивающая сознание мужа. Страшно! Пелена эта, казалось, лишала Клиффорда его особинки, даже ума.

Постепенно ей открылся один из величайших законов человеческой природы. Если человеческим душе и телу нанести разящий удар, кажется, что душа — вслед за телом — тоже пойдет на поправку. Увы, так только кажется. Мы просто переносим привычные понятия о теле на душу. Но рана душевная постепенно, изо дня в день, будет мучить все больше. На теле от удара остается синяк, лишь потом нестерпимая боль пронизывает тело, заполняет сознание. И вот когда мы думаем, что поправляемся, что все страшное позади, тогда-то ужасные последствия и напомнят

о себе — безжалостно и жестоко.

Так случилось и с Клиффордом. Вроде бы он «поправился», вернулся в Рагби, начал писать, обрел уверенность. Казалось, прошлое забыто, и к Клиффорду вернулось самообладание. Но шли неспешной чередой годы, и Конни стала замечать, что синяк на зашибленной душе мужа все болезненнее, что он расползается все шире. Долгое время он не напоминал о себе — сразу после удара душа сделалась бесчувственной, — а сейчас страх, точно боль, распространился по всей душе и парализовал ее. Пока еще жив разум, но мертвящий страх не пощадит и психику.

Мертвела душа у Клиффорда, мертвела и у Конни.

И в ее душе поселился страх, и пустота, и равнодушие ко всему на свете. Когда Клиффорд бывал в духе, он все еще блистал великолепием мысли и слова, уверенно строил планы. Как тогда в лесу он предложил ей родить, чтобы у Рагби появился наследник. Но уже на следующий день все его красноречивые доводы увяли, точно палые листья, иссохли, обратились в прах, в ничто, в пустоту, их словно ветром унесло. Не питались эти слова соками подлинной жизни, не таилась в них молодая сила, потому и увяли. А жизнь, заклю-

ченная в сонмищах палых листьев, — бесплодна.

Омертвелость виделась Конни во всем. Шахтеры Тивершолла поговаривали о забастовке, и Конни казалось, что это вовсе не демонстрация силы, а исподволь вызревавшая боль — кровоподтек со времен войны, достигший поверхности и — как следствие — смуты, недовольства. Глубоко-глубоко угнездилась боль. Причиненная войной, бесчеловечной и беззаконной. Сколько лет пройдет, прежде чем сойдет с души и тела человечества этот кровоподтек, разгонит его кровь новых поколений. Но не обойтись и без новой надежды.

Бедняга Копни! За годы в Рагби и ее душу поразил страх: вдруг омертвеет и она. Мужнина «жизнь разума» и ее собственная мало-помалу теряли содержание и смысл. Вся их совместная жизнь, если верить разглагольствованиям Клиффорда, строилась на прочной, проверенной годами близости. Но выпадали дни, когда ничего, кроме беспредельной пустоты, Конни не чувствовала. Многословье, одно многословье. Подлинной в ее жизни была лишь пустота под покровом лживых, неискренних слов.

Клиффорд преуспевал — уломал-таки Вертихвостку Удачу! Без пяти минут знаменитость.

Книги уже приносили немалый доход. Повсюду — его фотографии. В одной галерее выставлялся его скульптурный портрет, портреты живописные — в двух других. Из всех новомодных писательских голосов его голос был самым громким. С помощью почти сверхъестественного чутья лет за пять он стал самым известным из молодых «блестящих» умов. Конни, правда, не очень-то понимала, откуда взялся блеск. В уме, конечно, Клиффорду не откажешь. Чуть насмешливо он начинал раскладывать по полочкам человеческие черты, привычки, побуждения, а в конце концов разносил все в пух и прах. Так щенок игриво выхватит поначалу клочок диванной обивки, а потом, глядишь — от дивана рожки да ножки. Разница в том, что у щенка все выходит по детскому недомыслию, у Клиффорда — по непонятной, прямо стариковской твердолобой чванливости. Какая-то роковая мертвящая пустота. Мысль эта далеким, но навязчивым эхом прилетела к Конни из глубины души. Все — суть пустота и мертвечина. И Клиффорд еще этим щеголяет. Да, щеголяет! Именно — щеголяет.

Микаэлис задумал пьесу и в главном герое вывел Клиффорда. Он уже набросал сюжет и приступил к первому акту. Да, Микаэлис еще больше

Клиффорда поднаторел в искусстве щеголять пустотой. У обоих мужчин, лишенных сильных чувств, только и осталась страстишка — щегольнуть, показать себя во всем блеске. А страстью (даже в постели) обделены оба. Микаэлис отнюдь не гнался за деньгами. Не ставил это во главу угла и Клиффорд. Хотя и не упускал случая заработать, ведь деньги — это знак Удачи! А Удача, Успех — цель как одного, так и другого. И оба тщились показать себя, блеснуть, хоть на минуту стать «властителями дум» толпы.

Удивительно… Как продажные девки, завлекали они Удачу! Но Конни не участвовала в этом, ей неведом был их сладострастный трепет. Ведь даже заигрывание с Удачей попахивало мертвечиной. А ведь не сосчитать, сколько раз Микаэлис и Клиффорд бесстыдно предлагали себя Вертихвостке Удаче. И тем не менее, все их потуги — тщета и пустота.

О пьесе Микаэлис сообщил Клиффорду в письме. Конни, конечно же, знала о ней намного раньше. Ах, как встрепенулся Клиффорд. Вот еще раз предстанет он во всем блеске — чьими-то стараниями и к своей выгоде. И он пригласил Микаэлиса в Рагби читать первый акт.

Микаэлис не заставил себя ждать. Стояло лето,

и он явился в светлом костюме, в белых замшевых перчатках, с очень красивыми лиловыми орхидеями для Конни.

Чтение первого акта прошло с большим успехом. Даже Конни была глубоко взволнована до глубины своего естества (если от него хоть что-нибудь осталось). А сам Микаэлис был великолепен — он просто трепетал, сознавая, что заставляет трепетать других, — казался Конни даже красивым. Она вновь узрела в его чертах извечное смирение древней расы, которую более уже ничем не огорчить, не разочаровать, расы, чье осквернение не нарушило ее целомудрия. Ведь в рьяной, неукротимо-похотливой тяге к своевольной Удаче Микаэлис был искренен и чист. Столь же искренне и чисто запечатлевает африканская маска слоновой кости самые грязные и мерзкие черты.

И объясним его трепет, когда под его чары подпали и Клиффорд и Конни: то был, пожалуй, наивысший триумф в его жизни. Да, он победил, он влюбил в себя супругов. Даже Клиффорда, пусть и ненадолго. Именно — влюбил в себя!

Зато назавтра к утру он просто извелся: дерганый, истерзанный сомнениями, руки и в карманах брюк не находят покоя. Конни не при-

шла к нему ночью… И где ее сейчас искать, он не знал. Кокетка! Так испортила ему праздник!

Он поднялся к ней в гостиную. Она знала, что он придет. Не укрылась от нее и его тревога. Он спросил, что она думает о его пьесе, нравится ли? Как воздух нужна ему похвала, она подстегивала его жалкую, слабенькую страсть, которая, однако, неизмеримо сильнее любого плотского удовольствия. И Конни не жалела восторженных слов, в глубине души зная, что и ее слова мертвы!

— Послушай! — вдруг решился он. — Почему бы нам не зажить честно и чисто? Почему б нам не пожениться?

— Но я замужем! — изумилась Конни, а-омертвелая душа ее даже не встрепенулась.

— Пустяки! Он согласится на развод, не сомневайся. Давай поженимся! Мне этого так хочется. Самое лучшее для меня — завести семью и остепениться. Ведь у меня не жизнь, а черт-те что! Я прожигаю жизнь! Послушай, мы ведь созданы друг для друга! Просто идеальная пара! Ну, давай поженимся. Скажи, что, ну что тебе мешает?

Конни все так же изумленно взирала на него, а в душе — пустота. Как похожи все мужчины. Витают в облаках. Придумают что-нибудь и — раз! — вихрем устремляются ввысь, причем

полагают, что и женщины должны следом воспарить.

— Но я замужем, — повторила она, — и Клиффорда не брошу, сам понимаешь.

— Но почему? Почему? — воскликнул он. — Через полгода он забудет о тебе, не заметит даже, что тебя нет рядом. Он вообще никого, кроме собственной персоны, не замечает. Ведь я вижу: тебе от него никакого толка. Он занят только собой.

Конни понимала, что Мик прав. К тому же она чуяла, что он сейчас и не стремится выставить себя благородным.

— А разве не все мужчины заняты только собой? — спросила она.

— Да, пожалуй, в какой-то степени. Мужчина должен состояться, должен проявить себя. Но это еще не самое главное. А главное: будет ли женщине с ним хорошо? Способен ли он ее осчастливить? Если нет, то нечего такому и думать о женщине… — Он замолчал и, как гипнотизер, вперил в нее взгляд больших, чуть навыкате, карих глаз. — Я же не сомневаюсь, что способен дать женщине все, что она ни попросит. Я в себе уверен.

— А что именно ты способен дать? — спросила Конни все с тем же изумлением, которое легко

принять за восторг. А в душе по-прежнему пусто.

— Да что угодно, черт побери! Что угодно! Завалю платьями, осыплю кольцами, серьгами, ожерельями; любой ночной клуб — к ее услугам! С кем бы ни пожелала познакомиться — пожалуйста! Захочет — пусть прожигает жизнь… или путешествует, и везде ей почет и уважение! Разве этого мало, черт возьми!

Говорил он вдохновенно, почти ликуя; и Конни зачарованно смотрела и смотрела на него, но душа безмолвствовала. Даже разум не внял радужным посулам. Даже в лице ничего не переменилось, ни один мускул не дрогнул, а раньше Конни бы загорелась. Сейчас же ее сковало какое-то бесчувствие, нет, не «воспарить» ей вслед за Миком и его мечтой. Она лишь зачарованно-помертвело уставилась на него; правда, почуяла за барьером слов мерзостный запашок Вертихвостки Удачи.

А Мик мучился от ее неопределенного молчания. Сидя в кресле, он подался вперед и умоляюще, со слезами на глазах смотрел на Конни. И кто знает, что в нем сейчас преобладало: гордыня ли, требовавшая, чтобы Конни подчинилась, или страх, что она и впрямь уступит его мольбам.

— Мне нужно подумать. Сразу я не могу ре-

шить, — сказала она наконец. — По-твоему, Клиффорда можно сбросить со счетов, а по-моему — нет. Вспомни только о его увечье…

— Чушь это все! Если каждый начнет козырять своими невзгодами, я могу козырнуть своим одиночеством. Я всю жизнь одинок! Пожалейте меня, разнесчастного, ну, и далее в том же духе! Чушь! Если нечем больше похвастать, кроме увечий да невзгод… — он внезапно замолчал, отвернулся, видно было лишь, как сжимаются и разжимаются кулаки в карманах брюк.

Вечером он спросил:

— Ты придешь сегодня ко мне? Я ведь даже не знаю, где твоя спальня.

— Приду! — ответила она.

В ту ночь этот странный мужчина с худеньким телом подростка ласкал Конни как никогда страстно. И все же оргазма одновременно с ним она не достигла. Только потом в ней вдруг разгорелось желание, ее так потянуло к этому детскому нежному телу. И неистово вверх-вниз заходили бедра, а Мик героически старался сохранить твердость не только духа, но и плоти, отдавшись порыву ее страсти. Наконец, полностью удовлетворившись, постанывая и вскрикивая, она затихла.

Но вот тела их разъялись, Мик отстранился и обиженно, даже чуть насмешливо сказал:

— Ты что же, не умеешь кончить одновременно с мужчиной? Придется научиться! Придется подчиниться!

Слова эти поразили Конни безмерно. Ведь совершенно очевидно, что в постели Мик может удовлетворить женщину, лишь уступив ей инициативу.

— Я тебя не понимаю, — пробормотала она.

— Прекрасно ты все понимаешь! Мучаешь меня часами после того, как я уже кончил. Терплю, стиснув зубы, пока ты своими стараниями удовольствие получаешь.

Нежданно жестокие слова ударили больно. Ведь сейчас ей хорошо, ослепительно хорошо, сейчас она любит его — к чему же эти слова! В конце концов, она не виновата: он, как почти все нынешние мужчины, кончал, не успев начать. Оттого и приходится женщине брать инициативу.

— А разве тебе не хочется, чтобы и я получила удовольствие? — спросила она.

Он мрачно усмехнулся.

— Хочется? Вот это здорово! По-твоему, мне хочется смиренно лежать, стиснув зубы, и чтоб

ты мной верховодила?!

— Ну, а все-таки? — упорствовала Конни, но Мик не ответил.

— Все вы, женщины, одинаковы. Либо лежите, не шелохнетесь, будто мертвые, либо, когда мужчина уже устал, вдруг разгораетесь и начинаете наяривать, а наш брат, знай, терпи.

Конни, однако, не вслушивалась, хотя точка зрения мужчины ей в новинку. Ее ошеломило отношение Мика, его необъяснимая жестокость. Разве она в чем виновата?

— Но ведь ты же хочешь, чтобы и я получила удовольствие? — вновь спросила она.

— Разумеется! О чем речь! Но поверь, любому мужчине не очень-то по вкусу, сделав свое дело, еще ждать, пока женщина сама кончит…

Нечасто доставались Конни в жизни столь сокрушительные удары — после таких слов ее чувству не суждено было оправиться. Нельзя сказать, что до этого она души не чаяла в Микаэлисе. Не разбуди он в ней женщину, она б обошлась без него. И прекрасно бы обошлась! Но коль скоро в ней все же проснулась женщина, стоит ли удивляться, что и она хочет получить свое в постели. А получив, питает самые нежные чувства к мужчине (как в эту ночь), можно сказать, любит его,

хочет выйти за него замуж.

Пожалуй, Микаэлис нутром почувствовал ее готовность и сам же безжалостно разрушил собственные планы — разом, словно карточный домик. А Конни в ту ночь похоронила свое влечение к этому мужчине. Да и не только к этому, а, пожалуй, ко всякому. Жизни их разъялись, как и тела. Будто и не было никогда Микаэлиса.

Безотрадной чередой потянулись дни. Все пусто и мертво. Лишь однообразное бесцельное существование, в понятии Клиффорда это и есть «совместная жизнь»: двое долго живут бок о бок в одном доме, и объединяет их привычка.

Пустота! Смириться с тем, что жизнь — это великая пустыня, значит подойти к самому краю бытия. Великое множество дел малых и важных составляет огромное число — но из одних только нулей.

6

— Почему в наши дни мужчины и женщины по-настоящему не любят друг друга? — спросила Конни у Томми Дьюкса, он был для нее вроде прорицателя.

— Вы не правы! С тех пор как придуман род людской, вряд ли мужчины и женщины любили друг друга крепче, чем сейчас. И, добавлю, искреннее. Вот я, к примеру… Мне женщины нравятся куда больше мужчин. Они храбрее, им можно больше довериться.

Конни призадумалась.

— Но вы, тем не менее, никаких отношений с ними не поддерживаете.

— Разве? А что я сейчас, по-вашему, делаю? Разговариваю с женщиной о самом сокровенном!

— Вот именно — разговариваете…

— Ну, а будь вы мужчиной, удалось бы мне большее, нежели разговор по душам?

— Нет, пожалуй, но ведь женщина…

— Женщина хочет, чтобы ее любили, чтобы с ней говорили и чтобы одновременно сгорали от страсти к ней. Сдается мне, что любовь и страсть

понятия несовместимые.

— Но это же неправильно!

— А вам не кажется, что вода чересчур мокра? Что б ей стать посуше, а? Но она с нашими желаниями не считается. Мне нравятся женщины, я с ними охотно беседую, но отнюдь не питаю к ним ни страсти, ни вожделения. Духовное и плотское во мне одновременно не уживутся.

— А по-моему, никакого противоречия не должно быть.

— Допустим, но зачастую в жизни все не так, как должно быть. Я в такие рассуждения не вдаюсь.

Конни снова задумалась.

— Но ведь мужчины умеют и пылко любить, и говорить с женщинами по душам. Не представляю, как можно пылко любить женщину и по-доброму, по-дружески не разговаривать с ней о сокровенном. Не представляю!

— Ну, знаете, — замялся он. — Впрочем, если я начну обобщать, толку будет немного. Я могу ссылаться лишь на собственный опыт. Я люблю женщин, но влечения не испытываю. Мне нравится разговаривать с ними. И в разговоре, с одной стороны — достигаю близости, с другой — отдаляюсь, меня совсем не тянет их целовать.

Вот вам и противоречие. Но я, возможно, пример не типичный, скорее, исключение из правил. Люблю женщин, но бесстрастно, а тех, кто требует от меня даже жалкого подобия страсти или пытается вовлечь в интрижку, тех ненавижу.

— И вы об этом не жалеете?

— С чего бы?! Ничуть! Вон, у таких, как Чарли Мей, связей предостаточно. Но я не завидую. Пошлет мне Судьба желанную женщину — прекрасно! Раз такой нет или, может, я ее пока не встретил, значит, говорю я себе: «Ты — рыбья кровь», — и довольствуюсь очень сильной симпатией к некоторым женщинам.

— А я вам симпатична?

— Весьма! Хотя, как видите, нам и в голову не приходит целоваться.

— Воистину! Хотя что ж в самом желании противоестественного?

— Ну, при чем тут это! Я люблю Клиффорда, но что вы скажете, если я брошусь его целовать?

— А разницы вы не видите?

— Собственно, в чем эта разница, взять хотя бы наш пример. Мы люди цивилизованные, половое влечение научились держать в узде, и притом в строгой. Понравится ли вам, если я начну, подобно разнузданным европейцам, хвастать своими

«достоинствами»?

— Мне бы стало противно.

— Вот именно! А я — если вообще меня можно отнести к роду мужскому — пока не вижу соответствующую мне женщину и не ахти как страдаю. Потому-то мне хватает просто добрых чувств к женщине. И никто никогда не заставит меня являть пылкую страсть или изображать ее в постели!

— Что верно, то верно. Но нет ли в этом какой-то ущербности?

— Вы ее чувствуете, я — нет.

— Да, я чувствую, что между мужчинами и женщинами какой-то разлад. Женщина в глазах мужчины потеряла очарование.

— А мужчина — в глазах женщины?

— Почти не потерял, — подумав, честно призналась Конни.

— Оставим всю эту заумь, вернемся к простому и естественному общению, как и подобает разумным существам. И к чертям собачьим всю эту надуманную постельную повинность! Я ее не признаю!

Конни понимала, что Томми Дьюкс прав. Но от его слов почувствовала себя еще более одинокой и беспризорной. Как щепку, крутит и несет ее по

каким-то сумрачным водам. Для чего живет она и все вокруг?

То восставала ее молодость. Черствы и мертвы сердца этих мужчин. Все вокруг черство и мертво. Даже на Микаэлиса нет надежды: продаст и предаст женщину. А этим женщина и вовсе не нужна. Никому из них не нужна женщина, даже Микаэлису.

А подонки, которые притворно клянутся в любви, чтобы переспать с женщиной, и того хуже.

Страшно. Но ничего не поделать. Прав Томми: потерял мужчина очарование в глазах женщины. И остается обманывать себя, как обманывала она себя, увлекшись Микаэлисом. Все лучше, чем однообразная, унылая жизнь. Она отчетливо поняла, почему люди приглашают друг друга на вечеринки, почему до одури слушают джаз, почему до упаду танцуют чарльстон. Просто это молодость по-всякому напоминает о себе, а иначе не жизнь — тоска смертная! А вообще-то молодость — ужасная пора. Чувствуешь себя старой, как Мафусаил, но что-то внутри щекочет, лишает покоя. Что за жизнь ей выпала! И никаких надежд! Она почти жалела, что не уехала с Микаэлисом, тогда б вся ее жизнь потянулась нескончаемой вечеринкой или джазовым кон-

цертом. И то лучше, чем маяться и тешить себя праздными мечтаниями, дожидаясь смерти.

Однажды, когда на душе было совсем худо, она отправилась одна в лес, ничего не слыша, не видя вокруг. Ахнул выстрел — она вздрогнула, досадливо поморщилась, но пошла дальше. Потом услышала голоса, и ее передернуло: люди сейчас совсем некстати. Но чуткое ухо поймало и другой звук — Конни насторожилась — плакал ребенок. Она вслушалась: кто-то обижает малыша. Еще больше исполнившись мрачной злобой, она решительно зашагала вниз по скользкой тропе — сейчас обидчика в пух и прах разнесет.

Чуть поодаль, за поворотом она увидела двоих: егеря и маленькую девочку в бордовом пальто и кротовой шапочке, девочка плакала.

— Ну-ка ты, рева-корова, замолчи сейчас же! — сердито прикрикнул мужчина, и девочка заплакала еще громче.

Завидев спешившую к ним разъяренную Констанцию, мужчина спокойно козырнул, лишь побледневшее лицо выдавало гнев.

— В чем дело, почему девочка плачет? — властно спросила Конни, запыхавшись от быстрого шага.

На лице у егеря появилась едва заметная глум-

ливая ухмылка.

— А поди разбери! Спросите у нее сами! — жестко бросил он, нарочито растягивая слова, подражая местному говору.

Конни побледнела — ей словно пощечину влепили! Ну, нет, она не уступит этому нахалу! И в упор взглянула на егеря — однако решимости в потемневших от гнева синих глазах поубавилось.

— Я спрашиваю у вас! — выпалила она.

Егерь приподнял шляпу, чуть наклонил голову — не то кивок, не то поклон.

— Так никто и не спорит. Только чего мне говорить-то? — закончил он, опять произнося слова по-местному грубовато.

И вновь замкнулось солдатское его лицо, лишь побледнело с досады.

Конни повернулась к девочке. Была она румяна и черноволоса, лет десяти от роду.

— Ну, что случилось, маленькая? Почему плачешь? — тоном «доброй тети» спросила Копни. Девочка испугалась и зарыдала еще пуще. Конни заговорила еще мягче.

— Ну, ну, не надо, не плачь! Скажи, кто тебя обидел, — как могла нежно проворковала она и, к счастью, нашарила в кармане вязаной кофты

монетку.

— Давай-ка вытрем слезы. — И она присела рядом с девочкой. — Посмотри-ка, что у меня есть, — это тебе!

Девочка перестала всхлипывать, хлюпать носом, отняла кулачок от зареванного лица и смышленым черным глазом зыркнула на монетку. Потом раз-другой всхлипнула и примолкла.

— Ну, а теперь расскажи, из-за чего такие слезы, — снова спросила Конни, положила монетку на пухлую ладошку, девочка сразу зажала ее в кулачок.

— Из-за… из-за киски!

И всхлипнула еще раз, но уже тише.

— Из-за какой киски, радость моя?

После некоторой заминки кулачок с монеткой ткнул в сторону кустов куманики.

— Вон той!

Конни пригляделась. Верно: большая черная окровавленная кошка безжизненно распласталась под кустом.

— Ой! — в ужасе воскликнула она.

— Она, ваша милость, нарушительница границы, — язвительно произнес Меллорс.

Конни сердито взглянула на него.

— Если вы ее при ребенке пристрелили, неуди-

вительно, что девочка плачет! Совсем неудивительно.

Он быстро, но не тая презрения, посмотрел на нее. И опять Конни стыдливо зарделась: никак она снова затеяла скандал, за что ж Меллорсу ее уважать?!

— Как тебя зовут? — игриво обратилась она к девочке. — Неужели не скажешь?

Девочка засопела, потом жеманно пропищала:

— Конни Меллорс!

— Конни Меллорс! Какое у тебя красивое имя! Значит, ты вышла погулять с папой, а он возьми и застрели киску. Но это нехорошая киска.

Девочка взглянула на нее смело и изучающе: что за тетя? Вправду ли такая добрая?

— Я к бабушке приехала.

— Что ты говоришь?! А где же твоя бабушка живет?

— В доме, вот где, — и девчушка махнула рукой в сторону аллеи.

— Вон оно что! И не вернуться ли тебе сейчас к ней, а?

— Вернуться! — отголоски рыданий дрожью пробежали по детскому телу.

— Хочешь, я провожу тебя? До самого бабушкиного дома. А папе нужно работать, — и

повернулась к Меллорсу. — Это ваша дочка?

Он чуть кивнул и снова взял под козырек.

— Надеюсь, вы мне ее доверите?

— Как будет угодно вашей милости.

И снова он посмотрел ей в глаза. Спокойно, испытующе и в то же время независимо. Гордый и очень одинокий мужчина.

— Ты ведь хочешь пойти со мной к бабушке?

— Ага, — девочка еще раз взглянула на Конни.

Той маленькая тезка не понравилась: еще под стол пешком ходит, а уже набралась дурного: и притворства, и жеманства. Все же она утерла ей слезы и взяла за руку. Меллорс молча козырнул на прощанье.

— Всего доброго, — попрощалась и Конни.

Путь оказался неблизкий; когда, наконец, они пришли к бабушкиному нарядному домику, Конни младшая изрядно надоела Конни старшей. Девочку, точно дрессированную обезьянку, обучили великому множеству мелких хитростей, и тем она изрядно гордилась.

Дверь в дом была распахнута, там что-то гремело и бряцало. Конни приостановилась, а девочка отпустила ее руку и вбежала в дом.

— Бабуля! Бабуля!

— Никак уже возвернулась?

Бабушка чистила плиту — обычное занятие субботним утром. Она подошла к двери: маленькая сухонькая женщина в просторном фартуке, со щеткой в руке, на носу — сажа.

— Батюшки, кто ж это к нам припожаловал! — ахнула она, увидев за порогом Конни, и поспешно отерла лицо рукой.

— Доброе утро! Девочка плакала, вот я и привела ее домой, — объяснила Конни.

Старушка проворно обернулась к внучке.

— А где ж папка-то твой?

Малышка вцепилась в бабушкину юбку и засопела.

— Он тоже там был, — ответила вместо нее Конни. — Он пристрелил бездомную кошку, а девочка расстроилась.

— Да что же вам такие хлопоты, леди Чаттли! Спасибо вам, конечно, за доброту, но, право, не стоило это ваших хлопот! Это ж надо! — и старушка снова обратилась к девочке. — Ты ж посмотри! Самой леди Чаттерли с тобой возиться пришлось! Ей-Богу, не стоило так хлопотать!

— Какие хлопоты? Просто я прогулялась, — улыбнулась Конни.

— Нет, конечно же. Бог воздаст вам за доброту! Это ж надо ж — плакала! Я так и знала: стоит

им за порог выйти, что-нибудь да приключится. Малышка боится его, вот в чем беда-то. Он ей ровно чужой, ну, вот как есть — чужой; и, сдается мне, непросто им будет поладить, ох непросто. Отец-то большой чудак.

Конни смешалась и промолчала.

— Ба, посмотри-ка, че у меня есть! — прошептала девочка.

— Надо же, тебе еще и монетку дали! Ой, ваша светлость, балуете вы ее. Ой, балуете! Видишь, внученька, какая леди Чатли добрая! Везет тебе сегодня!

Фамилию Чаттерли старуха выговаривала, как и все местные, проглатывая слог.

— Ох, и добра леди Чатли к тебе.

Неизвестно почему Конни засмотрелась на старухин испачканный нос, и та снова машинально провела по нему ладонью, однако сажу не вытерла.

Пора уходить.

— Уж не знаю, как вас и благодарить, леди Чатли! — все частила старуха. — Ну-ка, скажи спасибо леди Чатли! — это уже внучке.

— Спасибо! — пропищала девочка.

— Вот умница! — засмеялась Конни, попрощалась и пошла прочь, с облегчением расставшись

с собеседницами. Занятно, думала она: у такого стройного гордого мужчины — и такая мать, осколочек.

А старуха, лишь Конни вышла за порог, бросилась к зеркальцу на буфете, взглянула на свое лицо и даже ногой топнула с досады.

— Ну, конечно ж! Вся в саже, в этом страшном фартуке! Вот, скажет, неряха!

Конни медленно возвращалась домой в Рагби. Домой… Не подходит это уютное слово к огромной и унылой усадьбе. Когда-то, может, и подходило, да изжило себя, равно измельчали и другие великие слова: любовь, радость, счастье, дом, мать, отец, муж. Поколение Конни просто отказалось от них, и теперь слова эти мертвы, и кладбище их полнится с каждым днем. Ныне дом — это место, где живешь; любовь — сказка для дурачков; радость — лихо отплясанный чарльстон; счастье — слово, придуманное ханжами, чтобы дурачить других; отец — человек, который живет в свое удовольствие; муж — тот, с кем делишь быт и кого поддерживаешь морально; и, наконец, «секс», то бишь радости плоти, — последнее из великих слов — это пузырек в игристом коктейле: поначалу бодрит, а потом — раз! — от хорошего настроения — одни клочки. Сущие лохмотья!

Превращаешься в ветхую тряпичную куклу.

Оставалось только, упрямо стиснув зубы, терпеть. Даже в этом таилось некое удовольствие. Каждый день, прожитый в этом мертвящем мире, каждый шаг по этой человеческой пустыне приносил странное и страшное упоение. Чему быть, того не миновать! Все и всегда завершается этими словами: в семейной ли жизни, в любви, замужестве, связи с Микаэлисом — чему быть, того не миновать. И умирая, человек произносит те же слова.

Пожалуй, только с деньгами обстоит иначе. Тягу к ним не усмирить. Деньги, Слава (или Вертихвостка Удача, как ее величает Томми Дьюкс) нужны нам постоянно. Не прикажешь себе: «Смирись!» И десяти минут не проживешь, не имея гроша за душой, — то одно, то другое нужно купить. Вложил деньги в дело — вкладывай еще, иначе дело остановится. Нет денег — шагу не ступишь! Есть деньги — все мечты сбудутся. Чему быть — того не миновать.

Конечно, не твоя вина, что живешь на белом свете. Но раз уж родился, привыкай, что самое насущное — это деньги. Без всего остального можно обойтись, ограничить себя. Но не без денег. Как ни крути, от этого никуда не уйдешь!

Она подумала о Микаэлисе. С ним бы она денег имела предостаточно. Но и это не привлекало. Пусть она не так богата с Клиффордом, но она сама помогает ему зарабатывать деньги. Сама причастна к ним. «Мы с Клиффордом зарабатываем литературой тысячу двести фунтов в год», — прикинула она. Зарабатываем! А собственно, на чем? Можно сказать, на ровном месте! Не ахти какой подвиг, чтобы гордиться. А остальное — и вовсе суета.

Она брела домой и думала, что вот сейчас она с Клиффордом засядет за новый рассказ. Создадут нечто из ничего. И заработают еще денег. Клиффорд ревниво следил, ставятся ли его рассказы в разряд самых лучших. А Копни было, собственно говоря, наплевать. «Пустые они» — так оценил рассказы ее отец. «А тысячу фунтов дохода приносят!» — вот самое краткое и бесспорное возражение.

Когда молод, можно, стиснув зубы, терпеть и ждать, пока деньги начнут притекать из невидимых источников. Все зависит от того, насколько ты влиятелен, насколько сильна твоя воля. Умело направишь мощное излучение своей воли, и к тебе приходят деньги — пустой фетиш, волшебно наделенный могуществом, слово, начертанное на

клочке бумаги. Так ничто, пустота оборачивается успехом. Ах, Слава! Уж если и продавать себя, то только ей! Ее можно презирать, даже продаваясь, однако не так уж это и плохо!

У Клиффорда, разумеется, много угнездившихся еще в детском подсознании представлений о «запретном» и о «ценном». Ему непременно хотелось прослыть «очень хорошим» писателем. А «очень хорош» тот, кто в моде. Мало быть просто очень хорошим и удовольствоваться этим. Ведь большинство «очень хороших» опоздало к автобусу Удачи. А ведь живешь, в конце концов, только раз, и уж если опоздал на свой автобус, место тебе на обочине, рядом с остальными неудачниками.

Конни хотелось провести грядущую зиму в Лондоне вместе с Клиффордом. Ведь они-то на свой автобус не опоздали, могут теперь и немного покрасоваться, прокатившись на империале.

Беда в том, что Клиффорда все больше и больше сковывал душевный паралич, все чаще он замыкался или впадал в безумную тоску. Так напоминала о себе в его сознании давняя боль. Конни хотелось кричать от отчаяния. Что же делать человеку, если у него разлаживается что-то в механизме сознания? Пропади все пропадом! Неужто так и нести свой крест! Но нельзя *во всем*

бессовестно предавать!

Порой она сокрушенно плакала, но и в такие минуты говорила себе: дура, что толку слезы лить! Слезами горю не поможешь!

Расставшись с Микаэлисом, она твердо решила: в жизни ей ничего не нужно. Вот самое простое решение неразрешимой, в принципе, задачи. Что жизнь дает, то и ладно, только бы поскорее, поскорее бежала жизнь: и Клиффорд, и его рассказы, Рагби, дворянство, деньги, слава — пусть все промелькнет поскорее. Любовь, связи, всякие там увлечения — чтоб как мороженое: лизнул раз, другой, и хватит! С глаз долой, из сердца вон. А раз из сердца вон, значит, все это ерунда. Половая жизнь в особенности. Ерунда! Заставишь себя так думать — вот и решена неразрешимая задача. И впрямь, секс — что бокал с коктейлем. И то, и другое, как ни смакуешь, а быстро кончается; и то, и другое одинаково возбуждает и пьянит.

То ли дело ребенок! С ним связаны чувства куда более сильные. Прежде чем решиться, она тщательно обдумает каждый шаг. Нужно выбрать мужчину. Удивительно! Но на свете нет мужчины, от кого б она хотела родить. От Микаэлиса? Бр-р! Подумать-то страшно. Скорей она от кролика родит! От Томми Дьюкса? Он очень хорош

собой, но трудно представить его отцом, продолжателем рода. Томми — словно замкнутый сосуд. А из остальных довольно многочисленных знакомцев Клиффорда всякий вызывал отвращение, стоило ей подумать об отцовстве. Кое-кого она, пожалуй, взяла бы в любовники, даже Мика. Но родить ребенка?! Ни за что! Унизительно и омерзительно!

И от этого никуда не уйдешь!

Все ж в уголке души Конни лелеяла мысль, о ребенке. Терпение, терпение! Как через сито просеет она мужчин, и старых, и молодых, пока, наконец, найдет подходящего.

«Обыдите пути Иерусалимские и воззрите, и познайте, и поищите на стогнах его, аще обрящете мужа…»[5] В Иерусалиме при Иисусе Христе невозможно было найти мужчину среди многих и многих тысяч. Но у нее-то запросы меньше. C'est une autre chose, совсем другое дело!

Ей подумалось даже, что он непременно будет иностранцем, не англичанином, и уж конечно не ирландцем. Настоящий иностранец!

Нужно терпение, и только терпение. Будущей зимой она увезет Клиффорда в Лондон, а еще че-

---

[5] notes: 5
Книга пророка Иеремии, 5:1.

рез год отправит его на юг Франции или Италии. Главное — терпение! Торопиться с ребенком не следует. Дело это ее, и только ее, единственное, что в глубине своей причудливой женской души она считала важным. Уж она-то не польстится на случайного мужчину! Любовника найти можно в любую минуту, а вот отца будущего ребенка… нет, тут нужно терпение и еще раз терпение! Цели столь разнятся! «Обыдите пути Иерусалимские»… Но она ищет не любовь, а всего лишь мужчину. И относись она к нему хоть с неприязнью — неважно. Главное, чтоб это был мужчина, а отношение — дело десятое! Оно затрагивает совсем иные струнки души.

Накануне прошел уже привычный дождь, и тропинки еще не подсохли — Клиффорду не проехать. А Конни все же пошла погулять. Она гуляла в одиночестве каждый день, больше любила лес, там-то ее никто не потревожит. Кругом — ни души.

Сегодня же Клиффорду вздумалось отправить егерю записку, а мальчонка-посыльный заболел гриппом и не вставал с постели — в Рагби вечно кто-нибудь да болел гриппом. Конни вызвалась отнести записку.

Воздух напоен влагой и мертвящей тишиной,

будто все кругом умирает. Серо, стыло, тихо. Молчат и шахты: они работают неполную неделю, и сегодня — выходной. Кончилась жизнь.

Лес стоит молчаливо и недвижно, лишь редкие крупные капли, шурша, падают с голых ветвей. Затаилась в лесной чащобе меж вековых деревьев унылая, безнадежная, сковывающая пустота.

Медленно, как во сне, брела Конни по лесу. От него исходила старая-престарая грусть, и душа Конни умирялась, как никогда, — в жестоком и бездушном мире обыденности. Она любила самую суть старого леса, бессловесно донесенную до нее вековыми деревьями. И сколько силы, сколько жизни таилось в их молчании. Деревья тоже терпеливо выжидают: гордые, неукротимые, исполненные молчаливой силы. Может, они просто ждут, когда наступит конец: их спилят, пни выкорчуют, конец лесу, конец их жизни. А может, их гордое и благородное молчание — так молчат сильные духом — означает нечто иное.

Она вышла к северной оконечности леса, там стоял дом лесничего — мрачноватый, сложенный из темного песчаника — с фронтоном и затейливой печной трубой. В доме, казалось, никто не живет, кругом ни души, тихо, дверь заперта. Но

из трубы тонкой струйкой бежал дымок, а палисадник под окнами ухожен, земля взрыхлена.

Оказавшись здесь, Конни слегла оробела, ей вспомнился взгляд егеря — пытливый и зоркий. Захотелось вообще уйти — передавать хозяйское распоряжение — ох как неловко. Она тихо постучала. Никто не открыл. Заглянула в окно: маленькая угрюмая комнатка, стерегущая свое уединение — не подходи!

Конни прислушалась: из-за дома доносился не то шелест, не то плеск. Не беда, что не открывают, она не отступится! За домом земля поднималась крутым бугром, так что весь задний двор, окруженный низкой каменной стеной, оказывался как бы в низине. Завернув за угол, Конни остановилась. В двух шагах от нее мылся егерь, не замечая ничего вокруг. Он был по пояс гол, плисовые штаны чуть съехали, открыв крепкие, но сухие бедра. Он нагнулся над бадьей с мыльной водой, окунул голову, мелко потряс ею, прочистил уши — каждое движение тонких белых рук скупо и точно, так моется бобер. Делал он все сосредоточенно, полностью отрешившись от окружающего. Конни отпрянула, отошла за угол, а потом и вовсе — в лес. Она сама не ждала, что увиденное так потрясет ее. Подумаешь, моется

мужчина, какая невидаль!

Но именно эта картина поразила ее, сотрясла нечто в самой сокровенной ее глубине. Она увидела белые нежные ягодицы, полускрытые неуклюжими штанами, чуть очерченные ребра и позвонки; почуяла отрешенность и обособленность этого человека, полную обособленность, почуяла и содрогнулась. Ее просто ослепила чистая нагота человека, замкнувшего и свой одинокий дом и свою одинокую душу. Ошеломила ее и красота чистого существа. Нет, не плотская красота привлекла ее, даже не собственно красота тела — прекрасного сосуда, а тот теплый белый свет жизни, горевший в нем. Он-то и выделял очертания сосуда, до которого можно дотронуться.

Да, увиденное потрясло Конни до самых сокровенных глубин и там запечатлелось. А разумом она пыталась отнестись ко всему иронично. Надо же, баню устроил во дворе! И мыло, конечно, самое дешевое — желтое, пахучее. А за издевкой появилась досада: с какой стати должна она лицезреть чей-то немудреный туалет?

Пройдя немного по лесу, она присела на пень. Мысли путались. Очевидно одно: распоряжение Клиффорда нужно передать, и ничто ее не оста-

новит. Подождет немного — пусть егерь оденется, только бы не ушел. Судя по всему, он куда-то собирался.

И Конни побрела назад, чутко вслушиваясь. Вот и дом, ничто не изменилось. Залаяла собака. Конни постучала, сердце, вопреки воле, едва не выпрыгивало из груди.

Послышались легкие шаги. Очевидно, егерь спускался со второго этажа. Дверь распахнулась так неожиданно, что Конни вздрогнула. Егерь и сам, видно, смутился, но тотчас же на губах заиграла усмешка.

— А, леди Чаттерли! Проходите, милости прошу!

Говорил и держался он естественно и просто. Конни переступила порог маленькой мрачноватой комнаты.

— Мне всего лишь нужно передать вам поручение сэра Клиффорда, — проговорила она по обыкновению тихо, чуть с придыханием.

А мужчина стоял рядом и смотрел. Голубые глаза его примечали все, Конни даже пришлось отвернуть лицо. «Какая милая женщина, застенчивость красит ее еще больше», — подумал он и с ходу взял инициативу в свои руки.

— Может, присядете? — спросил он, не надеясь

на согласие. Дверь оставалась открытой.

— Нет, спасибо. Сэр Клиффорд просил… — и она передала мужнино поручение, безотчетно глядя ему прямо в глаза. А в них столько тепла, столько доброты, чудесной, теплой доброты, обращенной к женщине просто и естественно.

— Понял, ваша милость, сейчас же займусь.

И враз все в нем переменилось — он посуровел и отдалился, будто сокрылся за стеклянной стеной. Пора уходить, но Конни мешкала — беспокоен был ее дух. Она оглядела чистую, уютную, хотя и мрачноватую маленькую гостиную.

— Вы здесь совсем один живете? — спросила она.

— Совсем один, ваша милость.

— А матушка…

— Она — в деревне, у нее там дом.

— И девочка с ней?

— И девочка.

И простое усталое лицо тронула Непонятная усмешка. Переменчивое лицо, обманчивое лицо.

Увидев, что Конни недоумевает, он пояснил.

— Не думайте, по субботам мать приходит, прибирает в доме. Со всем остальным сам управляюсь.

Еще раз Конни взглянула на него. Он улыбался

глазами, чуть насмешливо, но в голубых озерцах все же осталась теплая доброта. Конни не переставала ему удивляться. Вот он стоит перед ней, в брюках, в шерстяной рубашке, при галстуке, мягкие волосы еще не высохли, лицо бледное и усталое. Угасла улыбка в глазах, но теплота осталась, и проглянуло за ней страдание — трудная, видно, выпала этому человеку доля. Но вот взгляд подернулся дымкой отчуждения — словно и не беседовал он только что с милой и приятной женщиной.

А Конни хотелось так много ему сказать, но она сдержалась. Лишь взглянула на него и обронила:

— Надеюсь, я не очень помешала вам?

Чуть сощурились глаза в едва приметной усмешке.

— Разве что причесываться. Простите, я без пиджака, но я и не предполагал, кто ко мне постучит. Никто никогда вообще не стучит, а любой непривычный звук пугает.

Он пошел по тропинке впереди, чтобы открыть калитку. Без неуклюжей плисовой куртки, в одной рубашке, он, как и получасом раньше, со спины показался ей худым и чуть сутулым. Но поравнявшись с ним, она почуяла его молодость и задор — и в непокорных светлых вихрах, и в

скором взгляде. Лет тридцать семь, тридцать восемь, не больше.

Она зашагала к лесу, чувствуя, что он смотрит вслед. Растревожил он ей душу, против ее воли растревожил.

А егерь, закрывая за собой дверь в доме, думал: «Как же она хороша, как безыскусна! Ей это и самой невдомек».

Конни надивиться не могла на этого человека: не похож он на егеря; вообще на обычного работягу не похож, хотя с местным людом что-то роднило его. Но что-то и выделяло.

— Этот егерь, Меллорс, прелюбопытнейший тип, — сказала она Клиффорду, — прямо как настоящий джентльмен.

— «Прямо как»? — усмехнулся Клиффорд. — Я до сих пор не замечал.

— Нет, что-то в нем есть, — не сдавалась Конни.

— Он, конечно, славный малый, но я плохо его знаю. Он год как из армии, да и года-то нет. В Индии служил, если не ошибаюсь. Может, там-то и поднабрался манер. Состоял небось при офицере, вот и пообтесался. С солдатами такое случается. Но пользы никакой. Приезжают домой, и все возвращается на круги своя.

Конни пристально посмотрела на Клиффорда и задумалась. Исконно мужнина черта: острое неприятие любого человека из низших сословий, кто пытается встать на ступеньку выше. Черта, присущая всей нынешней знати.

— И все-таки что-то в нем есть, — настаивала Конни.

— По правде говоря, не вижу! Не замечал! — И Клиффорд взглянул на нее с любопытством, тревогой и даже подозрением. И она почувствовала: нет, не скажет он ей всей правды. Как не скажет и себе. Ненавистен ему даже намек на чью-то особенность, исключительность. Все должны быть либо на его уровне, либо ниже.

Да, теперешние мужчины скупы на чувства и жалки. Боятся чувств, боятся жизни!

7

Конни вошла к себе в спальню, разделась и стала разглядывать себя в огромном зеркале — сколько лет не делала она подобного. Она и сама не знала, что пыталась найти или увидеть в своем отражении, только поставила лампу так, чтобы полностью оказаться на свету.

И ей подумалось — уже в который раз! — сколь хрупко, беззащитно и жалко нагое человеческое тело. Есть в нем какая-то незавершенность.

Говорили, что у нее неплохая фигура, но не по теперешним меркам — слишком округло-женственная, а не новомодная угловато-мальчишечья. Невысокого роста, крепко сбитая, коренастая, как шотландка. Каждое движение исполнено неспешной грации и неги, что часто и принимают за красоту. Кожа с приятной смуглинкой, плечи и бедра округлы и покойны. Наливаться бы этому телу, точно яблоку, ан нет!

Как переспелый плод, теряло оно упругость, кожа — шелковистость. Недостало этому плоду солнца и тепла, оттого и цветом тускл, и соком скуден.

Женственность принесла этому телу лишь разочарование, а мальчишески угловатым, легким, почти прозрачным уже не стать. Вот и потускнело ее тело.

Маленькие неразвитые грудки печально понурились незрелыми грушами. Живот утратил девичью упругую округлость и матовый отлив — с тех пор, как рассталась она со своим немецким другом — уж он-то давал ей любовь плотскую. В ту пору ее молодая плоть жила ожиданием, и неповторима была каждая черточка в облике. Сейчас же живот сделался плоским, дряблым. Бедра, некогда верткие, отливавшие матовой белизной, тоже начали терять женственную округлость, пропала их крутизна: зачем же они ей?

Зачем ей вообще тело? И оно хирело, тускнело — ведь роль ему отводилась самая незначительная. Как горевала, как отчаивалась Конни! И было отчего: в двадцать семь лет она — старуха, и нет ни проблеска, ни лучика надежды. Плоть, ее женскую суть забыли, просто отвергли, да, отвергли. И она состарилась. Тела светских львиц были изящны и хрупки, словно фарфоровые статуэтки, благодаря вниманию мужчин. И неважно, что у этих статуэток пусто внутри. Но ей даже и с ними не сравниться. «Жизнь разума» умертвила ее

плоть! И в душе закипела ярость — ее попросту надули!

Она разглядывала в зеркале свою спину, талию, бедра. Да, похудела, и это ее не красит. На пояснице набежала складка, когда Конни выгнулась, чтобы увидеть себя со спины. Как от нудной тяжелой работы. А когда-то там играли веселые ямочки. Ягодицы и долгие выпуклые ляжки утратили шелковистость, отлив и вальяжность. Все в прошлом! Лишь немецкий парень любил ее тело, да и того уж десять лет нет в живых. Да, летит время! Целых десять лет, как его нет, а ей еще всего двадцать семь. Тогда она даже презирала пробуждающуюся грубоватую чувственность здорового мальчишки. А теперь такой не найти. Нынешние мужчины — как Микаэлис: ласки жалкие, скорые, раз-два, и все. Нет у них здоровой человеческой плоти, что зажигает кровь и молодит душу.

Все ж она решила, что самое красивое у нее — бедра: от долгих ляжек до округлых, недвижно-спокойных ягодиц. Как песчаные дюны: зыбко-податливые, круто заворачивающие вниз. Меж ними еще теплилась жизнь, надежда. Но и сама плоть ее, казалось, стала гаснуть, увядать, так и не распустившись.

Зато спереди жалко на себя смотреть. Грудь и живот начали немного обвисать, так она похудела, усохла телом, состарилась, толком и не пожив. Она подумала о ребенке, которого ей, быть может, придется выносить. А может, она уже и для этого не годится.

Она накинула ночную рубашку, юркнула в постель и горько расплакалась. Горючими слезами изошла досада на Клиффорда, на его тщеславное писательство, на его чванливые разговоры. Досадовала и на других мужчин, подобных ему, кто обманом отобрал у женщины плотские радости.

Это нечестно! Нечестно! Зов обманутой плоти занимался огнем в сердце.

А утром… утром все как и прежде: встала в семь часов, спустилась к Клиффорду — ему нужно помочь во всех интимных отправлениях. Мужчины-слуги в доме не было, а от служанки он отказывался. Муж экономки, знавший Клиффорда еще ребенком, помогал поднимать и переносить его, все остальное делала Копни, причем делала охотно. Хоть это и вменялось ей в обязанность, она рада была помочь всем, что в ее силах.

Если она и отлучалась из Рагби, то на день — на два. Ее подменяла экономка миссис Беттс.

С течением времени он всякую помощь стал принимать как должное — следствие сколь неизбежное, столь и естественное.

И все же глубоко в душе у Копни все ярче разгоралась обида: с ней поступили нечестно, ее обманули! Обида за свое тело, свою плоть — чувство опасное. Коль скоро оно пробудилось — ему нужен выход, иначе оно жадным пламенем сожрет душу. Бедняга Клиффорд! Он-то ни в чем не виноват. Ему еще горше пришлось в жизни. Участь обоих — лишь частичка всеобщего губительного разлада.

Впрочем, так ли уж он ни в чем не виноват? Он не давал тепла, не давал простого, душевного человеческого общения. Разве нет и этом его вины? Теплоты и задушевности в нем не сыскать, лишь холодная, расчетливая и благовоспитанная рассудочность. Но ведь может мужчина приласкать женщину, даже в родном отце чувствовала Копни мужчину; пусть он эгоист, причем вполне сознательный, по даже он способен утешить женщину, согреть мужским теплом.

Нет, Клиффорд не из таких. Равно и все его друзья — внутренне холодные, каждый сам по себе. Душевное тепло для них признак дурного тона. Нужно научиться обходиться без этого,

главное — держаться на высоте. И все пойдет как по маслу, если жить среди тебе подобных. И можно вести себя холодно и обособленно — вас все равно будут ценить и уважать, и притом держаться на высоте — до чего ж приятно это сознавать! Но если вы общественной ступенькой выше или ниже — дело совсем иное. Какой смысл держаться на высоте, зная, что вы принадлежите высшему обществу. Да и есть ли у самых высокородных аристократов эта «высота», и не глупый ли фарс само их кичливое поведение? Какой в этом смысл? Все это — бездушная чепуха.

В душе у Конни вызревал протест. Какая польза от ее жизни? Какая польза от ее жертвенного служения Клиффорду? И чему, собственно, она служит? Холодной мужниной гордыне, не ведающей теплоты человеческих отношений. Клиффорд не менее алчен, чем самый низкопородный ростовщик-еврей, только жаждет он Удачи, мечтает о том, как бы завлечь ее, эту Вертихвостку. Готов, как гончая, высунув язык, мчаться по пятам Удачи, нимало не смущаясь, что самоуверенно, лишь по рассудку, причислил себя к высшему обществу. Право же, у Микаэлиса больше достоинства и он куда более удачлив. Если присмотреться, Клиффорд — настоящий

шут гороховый, а это унизительнее, чем нахал и наглец.

Уж если выбирать меж Клиффордом и Микаэлисом, от последнего куда больше пользы. Да и она, Конни, нужна ему больше, чем Клиффорду. За обезножевшим калекой любая сиделка сможет присмотреть! Пусть Микаэлис — крыса, но крыса, способная на самоотверженность. Клиффорд же — глупый, кичливый пудель.

В Рагби порой наведывались гости, и среди них тетка Клиффорда, Ева — леди Беннерли. Худенькая вдовица лет шестидесяти, с красным носом и повадками светской львицы. Она происходила из знатнейшего рода, но держалась скромно. Конни полюбила старушку. Та бывала предельно проста, открыта, когда это не противоречило ее намерениям, и внешне добра. Притом она, как, пожалуй, никто, умела держаться на высоте, да так, что всякий в ее присутствии чувствовал себя чуть ниже. Но ни малейшего снобизма в ее поведении не было, лишь безграничная уверенность в себе. Она преуспела в светской забаве: держалась спокойно и с достоинством, незаметно подчиняя остальных своей воле.

К Конни она благоволила и пыталась отомкнуть тайники молодой женской души своим

острым, проницательным великосветским умом.

— По-моему, вы просто кудесница, — восхищенно говорила она Конни. — С Клиффордом вы творите чудеса! На моих глазах распускается, расцветает его великий талант!

Тетушка, будто своим, гордилась успехом Клиффорда. Еще одна славная строка в летописи рода! Сами книги ее совершенно не интересовали. К чему они ей?

— Моей заслуги в этом нет, — ответила Конни.

— А чья ж еще? Ваша, и только ваша. Только, сдается мне, вам-то от этого проку мало.

— То есть?

— Ну, посмотрите, вы живете как затворница. Я Клиффорду говорю: «Если в один прекрасный день девочка взропщет, вини только себя».

— Но Клиффорд никогда мне ни в чем не отказывает.

— Вот что, девочка моя милая, — и леди Беннерли положила тонкую руку на плечо Конни. — Либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо — запоздалые сожаления об упущенном, поверьте мне! — И она в очередной раз приложилась к бокалу с вином. Возможно, именно так она выражала свое раскаяние.

— Но разве я мало получаю от жизни?

— По-моему, очень! Клиффорду свозить бы вас в Лондон, развеетесь. Его круг хорош для него, а вам-то что дают его друзья? Я б на вашем месте с такой жизнью не смирилась. Пройдет молодость, наступит зрелость, потом старость, и ничего кроме запоздалых сожалений у вас не останется. — И ее изрядно выпившая милость замолчала, углубившись в размышления.

Но Конни не хотелось ехать в Лондон, не хотелось, чтобы леди Беннерли выводила ее в свет. Какая она светская дама! Да и скучно все это! А еще чуяла она за добрыми словами мертвящий холодок. Как на полуострове Лабрадор: на земле яркие цветы, а копнешь — вечная мерзлота.

В Рагби приехали Томми Дьюкс и еще один их приятель, Гарри Уинтерслоу, и Джек Стрейнджуэйз с женой Оливией. Болтали о пустяках (ведь только в кругу «закадычных» шел серьезный разговор), плохая погода лишь усугубляла скуку. Можно было лишь поиграть на бильярде, да потанцевать под механическое пианино.

Оливия стала рассказывать о книге про будущее, которую читала. Детей будут выращивать в колбах, и женщин «обезопасят» от беременности.

— Как это замечательно! — восторгалась она. —

Женщина, наконец, сможет жить независимо.

Ее муж хотел детей, она же была против.

— И вы бы захотели «обезопаситься»? — неприятно усмехнувшись, спросил Уинтерслоу.

— Меня, судя по всему, и так природа обезопасила, — ответила Оливия. — Во всяком случае, у грядущих поколений будет побольше здравого смысла и женщине не придется опускаться до своего «природного предназначения».

— Тогда, может, стоит их всех вообще поднять за облака, пусть себе летят подальше, — предложил Дьюкс.

— Думается, достаточно развитая цивилизация упразднит многие несовершенства наших организмов, — заговорил Клиффорд. — Взять, к примеру, любовь, это лишь помеха. Думаю, что она отомрет, раз детей в пробирках будут выращивать.

— Ну уж нет! — воскликнула Оливия. — Любовь еще больше радости будет приносить.

— Случись, любовь отомрет, — раздумчиво сказала леди Беннерли, — непременно будет что-то вместо нее. Может, морфием увлекаться начнут. Представьте: вы дышите воздухом с добавкой морфина. Как это взбодрит!

— А по субботам по указу правительства в

воздух добавят эфир — для всеобщего веселья в выходной, — вставил Джек. — Все бы ничего, да только вообразите, какими мы будем в среду.

— Пока способен забыть о теле, ты счастлив, — заявила леди Беннерли. — А напомнит оно о себе, и ты несчастнейший из несчастных. Если в цивилизации вообще есть какой-то смысл, она должна помочь нам забыть о теле. И тогда время пролетит незаметно и счастливо.

— Пора нам вообще избавиться от тел, — сказал Уинтерслоу. — Давно уж человеку нужно усовершенствовать себя, особенно физическую оболочку.

— И превратиться в облако, как дымок от сигареты, — улыбнулась Конни.

— Ничего подобного не случится, — заверил их Дьюкс. — Развалится наш балаганчик, только и всего. Цивилизации нашей грозит упадок. И падать ей в бездонную пропасть. Поверьте мне, лишь крепкий фаллос станет мостом к спасению.

— Ах, генерал, докажите! Свершите невозможное! — воскликнула Оливия.

— Погибнет наш мир, — вздохнула тетушка Ева.

— И что же потом? — спросил Клиффорд.

— Понятия не имею, но что-нибудь да будет, — успокоила его старушка.

— Конни предрекает, что люди превратятся в дым, Оливия — что детей станут растить в пробирках, а женщин избавят от тягот, Дьюкс верит, что фаллос станет мостом в будущее. А каким же оно будет на самом деле? — задумчиво проговорил Клиффорд.

— Не ломай голову! С сегодняшним бы днем разобраться! — нетерпеливо бросила Оливия. — Побыстрей бы родильную пробирку изобрели да нас, женщин, избавили.

— А вдруг в новой цивилизации будут жить настоящие мужчины, умные, здоровые телом и духом, и красивые, под стать мужчинам, женщины? — предположил Томми. — Ведь они как небо от земли будут отличаться от нас! Разве мы мужчины? И что в женщинах женского? Мы — лишь примитивные мыслящие устройства, так сказать, механико-интеллектуальные модели. Но ведь придет время и для подлинных мужчин и женщин, которые сменят нас — кучку болванчиков с умственным развитием дошколят. Вот это было бы воистину удивительно, похлеще, чем люди-облака или пробирочные дети.

— Когда речь заходит о настоящих женщинах,

я умолкаю, — прощебетала Оливия.

— Да, в нас ничто не может привлекать, разве только крепость души, — обронил Уинтерслоу.

— Верно, крепость привлекает, — пробормотал Джек и допил виски с содовой.

— Только ли души? А я хочу, чтоб вслед за душой обессмертилось и тело! — потребовал Дьюкс. — Так оно и будет со временем. Когда мы хоть чуточку сдвинем с места нашу рассудочность, откажемся от денег и всякой чепухи. И наступит демократия, но не мелкого своекорыстия, а свободного общения.

«Хочу, чтоб обессмертилось и тело!»... «Наступит демократия свободного общения», — вновь и вновь звучало в ушах Конни. Она не понимала толком смысл, но слова эти успокаивали ее душу — так успокаивает журчание воды.

Но до чего ж глупый и нескладный разговор! Конни измаялась от скуки, слушая Клиффорда, тетушку Еву, Оливию и Джека, этого Уинтерслоу. Даже Дьюкс надоел. Слова, слова, слова! Бесконечное и бессмысленное сотрясание воздуха.

Однако проводив гостей, она не почувствовала облегчения. Размеренно и нудно потянулись часы. Но где-то в животе угнездились досада и тоска, и ничем их не вытравить. Из часов склады-

вались дни, каждый давался ей с необъяснимой тягостью, хотя ничего нового он не приносил. Разве что она все больше и больше худела — это заметила даже экономка и спросила, не больна ли. И Томми Дьюкс уверял, что она нездорова; Конни отнекивалась, говорила, что все в порядке. Только вдруг появился страх перед белыми, как привидения, надгробиями. Мраморной отвратительной белизной они напоминали вставные зубы — этими жуткими «зубами» утыкано подножье холма у церкви в Тивершолле. Из парка как на ладони была видна эта пугающая картина. Ощерившийся в жуткой гримасе кладбищенский холм вызывал у Конни суеверный страх. Ей казалось, недалек тот день, когда и ее схоронят там, еще один «зуб» вырастет среди надгробий и памятников в этом прокопченном «сердце Англии».

Она понимала: без помощи не обойтись. И послала коротенькую записку сестре Хильде. «Мне в последнее время нездоровится. Сама не пойму, в чем дело».

Ответ пришел из Шотландии — там теперь «осела» Хильда. А в марте приехала и сама. На юркой двухместной машине. Одолела подъем, проехала аллеей, обогнула луг, на котором выси-

лись два огромных бука, и подкатила к усадьбе.

К машине подбежала Конни. Хильда заглушила мотор, вылезла и расцеловалась с сестрой.

— Но что же все-таки случилось? — тут же спросила она.

— Да ничего! — пристыженно ответила Конни, но, взглянув на сестру и сравнив с собой, поняла, что та не изведала и толики ее страданий. Раньше у обеих сестер была золотистая с матовым отливом кожа, шелковистые каштановые волосы, природа наделила обеих крепким и нежным телом. Но сейчас Конни осунулась, лицо сделалось пепельно-серым, кожа на шее, сиротливо выглядывавшей из ворота кофты, пожелтела и пошла морщинами.

— Ты и впрямь нездорова! — Хильда, как и сестра, говорила негромко, чуть с придыханием. Была она почти на два года старше Конни.

— Да нет, здорова; просто, наверное, надоело мне все.

Боевой огонек вспыхнул во взгляде сестры. Она хоть и казалась мягкой и спокойной, в душе была лихой и непокорной мужчинам воительницей.

— Проклятая дыра! — бросила она, оглядывая ненавидящим взором ни в чем неповинную дремлющую старушку-усадьбу.

Неистовая душа жила в ее нежном, налитом, точно зрелый плод, теле. Ныне такие воительницы уже перевелись.

Ничем не выдавая своих чувств, она пошла к Клиффорду. Тот тоже подивился ее красе, но внутренне напрягся. Родные жены, не в пример ему, не отличались изысканной воспитанностью и лоском. Конечно, они люди иного круга, но, приезжая к нему в гости, они почему-то всегда подчиняли его своей воле.

Он сидел в кресле прямо, светлые волосы ухожены, голубые, чуть навыкате глаза бесстрастны. На холеном лице не прочитать ничего, кроме благовоспитанного ожидания. Хильде вид его показался надутым и глупым. Он старался держаться как можно увереннее, но Хильда на это и внимания не обратила. Она приготовилась к бою, и кто перед ней — папа римский или император — ей неважно.

— Конни выглядит просто удручающе, — тихо начала она, обожгла его взглядом своих прекрасных серых глаз и скромно потупилась, совсем как Конни. Но Клиффорд увидел сокрытое до поры твердокаменное, истинно шотландское упрямство.

— Пожалуй, она немного похудела.

— И что же, вы ничего не предприняли?

— А так ли уж это необходимо? — парировал он ее вопрос с учтивостью и непреклонностью, — столь разные качества зачастую уживаются в англичанах.

Хильда не ответила, лишь свирепо зыркнула на него: особой находчивостью в словесной перепалке она не отличалась. Клиффорду же ее взгляд пришелся горше всяких слов.

— Я покажу ее врачу, — наконец заговорила Хильда. — Вы можете порекомендовать кого-либо из местных?

— Сожалею, но не могу.

— Хорошо. Отвезу ее в Лондон, там у нас есть надежный врач.

Клиффорд не проронил ни слова, хотя кипел от злости.

— Надеюсь, мне можно у вас переночевать, — продолжала Хильда, снимая перчатки. — Сестру я увезу завтра утром.

От злости Клиффорд пожелтел, и белки глаз тоже пожелтели — пошаливала печень. Но Хильда по-прежнему являла образец скромности и благочестия.

— Вам нужно завести сиделку, чтоб ухаживала только за вами. А еще лучше мужчину в слуги

взять, — сказала Хильда позже, за послеобеденным кофе — к тому времени оба уже успокоились. Говорила она как всегда тихо и вроде бы мягко, но Клиффорд чувствовал, что каждое слово — точно удар дубинкой по голове.

— Вы так полагаете? — сухо спросил он.

— Вне всякого сомнения! Иначе нам с отцом придется увезти Конни на месяц-другой. Так дальше продолжаться не может.

— Что — не может?

— Да вы посмотрите на бедную девочку! — и сама воззрилась на Клиффорда. Он сидел перед ней, точно огромный вареный рак.

— Мы с Конни обсудим ваше предложение.

— Да я уж с ней все обсудила, — подвела черту Хильда.

Клиффорду ненавистны были сиделки — они напрочь лишают возможности побыть наедине с собой, у них на виду все его самое сокровенное. Нет, от них он настрадался, хватит. А мужчина-прислужник и того хуже, он его в доме не потерпит, на худой конец, возьмет женщину. Но пока ему доставало Конни.

Сестры уехали утром. Конни — точно агнец на заклании — съежилась и притихла рядом с сидевшей за рулем Хильдой. Хотя их отец, сэр

Малькольм, в отъезде, дом в Кенсингтоне ждал сестер…

Доктор внимательно осмотрел Конни, расспросил о жизни.

— Иногда в газетах мне попадаются ваши с сэром Клиффордом фотографии. Вы теперь — знаменитые люди. Да, вот как вырастают маленькие, тихие девочки! Впрочем, вы и сейчас такая. Не испортила вас слава. Итак, никаких патологических изменений у вас нет, но образ жизни придется изменить. Скажите сэру Клиффорду, пусть отвезет вас в город или за границу. Вам нужно развлечься, просто необходимо! Набраться сил — они у вас на исходе. Сердце начинает пошаливать. Но это невроз, всего лишь невроз. Месяц в Каннах или Биаррице — и все как рукой снимает. Но так дальше жить вам нельзя, просто нельзя! Иначе я не отвечаю за последствия. Вы тратите жизненные силы и ничем их не восполняете. Вам не хватает радости, обычной, здоровой радости. Нельзя так расходовать силы. Всему есть предел! И всякую грусть-тоску — прочь! Это главное.

Хильда лишь стиснула зубы, видно, дело нешуточное.

Микаэлис, прослышав, что они в городе, тотчас примчался с букетом роз.

— Что, что случилось? — воскликнул он. — На тебе лица нет! Ты страшно переменилась, от тебя только тень осталась. Что ж ты ничего мне не сообщила? Я б увез тебя в Ниццу или на Сицилию. Да, поедем со мной на Сицилию. Там сейчас чудесно. Тебе нужно солнце! Тебе нужна жизнь! Поедем со мной! Поедем в Африку! Да брось ты сэра Клиффорда! Забудь о нем и поедем со мной. Я женюсь на тебе, как только он даст развод. Поехали. Ты поймешь, что такое жизнь! Благодать! Да Рагби кого угодно в могилу сведет! Пропащее место! Как трясина! Любого засосет! Поедем же со мной к солнцу! Тебе так не хватает света, тепла — естественной человеческой жизни.

Но при одной только мысли, что придется оставить Клиффорда, прямо сейчас, все бросить, у Конни занимался дух. Нет, не сможет она! Нет… ни за что! Не сможет, и все! Она непременно вернется в Рагби.

Микаэлис выслушал ее с раздражением. Хильда отнюдь не благоволила ему, но все же меж Клиффордом и Микаэлисом выбрала бы последнего. Итак, сестры вернулись в Рагби.

Хильда первым делом отправилась к Клиффорду; желтизна, тронувшая белки его глаз, еще не сошла. Конечно же, и он по-своему волновался

и томился. Но внимательно выслушал все, что говорила Хильда, что говорил Хильде доктор (о том, что говорил Микаэлис, Хильда, разумеется, не упомянула). Пока она выставляла Клиффорду одно условие за другим, бедняга сидел молча.

— Вот адрес хорошего слуги. Он ухаживал за одним инвалидом, тот умер в прошлом месяце. Слуга этот — человек надежный и, не сомневаюсь, приедет, если позвать.

— Но я не инвалид, и мне не нужен слуга! — отчаянно отбивался Клиффорд.

— Вот еще адреса двух сиделок. Одну я сама видела, она внушает доверие. Лет пятьдесят, спокойная, крепкая, добродушная, для своего уровня даже воспитанная.

Клиффорд, насупившись, молчал.

— Ну что же. Клиффорд. Если к завтрашнему дню мы ни о чем не договоримся, я даю отцу телеграмму, и мы забираем Конни.

— И Конни готова уехать?

— Ей, конечно, не хочется, но она понимает, что иного выхода нет. Мать у нас умерла от рака, и все на нервной почве. Рисковать еще одной жизнью мы не будем.

Назавтра Клиффорд предложил в сиделки миссис Болтон, приходскую сестру милосердия

из Тивершолла. Очевидно, ее порекомендовала Клиффорду экономка. Миссис Болтон собиралась оставить службу и практиковать как частная сестра-сиделка. Клиффорду просто невмоготу было бы довериться чужому человеку, но миссис Болтон ухаживала за ним, когда в детстве он болел скарлатиной.

Конни и Хильда тут же отправились к миссис Болтон. Жила она в добротном особнячке, на «чистой» половине поселка. Миловидная женщина лет под пятьдесят — в белой наколке и переднике, в подобающем сестре милосердия платье, как раз заваривала чай. Гостиная у нее была маленькая, заставленная мебелью.

К гостям она отнеслась с большим вниманием и тактом; в речи лишь изредка проскальзывал местный небрежный говорок, говорила она грамотно, хотя и тяжеловесно. Много лет верховодила она заболевшими шахтерами, исполнилась веры в собственные силы и наилучшего о себе мнения. Одним словом, по деревенским масштабам она тоже представляла высшее местное общество, к тому же весьма уважаемое.

— Да, конечно, леди Чаттерли выглядит не очень-то хорошо! Она, помнится, все время была такой славной пышечкой, и — на тебе! За

зиму, поди, так ослабела! Еще бы, ей нелегко приходится. Ах, бедный сэр Клиффорд! Все война проклятая! Кто-то за все ответит?

Миссис Болтон готова ехать в Рагби незамедлительно, лишь бы отпустил доктор Шардлоу. У нее еще полмесяца ночные дежурства, но ведь можно и замену подыскать.

Хильда написала доктору Шардлоу письмо, и уже в воскресенье сиделка и два чемодана в придачу прибыли на извозчике в Рагби. Все переговоры вела Хильда. Миссис Болтон и без повода взялась бы переговорить обо всем на свете. Казалось, молодость еще бьет в ней ключом. Так легко вспыхивали ее белые щеки! А было ей сорок семь.

Мужа, Теда Болтона, она потеряла двадцать два года назад, ровно под Рождество — он погиб на шахте, оставив ее с двумя малыми детьми, младшенькая еще и ходить не умела. Сейчас она уже замужем, за очень приличным молодым человеком, работает на солидную фирму в Шеффилде. Старшенькая учительствует в Честерфилде, приезжает на выходные домой, если не сманят куда-нибудь подружки. Теперь ведь у молодых забав хоть отбавляй, не то что в ее, Айви Болтон, пору.

Тед Болтин погиб при взрыве в забое двадцати восьми лет от роду. Их там четверо было. Штейгер им крикнул: «Ложись!», трое-то успели, а Тед замешкался. Вот и погиб. На следствии товарищи давай начальство выгораживать, дескать, Тед испугался, хотел убежать, приказа ослушался, так что вроде выходит, будто он сам и виноват. И компенсацию заплатили только три сотни фунтов, да и то будто из милости, а не по закону. Так как Тед, видите ли, по своей вине погиб. Да еще и на руки-то всех денег не дали! Она-то хотела лавку открыть. А ей говорят: промотаешь деньги или пропьешь. Так и платили по тридцать шиллингов в неделю. Приходилось каждый понедельник тащиться в контору и по два часа простаивать в очереди. И так почти четыре года. А что ей оставалось — с двумя малышками на руках? Хорошо, мать Теда — добрая душа — помогла. Как девочки ходить научились, она на день их к себе стала забирать, а Айви ездила в Шеффилд на курсы при «Скорой помощи», а на четвертый год даже выучилась на сестру-сиделку и бумагу соответственную получила. Она твердо решила ни от кого не зависеть, самостоятельно воспитывать дочерей. Одно время работала в маленькой больнице, потом ее приметили в ти-

вершолльской Угольной компании, приметил-то сам сэр Джеффри, решил, что опыта у нее уже достаточно, и пригласил работать в приходской больнице, что очень любезно с его стороны. И вообще к ней очень по-доброму начальство относилось, ничего дурного сказать нельзя. Так и работала, только сейчас уже трудно все на своих плечах нести, полегче бы занятие подобрать, а то приходится и в дождь, и в слякоть по всему приходу грязь месить, больных навещать.

— Что верно, то верно, в Компании ко мне по-доброму отнеслись. Но вовек не забуду, как они о Теде отзывались. Таких, как он, бесстрашных да хладнокровных, в шахте и не сыскать. А его чуть не трусом выставили. Ну, а мертвый-то что, ведь за себя слова на замолвит.

Сколь противоречивые чувства обнаружились в этой женщине, пока она рассказывала. К шахтерам она привязалась — столько лет лечила их. Но в то же время она ставила себя много выше. Вроде б и «верхушка», ан нет, к тем, кто «наверху», она исходила ненавистью и презрением. Хозяева! В столкновениях хозяев с рабочими она всегда стояла за трудовой люд. Но стихала борьба, и Айви Болтон снова пыталась доказать свое превосходство, приобщиться к «верхушке».

Эти люди завораживали ее, пробуждая в душе исконно английскую тягу к верховодству. Она с трепетом ехала в Рагби, с трепетом беседовала с леди Чаттерли. Ну, о чем речь! С простыми шахтерскими женами ее не сравнить! Это миссис Болтон старалась подчеркнуть, насколько ей хватало красноречия. Однако проглядывало в ней и недовольство высокородным семейством — то было недовольство хозяевами.

— Конечно же, такая работа леди Чаттерли не под силу! Слава Богу, что сестра приехала, выручила. Мужчины, что из благородных, что из простых — все одно, не задумываются, каково женщине, принимают все как должное. Уж сколько раз я шахтерам выговаривала. Сэру Клиффорду, конечно, трудно, что и говорить, обезножел совсем. У них в семье люд гордый, заносчивый даже — ясное дело, аристократы! И вот как судьба их ниспровергла. Леди Чаттерли, бедняжке, тяжело, поди, тяжелее, чем мужу. Что у нее в жизни есть?! Я хоть три года со своим Тедом прожила, но разрази меня гром, пока при нем была, чувствовала, что такое муж, и той поры мне не забыть. Кто бы подумал, что он так погибнет? Мне и сейчас даже не верится. Хоть и своими руками его обмывала, но для меня он и сейчас

как живой. Живой, и все тут.

Итак, в Рагби зазвучал новый, непривычный поначалу для Конни, голос. Он обострил ее внутренний слух.

Правда, первую неделю в Рагби миссис Болтон вела себя очень сдержанно. Никакой самоуверенности, никакого верховодства, в новой обстановке она робела. С Клиффордом держалась скромно, молчаливо, даже испуганно. Ему такое обращение пришлось по душе, и он вскоре перестал стесняться, полностью доверившись сиделке, даже не замечал ее.

— Полезный ноль — вот она кто! — сказал он. Конни воззрилась на мужа, но спорить не стала. Столь несхожи впечатления двух несхожих людей.

И скоро вернулись его высокомерные, поистине хозяйские замашки с сиделкой. Она была к этому готова и бессознательно согласилась с отведенной ролью. С какой готовностью принимаем мы обличье, которое от нас ждут. Ее прежние пациенты, шахтеры, вели себя как дети, жаловались, что и где болит, а она перевязывала их, терпеливо ухаживала. В их окружении она чувствовала себя всемогущей, этакой доброй волшебницей, способной врачевать. При Клиффорде

она умалилась до простой служанки, безропотно смирилась, постаралась приноровиться к людям высшего общества.

Молчаливо потупив взор, опустив овальное, еще красивое лицо, приступала она к своим обязанностям, всякий раз спрашивая разрешения сделать то или это.

— Нет, это подождет. С этим повременим.

— Прекрасно, сэр.

— Зайдите через полчаса.

— Прекрасно, сэр.

— И унесите, пожалуйста, старые газеты.

— Прекрасно, сэр.

И тихо она исчезала, а через полчаса появлялась вновь. Да, к ней относились не очень уважительно, но она и не возражала. Она жила новыми ощущениями, вращаясь среди «сильных мира сего». К Клиффорду она не питала ни отвращения, ни неприязни. Он был любопытен ей, как часть доселе непонятного и незнакомого явления — жизни аристократов. Куда проще ей было с леди Чаттерли, да к тому же за хозяйкой дома первое слово.

Миссис Болтон укладывала Клиффорда спать, сама же стелила себе в комнате напротив и по звонку хозяина приходила даже ночью. Не обой-

тись без нее и утром; вскоре миссис Болтон стала просто незаменимой, она даже брила Клиффорда своей легкой женской рукой. Обходительная и толковая, она скоро поняла, как возобладать и над Клиффордом. В конце концов, не столь уж он и отличается от шахтеров — и подбородок ему так же намыливаешь, и щетина у него такая же. А его заносчивость и неискренность ее мало беспокоили. У новой жизни свои законы.

Клиффорд в глубине души так и не простил Конни: ведь та отказала ему в самой важной заботе, передоверив чужой, платной сиделке. Завял цветок интимности меж ним и женой — так объяснил себе перемену Клиффорд. Конни, меж тем, нимало не огорчилась. «Цветок интимности» виделся ей вроде капризной орхидеи, вытягивавшей из нее, Конни, все жизненные соки. Однако, по ее разумению, сам цветок до конца так и не распустился.

Теперь у нее появилось больше свободного времени, она тихонько наигрывала на фортепьяно у себя в гостиной, напевала: «Не рви крапивы… и пут любовных, — сожжешь всю душу». Да, ожогов на душе у нее не счесть, и все — за последнее время, все из-за этих «пут любовных». Но, слава Богу, она все ж их ослабила. Как хорошо побыть

одной, не нужно все время поддерживать с мужем разговор. Он же, оставаясь наедине с самим собой, садился за пишущую машинку и печатал, печатал, печатал — до бесконечности. А случись жена рядом в минуту досуга, он тут же заводил нескончаемо долгий монолог: без устали копался в людских поступках, побуждениях, чертах характера и иных проявлениях личности — у Конни голова шла кругом. Долгие годы она с упоением слушала мужа, и вот наслушалась, хватит. Речи его стали ей невыносимы. Как хорошо, что теперь она может побыть одна.

Они, как два больших дерева, срослись тысячами корешков, сплелись множеством ветвей, да так крепко, что начали душить друг друга. И вот Конни принялась распутывать этот клубок, обрывать узы, ставшие путами, осторожно-осторожно, хотя ей не терпелось поскорее вырваться на свободу. Но у них любовь особая, и путы рвались не так-то легко. Однако появилась миссис Болтон и изрядно помогла.

Впрочем, Клиффорд по-прежнему хотел проводить с женой вечера за сокровенными беседами или чтением вслух. Но Конни подстраивала так, что в десять часов приходила миссис Болтон, и «посиделки» заканчивались, Конни поднималась

к себе в спальню, а Клиффорд оставался на попечении доброй няньки.

Миссис Болтон столовалась с экономкой в ее комнатах, они прекрасно ладили друг с другом. Занятно, как близко к господским покоям подобрались комнаты прислуги — прямо к дверям хозяйского кабинета — раньше они ютились поодаль. А теперь миссис Беттс частенько заглядывала в комнату сиделки, и до Конни доносились их приглушенные голоса. Подчас даже в гостиной, сидя с Клиффордом, она чувствовала всепроникающее дыхание иного, простолюдинного мира.

Да, появление миссис Болтон во многом изменило жизнь усадьбы.

У Конни точно гора свалилась с плеч. Началась совсем другая жизнь, она стала чувствовать по-иному, вздохнула полной грудью. Но еще пугало, как много корней связывает — причем на всю жизнь — с Клиффордом. Все же она вздохнула свободнее, вот-вот откроется новая страница в ее жизни.

8

Миссис Болтон и на Конни поглядывала покровительственно, и ее хотела взять под свое крыло, видя в ней и дочь и пациентку. Она выпроваживала ее милость на прогулки, либо пешие, либо на машине. А Конни сделалась вдруг домоседкой: она проводила почти все время у камина, либо с книгой (хотя читала вполглаза), либо с вышивкой (хотя это ее мало увлекало), и очень редко покидала дом.

Как-то в ветреный день, вскоре после отъезда Хильды, миссис Болтон предложила:

— Пошли б в лес погулять. Набрали б нарциссов, их у дома лесничего много. Красотища! Ничего лучше в марте не сыскать. Поставите у себя в комнате, любо-дорого смотреть.

Конни добродушно выслушала сиделку, улыбнулась ее говорку. Дикие нарциссы — это и впрямь красота! Да и нельзя сидеть и киснуть в четырех стенах, когда на дворе весна. Ей вспомнились строки Мильтона: «Так, с годом каждым проходит череда времен. Но не сулит мне ничего ни день, ни нежный сумрак Ночи, ни Утро…» А

егерь? Худощавое белое тело его — точно одинокий пестик чудесного невидимого цветка! В невыразимой тоске своей она совсем забыла про него, а сейчас будто что-то торкнуло… у двери на крыльце. Значит, надо распахнуть дверь, выйти на крыльцо.

Она чувствовала себя крепче, прогулка не утомляла, как прежде, ветер, столь необоримый в парке, в лесу присмирел, уже не сбивал с ног. Ей хотелось забыться, сбросить всю мирскую мерзость, отринуть всех этих людей с мертвой плотью. «Должно вам родиться свыше»[6]. Я верю и в воскресение тела. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода»[7].

Сколько разных высказываний и цитат принесло ей мартовским ветром.

А еще ветром принесло солнечные блики, они разбежались по опушке леса, где рос чистотел, вызолотили голые ветки. И притих лес под ласковыми лучами. Выглянули первые анемоны, нежным бледно-фиолетовым ковром выстлали продрогшую землю. «И побледнела земля от тво-

---

[6] notes: 6
Евангелие от Иоанна, 3:7.

[7] notes: 7
Евангелие от Иоанна, 12:24.

его дыхания». Но на этот раз то было дыхание Персефоны.

Конни чувствовала себя так, словно выбралась на чистый молочный воздух из преисподней. И ветер дышал холодом над головой, запутавшись в хитросплетенье голых ветвей. И он тоже рвется на свободу, подумалось Конни, — как Авессалом[8]. Как, должно быть, холодно подснежникам — белый стан, зеленые кринолины листьев. Но им все нипочем. Появились и первые примулы — у самой тропы: желтые тугие комочки открывались, выпуская лепестки.

Ветер ревел и буйствовал высоко над головой, понизу обдавало холодом. В лесу Конни вдруг разволновалась, раскраснелась, в голубых глазах вспыхнул огонек. Шла она неторопливо, нагибалась, срывала примулы, первые фиалки — они тонко пахли свежестью и морозцем. Свежестью и морозцем! Она брела куда глаза глядят.

Лес кончился. Она вышла на полянку и увидела каменный дом. Камень, кое-где тронутый мхом, был бледно-розовый, точно изнанка гриба, под широкими лучами солнца казался теплым. У крыльца рос куст желтого жасмина. Дверь затво-

---

[8] notes: 8

Авессалом ехал на муле, ветви дуба оплели ему голову, мул пошел дальше, а Авессалом повис в воздухе (Вторая книга Царств, 18:9).

рена. Тишина. Не курится над трубой дымок. Не лает собака.

Она осторожно обошла дом — за ним дыбился холм. У нее же есть повод — она хочет полюбоваться нарциссами.

Да, вот они: дрожат и ежатся от холода, как живые, и некуда спрятать им свои яркие нежные лица, разве что отвернуть от ветра.

Казалось, их хрупкие приукрашенные солнцем тельца-стебельки сотрясаются от рыданий. А может, вовсе и не рыдают, а радуются. Может, им нравится, когда их треплет ветер.

Констанция села, прислонившись к молодой сосенке — та прогнулась, упруго оттолкнув незваную гостью: сколько в этом могучем и высоком деревце жизни. Оно живет, растет и тянется-тянется к солнцу. Конни смотрела, как солнце золотит макушки цветов, чувствовала, как греет оно руки, колени. До нее долетел легкий аромат цветов, смешался с запахом смолы. Она сейчас одна, ей покойно. Но вот уже мысли о собственной судьбе водоворотом захватили и понесли. Раньше ее, точно лодку на приколе, било о причал, бросало из стороны в сторону; теперь она на свободе, и ее несут волны.

Солнце пошло на убыль. Конни стала зябнуть.

Понурились и цветы — теперь на них падала тень. Так и простоят весь день и всю долгую, холодную ночь — хрупкие и нежные, но сколько в них силы!

Она поднялась, разогнула затекшую спину, сорвала несколько нарциссов — она не любила рвать цветы — и пошла прочь. Ее ждет Рагби, ненавистные стены, толстые непробиваемые стены! Стены! Повсюду стены! Но в такой ветер и стены кстати.

Когда она вернулась домой, Клиффорд спросил:

— Куда ты ходила?

— По лесу гуляла. Взгляни, правда, эти малютки-нарциссы — чудо? Не верится, что они вырастают из земли.

— Равно из воздуха и солнечного тепла, — добавил он.

— Но зачаты в земле, — мигом отпарировала Конни и сама удивилась такому своеволию.

И назавтра после обеда она пошла в лес. Широкая лиственничная аллея, петляя, вывела ее к источнику, называли его Иоаннов колодец. На этом склоне холма было холодно, и ни одного цветочка меж сумрачных лиственниц она не нашла. Из земли бил маленький, обжигающе холодный

ключ, выложенный белыми и красными камушками. Ледяная, чистейшая вода! Капли — что алмазы! Это новый егерь, несомненно, обложил источник чистыми камнями. Чуть слышно журчит вода, тонкой струйкой сбегает по склону. А над головой шумят-гудят лиственницы, сейчас они, колючие и по-волчьи ощетинившиеся, смотрят вниз на темную землю, но не заглушить им источника, который звенит-журчит серебряными колокольцами.

Мрачновато здесь, холодно и сыро. Хотя к источнику напиться ходили люди не одну сотню лет. Больше не ходят. Давным-давно зарос вытоптанный подле него пятачок, и сделалось это место холодным и печальным.

Она встала и медленно пошла домой. Вдруг справа ей послышался ритмичный стук, и она остановилась. Может, дятел? Или кто молотком бьет? Нет, определенно, молоток!

Вслушиваясь, пошла она дальше. Меж молодых елочек обозначилась тропа — вроде бы бесцельная, в никуда. Но что-то подсказало ей, что по тропе этой ходят. И она отважно свернула на нее, пробралась меж пушистыми елями и вышла к маленькой дубраве. Тропа вела дальше, а стук молотка слышался отчетливее; несмотря на то,

что по вершинам деревьев гулял шумный ветер, в лесу стояла тишина.

Но вот открылась укромная полянка, на ней — лачужка из нетесаных бревен. Конни никогда здесь не бывала! Наверное, именно в этом сокрытом от глаз уголке и устроили фазаний питомник. Егерь в одной рубашке стоял на коленях и что-то приколачивал. К Конни с лаем бросилась собака, егерь встрепенулся, поднял голову. В глазах мелькнула тревога.

Он поднялся. Молча поклонился, не сводя с Конни выжидательного взгляда. А она, не чуя под собой ног, шагнула навстречу. Его раздосадовало вторжение, ведь уединение он ценил превыше всего — последнее, что осталось у него от свободы.

— Я никак не могла взять в толк, что за стук, — начала она, враз потеряв дыхание, почти шепотом, испугавшись его прямого взгляда.

— Да вот, клетками для птенцов занимаюсь, — сказал он, нарочито растягивая звуки.

Конни не знала, что ответить, у нее подкашивались ноги.

— Вы позволите, я на минутку присяду, — попросила она.

— Заходите, — бросил он и первым пошел к хи-

барке, отшвыривая ногой ветки и всякий мусор. Он подвинул табурет, сколоченный из ореховых поленцев.

— Может, чуток подтопить? — спросил он, непонятно почему снова ударяясь в деревенское просторечие.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — быстро проговорила Конни.

Он взглянул ей на руки — от холода они посинели, — проворно закинул в сложенный из кирпичей камин в углу несколько сучьев, и желтые языки пламени устремились ввысь, к дымоходу. Освободив место подле огня, он предложил:

— Сюда садитесь, обогрейтесь малость.

Конни послушно пересела. Удивительно, заботливая властность этого человека сразу подействовала на нее. Она вытянула к огню руки, потом подбросила поленцев, а Меллорс вышел и вновь принялся что-то мастерить. Сидеть в углу подле очага ей вовсе не хотелось, куда приятнее смотреть с порога, как работает егерь, но ничего не поделаешь: придется уступить перед хозяйской заботливостью.

Комнатка ей понравилась. Стены обшиты некрашеными досками, посередине стол и та-

бурет, рядом — простой самодельный верстак, ящик с инструментами, доски, кучка гвоздей. На стене развешано самое необходимое: топор, тесак, капканы, дождевик, чем-то набитые мешки. Окна в хижине не было; свет проникал через открытую дверь. Конечно, здесь грязь и хлам, но для Меллорса хибарка эта — вроде святилища.

Она вслушалась: не очень-то бодро стучит егерский топор. Видать, крепко задет Меллорс, ведь посягнули на его уединение, и кто! Женщина! С ними бед не оберешься. А он уже дожил до той поры, когда осталось лишь одно желание — побыть одному. И все ж не в силах он исполнить даже это, ведь он человек подневольный, а хозяева мешают.

И особенно не хотелось ему видеть рядом женщину. Его наполнил страх, не зажила еще рана с прошлых времен. Нужно, чтоб его оставили в покое, не оставят — он умрет. Он полностью отрешился от мира, найдя последнее пристанище в лесу, где можно надежно спрятаться.

Конни согрелась у камина, огонь она развела побольше, и скоро в комнате стало жарко. Она перебралась к двери и села у порога — оттуда видно, как работает егерь. Он будто и не замечал ее, хотя и чувствовал взгляд. Но работал как ни

в чем не бывало, сосредоточенно и споро, бурая собака сидела, поджав хвост, рядом и бдительно поглядывала по сторонам.

Каждое движение сухопарого тела неспешно, но проворно. Вот клетка готова. Меллорс перевернул ее, проверил раздвижную дверцу, отложил в сторону. Поднялся, принес старую клетку, поставил на колоду, подле которой работал, присел на корточки, потрогал прутья — некоторые сломались под пальцами. Он принялся вытаскивать гвозди. Потом перевернул клетку, задумался. Женщины рядом будто бы и вовсе не было — егерь забыл о ней или искусно делал вид, что забыл.

А Конни не сводила с него глаз. Ей виделось то же отчуждение, та же обособленность, что и в первый раз, когда она увидела его полуголым, одежда не скрыла отчужденности зверя-одиночки, томимого воспоминаниями. Душа егеря в ужасе бежала от любого общения с людьми. Даже сейчас молча и терпеливо он старался отдалиться от нее. Но спокойствие и безграничное терпение это исходило от человека нетерпеливого и страстного — вот что угадала Конни всей своей плотью. Поворот головы, движения проворных, спокойных рук, чувственный изгиб его тонкого стана — во всем сквозит терпение и отчужден-

ность. Глубже и шире, чем она, познал он жизнь, глубже и шире и его раны, жизнью нанесенные. Ей сразу стало легче бремя собственных невзгод и забот, убавилось бремя ответственности.

Как в полузабытьи сидела она на пороге, не ведая ни времени, ни окружения. Так увлекли ее собственные грезы, что она не заметила острого быстрого взгляда Меллорса. А он увидел застывшую, полную ожидания женщину. Женщина ждет! И в паху, в копчике у него точно ожгло огнем. Вот напасть! — он едва не застонал. Со смертным страхом и отвращением думал он о любой попытке сблизиться с людьми. Ну почему, почему бы ей не уйти, не оставить его одного! Он боялся ее воли, ее новомодной женской настойчивости. Но еще больше страшился ее холодной аристократической наглости, с которой Конни делала все, что хотела. Ведь он для нее лишь работник. Он ненавидел Конни за то, что она пришла.

А она наконец пробудилась от грез и смущенно поднялась с табуретки. День клонился к вечеру, но уйти она была просто не в силах. Она подошла к егерю. Тот заметил, встал навытяжку, измученное лицо застыло и потускнело, лишь глаза внимательно следили за Конни.

— Здесь у вас хорошо, так покойно, — заметила она. — Я здесь в первый раз.

— Неужели?

— Пожалуй. Я буду сюда иногда наведываться.

— Как вам угодно.

— Вы запираете дверь, когда уходите?

— Да, ваша милость.

— А не могли бы вы мне дать ключ, чтоб иной раз я могла зайти, посидеть. У вас есть второй ключ?

— Вроде как и нет, чего-то не припомню, — он снова заговорил на деревенский манер. Конни смешалась: ведь это он ей в пику делает. Да что ж это в самом деле! Он, что ли, хозяин хибары?!

— И нельзя сделать второй ключ? — вкрадчиво спросила она, но за вкрадчивостью этой сквозило женское своеволие.

— Ишь, второй! — молнией пронзил ее негодующий и презрительный взгляд егеря.

— Да, второй! — покраснев, твердо ответила Конни.

— Вам бы лучше сэра Клиффорда спросить, — как мог, сопротивлялся егерь.

— И верно! У него может быть второй ключ. А нет — так мы новый закажем с того, что у вас. Одного дня на это хватит. На сутки, надеюсь, вы

сможете одолжить ключ?

— Не скажите, сударыня! Чего-то я не знаю, кто б из местных ключ мог смастерить.

Конни снова вспыхнула. На этот раз от ярости.

— Не беспокойтесь! Этим я сама займусь.

— Как скажете, ваша милость!

Взгляды их встретились. Он смотрел с холодной неприязнью и презрением, что его отнюдь не красило; она — пылко и непримиримо.

Но сердце у нее замерло, она увидела, сколь неприятна егерю, как режет против его воли. А еще она увидела, как на него накатывает бешенство.

— До свиданья, Меллорс!

— До свидания, ваша милость.

Он отдал честь и, круто повернувшись, ушел. Конни пробудила в нем злобу, дремавшую до поры, сейчас же злоба эта вскинулась и рыкнула собакой на незваную гостью. Но на большее сил нет! Нет! И Меллорс это знал.

Конни тоже рассердилась, и тоже на своеволие, только на мужское. Слуга, а тоже нос задирает! И мрачно побрела домой.

На холме, у большого бука она увидела миссис Болтон — та, очевидно, высматривала хозяйку.

— Я уж вас обыскалась, ваша милость! — ра-

достно воскликнула она.

— И что, меня ждут какие-то дела? — удивилась Конни.

— Да нет, просто сэру Клиффорду давно пора пить чай.

— А почему ж вы его не напоили, да и сами бы с ним посидели.

— Что вы, разве мне за господским столом место? Да и сэру Клиффорду такое пришлось бы не по душе.

— Почему? Право, не понимаю.

Она прошла в кабинет к Клиффорду и увидела на подносе старый латунный чайник.

— Клиффорд, я опоздала? — спросила она, положила цветы, взяла чайницу, так и не сняв шляпки и шарфа. — Прости меня! Почему ж ты не попросил миссис Болтон заварить чай и напоить тебя?

— Мне такая мысль и в голову не пришла, — язвительно проговорил он. — Представить миссис Болтон во главе стола мне, право, крайне трудно.

— Ну, чайник-то она б своим прикосновением не осквернила.

Клиффорд с любопытством взглянул на нее.

— Что ты делала весь день?

— Гуляла, отдыхала в одном укромном месте. А знаешь, на остролисте еще остались ягоды.

Она развязала и сняла шарф и, забыв о шляпке, принялась готовить чай. Поджаренные хлебцы, конечно же, превратились в сухари. Надев чехольчик на чайник, чтоб не остывал, она поднялась и взяла стакан для фиалок. Бедняжки понурились, тугие стебельки обмякли.

— Они еще оживут! — уверила Конни мужа и поставила перед ним цветы, чтоб он порадовался тонкому аромату.

— «Нежнее Юноновых век», — вспомнилась Клиффорду стихотворная строка.

— Не понимаю, какое может быть сравнение с фиалками! — хмыкнула Конни. — Все поэты-елизаветинцы толстокожи.

Она налила Клиффорду чая.

— А не знаешь, есть ли второй ключ от сторожки, что у Иоаннова колодца: там фазанов разводят?

— Может, и есть.

— Я случайно набрела на эту сторожку — раньше не доводилось. Как там чудно! Я б не прочь туда иногда заглядывать.

— Меллорс там был?

— Да! Он что-то сколачивал. Только по стуку молотка я и нашла сторожку. Похоже, Меллорсу мое вторжение не понравилось. Когда я спросила

о втором ключе, он не очень-то любезно ответил.

— Что именно?

— Да ничего особенного, просто вид был недовольный. А про ключи ничего, дескать, не знает.

— Может, где и лежит у отца в кабинете. Там все ключи. Беттс все наперечет знает. Я попрошу его поискать.

— Уж пожалуйста!

— Значит, Меллорс был нелюбезен!

— Да ну, пустяки! По-моему, ему не по душе, что я всем распоряжаюсь.

— Возможно.

— Но с другой стороны, ему-то что за дело! Ведь усадьба-то наша, а не его вотчина! И почему б мне не приходить туда, куда хочется?!

— Ты права! — согласился Клиффорд. — Пожалуй, он слишком высоко себя ставит.

— Ты думаешь?

— Определенно. Он считает себя личностью особенной, не как все. Ты знаешь, он не поладил с женой, поступил на военную службу, и, кажется, в 1915 году его отправили в Индию. Одно время он служил кузнецом при кавалерийской части в Египте, все время состоял при лошадях, он в них толк знал. Потом приглянулся какому-то полковнику из Индии, даже чин лейтенанта

получил. Да, представили его к офицерскому званию. Потом, кажется, опять в Индию уехал со своим полковником, куда-то к северо-западной границе. Заболел, дали ему пенсию по болезни, но с армией распрощался только в прошлом году. Естественно, трудно человеку, вроде бы чего-то достигшему, вновь к прежнему уровню опускаться. Отсюда — всякие оплошности, срывы. Но с работой он справляется. Мне его упрекнуть не в чем. А всяких там офицерских замашек да претензий я не потерплю.

— Как ему могли дать чин, если он и говорит-то как простой мужик!

— Да нет… Это на него находит временами. Он умеет говорить, и великолепно — для своего круга, разумеется. Думаю, он решил так: раз жизнь его в чине понизила, он и разговаривать будет под стать низам.

— А почему ты мне раньше о его злоключениях не рассказывал?

— Такие «злоключения» — замучаешься рассказывать. Они весь жизненный уклад ломают. Пожалеет бедняга тысячу раз, что на свет родился.

Конни мысленно согласилась с мужем. Бывают же такие люди, обиженные или обделенные,

кто никак не приспособится к жизни, и толку от таких людей никакого.

Соблазнился хорошей погодой и Клиффорд — тоже решил поехать в лес. Дул холодный ветер, но не сильный — с ним не приходилось бороться, — солнце, точно сама жизнь, дарило светом и теплом.

— Поразительно, — заметила Конни, — в такой чудный день будто оживаешь. Обычно даже воздух какой-то мертвый. Люди умертвили даже воздух.

— Ты считаешь — люди виноваты? — спросил Клиффорд.

— Да. Их неизбывная скука, недовольство, злоба губят воздух, жизненные силы в нем. Я просто уверена в этом.

— А может, некие атмосферные условия понижают жизненные силы людей?

— Нет, это человек губит мир, — стояла на своем Конни.

— Рубит сук, на котором сидит, — подытожил Клиффорд.

Моторчик в кресле натужно похрипывал. На зарослях лещины повисли золотистые сережки, на солнечных проталинах раскрылись ветреницы, ликуя и радуясь жизни, — точно память о

прошлом, когда так же радоваться жизни могли и люди. А цветы пахли как яблоневый цвет. Конни собрала Клиффорду букетик.

Он принялся с любопытством перебирать цветы.

— «Покоя непорочная невеста, приемыш вечности и тишины», — процитировал он из Китса. — По-моему, это сравнение больше подходит к цветам, нежели к греческим амфорам.

— Непорочная… порочный — какое ужасное слово! — воскликнула Конни. — Опорочить все на свете могут только люди.

— Ну, как сказать… «Все на свете могут эти, как их… слизняки», — перешел он на детскую дразнилку.

— Да нет, слизняки лишь пожирают, никакая иная, кроме человека, живность не порочит природу.

Она рассердилась на Клиффорда, вечно он все обращает в пустые слова, в прибаутки. Фиалки у него — по Мильтону — «нежнее Юноновых век», ветреницы — по Китсу — «непорочные невесты». Как ненавистны ей слова, они заслоняют жизнь, они-то как раз и порочат все на свете, готовые слова и сочетания высасывают соки из всего живого.

Не удалась эта прогулка. Меж Клиффордом и Конни возникла некая натянутость. Оба пытались ее не замечать, но от этого она не пропадала. Вдруг со всей силой женского наития Конни начала рвать узы, связующие ее с Клиффордом. Хотелось освободиться от него, от пут его ума, слов, от его одержимости собственной персоной, неизбывной, нескончаемой самовлюбленной болтовни.

Снова зарядили дожди. Но через день Конни снова пошла в лес, не убоявшись погоды. И сразу направилась к сторожке. Дождь был совсем не холодный, лес стоял молчаливый и задумчивый, сокрытый пеленой измороси.

Вот и поляна. Никого! Сторожка заперта. Конни села на бревенчатое крыльцо под навесом, свернулась калачиком, чтобы подольше сохранить тепло. Так и сидела, глядя на дождь, слушала, как он едва слышно шуршит по земле, как вздыхает ветер в вершинах деревьев, хотя казалось, что ветра нет вообще. Вокруг стояли могучие дубы, почерневшие от дождя, полные жизни, дерзко раскинув сильные ветви. Травы на земле почти не было, там и сям выглянули первоцветы, кое-где виднелись кусты калины и сизо-бурые заросли куманики. Прошлогодний папоротник полег и

скрылся за зелеными круглыми листиками анемонов. Может, здесь одно из неопороченных мест. Неопороченное! А весь мир погряз в пороке.

Но не все можно опорочить. Банку сардин, например. А сколько таких, закрытых со всех сторон, женщин на свете! Сколько мужчин! Но земля беззащитна, ее всякий опорочит…

Дождь стихал. В дубраве чуть посветлело. Конни хотела идти дальше, однако с места не тронулась. Ее уже пробирал холод. Но обида, снедавшая душу, давила и не пускала, сковала по рукам и ногам.

Опорочена! Да, она опорочена, хотя ее никто и пальцем не тронул. Опороченность мертвыми словами неприлична, а мертвые идеи — словно навязчивый бред.

Подбежала мокрая бурая собака, но не залаяла, завиляла хвостом, слипшимся — точно перо — торчком. Следом вышел мужчина в мокрой черной клеенчатой, как у шоферов, куртке; лицо у него тронул румянец. Конни показалось, что он внутренне напрягся, хотя и не замедлил шаг; а она так и стояла на сухом пятачке под навесом. Он молча козырнул и двинулся прямо на нее. Конни посторонилась.

— Я ухожу, — сказала она.

— Вы ждали, чтоб зайти? — спросил он, глядя мимо Конни на сторожку.

— Да нет, я всего несколько минут под навесом посидела, — спокойно и с достоинством ответила она.

Он посмотрел на женщину. Похоже, она замерзла.

— Значит, у сэра Клиффорда второго ключа не нашлось, — вывел он.

— Нет, и не надо. Здесь на крыльце сухо. До свидания! — Как ей претил его просторечный выговор!

Он внимательно посмотрел на нее. Потом поднял полу куртки, сунул руку в карман брюк и вытащил ключ.

— Хотите — берите, вот вам ключ, а я птичник в другом месте устрою.

Конни посмотрела ему в лицо.

— Не понимаю.

— Что же не понимать-то? Я найду, где фазанов растить. Вам здесь нравится, вот и приходите. И в мои дела встревать не будете, — говорил он очень небрежно, глотая звуки, и Конни не сразу поняла, что он имеет в виду.

— Зачем вы коверкаете язык? Говорите как положено, — холодно попросила она.

— Надо ж! А я-то думал, что как положено говорю.

Конни замолчала, в душе разгорался гнев.

— Так, значит, коли вам ключ надобен, берите. Нет, пожалуй, я завтра вам его дам, а пока тут приберу, чтоб чин-чинарем все было.

Конни разозлилась не на шутку.

— Мне не нужен ваш ключ! Я не хочу, чтоб вы отсюда уходили! Я не собираюсь выгонять вас из собственной сторожки, увольте! Мне просто хотелось иногда приходить сюда; посидеть, как сегодня. Впрочем, и на крыльце неплохо, так что оставим этот разговор.

В голубых глазах егеря вспыхнул недобрый огонек.

— Что вы, — заговорил он, снова растягивая звуки и проглатывая окончания. — Вашей милости здесь рады, как солнышку ясному, пожалте вам и ключ, и все что душеньке угодно. Только у меня тут работы непочатый край, за птицей глаз да глаз нужен. Зимой-то я сюда и не заглядываю, а вот весной для сэра Клиффорда фазанов надобно растить. Разве вашей милости угодно, чтоб я тут мельтешил да стучал-колотил, пока вы тут.

Конни слушала со смутным удивлением.

— С чего вы взяли, что помешаете мне? — спро-

сила она.

Он пытливо посмотрел на нее.

— Вот незадача! — бросил он значительно.

Конни покраснела.

— Ну что ж! — наконец решилась она. — Не стану вас беспокоить. Хотя я не прочь сидеть тут и смотреть, как вы возитесь с птицами. Мне это даже по душе. Но раз вы считаете, что я вам помешаю, не бойтесь, я не стану вам докучать. Вы же не у меня служите, а у сэра Клиффорда.

Странно прозвучали эти слова даже для самой Конни, с чего бы? Но задумываться она не стала.

— Что вы, ваша милость. Эта сторожка принадлежит вам. Она к вашим услугам в любое время. А меня можно за неделю отсюда выдворить. Стоит только…

— Только что? — опешила Конни.

Он по-шутовски заломил шляпу.

— Стоит вам только захотеть — и сторожка ваша, приходите, когда хотите. Я не буду под ногами крутиться.

— Но почему ж вы так! Вы же культурный человек. Вы, может, думаете, я вас боюсь? Почему я вообще должна на вас внимание обращать? Какое мне дело, там вы или нет? Почему это должно меня волновать?

Он посмотрел ей в лицо, и губы его тронула недобрая усмешка.

— Ни в коей мере вас это волновать не должно, ваша милость. Ни в коей мере.

— Тогда в чем же дело?

— Прикажете сделать для вас второй ключ?

— Нет уж, благодарю вас! Не нужно.

— Я все ж сделаю. Запасной ключ не помешает.

— Мне кажется, вы чересчур дерзки. — Конни раскраснелась, задышала тяжело.

— Что вы, что вы? — торопливо проговорил он. — Не говорите так! Что вы! Ничего такого и в мыслях не держал. Я только подумал, раз вы сюда пришли, мне убираться надо, другое место искать. Но раз ваша милость на меня внимания обращать не будет, тогда… это же сэра Клиффорда сторожка, и все будет как ваша милость пожелает. Как вам угодно; только на меня уж вы внимания не обращайте, я уж со своей работенкой буду ковыряться.

Конни ушла, так и не решив: то ли над ней посмеялись и нанесли смертельную обиду, то ли егерь и впрямь говорил, что думал: ему показалось, что она хочет выдворить его из сторожки. Да у нее и в мыслях такого нет! Да и не столь уж

он важная персона! Так, какой-то придурковатый мужлан.

Так и пошла она домой, не зная толком, как отнестись к словам егеря.

9

У Конни проснулась необъяснимая неприязнь к Клиффорду. Более того: ей стало казаться, что она давно, с самого начала невзлюбила его. Не то чтоб возненавидела, нет, ее чувство не было столь сильным. Просто неприязнь, глубокое физическое неприятие. Ей пришло в голову, что и замуж за него она вышла по этой неприязни, в ту пору затаившейся и в душе, и во плоти. Хотя она, конечно же, понимала, что в Клиффорде ее привлек и увлек его ум. Клиффорд казался ей в чем-то неизмеримо выше ее самой, он подчинил ее своей воле.

Но увлечение умственным прошло, лопнуло, как мыльный пузырь, и тогда из глубин ее естества поднялось и заполнило душу физическое отвращение. Только сейчас поняла Конни, сколь сильно жизнь ее источена этим отвращением.

Никому-то она не нужна, ни на что-то она не способна. Кто бы помог, поддержал, но на всем белом свете не сыскать ей помощи. Общество ужасно, оно словно обезумело. Да, цивилизованное общество обезумело. Люди, как маньяки,

охотятся за деньгами да за любовью. На первом месте с большим отрывом — деньги. И каждый тщится преуспеть, замкнувшись в своей одержимости деньгами и любовью. Посмотришь хотя бы на Микаэлиса! Вся его жизнь, все дела — безумие! И любовь его — тоже безумие!

Клиффорд не лучше. Со своей болтовней! Со своей писаниной! Со своим остервенелым желанием пробиться в число первых! Все это тоже безумие. И с годами все хуже и хуже — настоящая одержимость!

Страх лишал Конни последних сил. Хорошо еще, что сейчас Клиффорд мертвой хваткой вцепился не в нее, а в миссис Болтон. И сам этого не сознает. Как и у многих безумцев, серьезность его болезни можно проверить по тем проявлениям, которых он сам не замечает, которые затерялись в великой пустыне его сознания.

У миссис Болтон много восхитительных черт. Но и ее не обошло безумие, поразившее современную женщину: она удивительно властолюбива. Каждый час и каждую минуту утверждает она свою волю, хотя ей кажется, что она смиренно живет ради других. Клиффорд буквально очаровал ее: ему почти всегда удавалось сводить на нет ее попытки командовать, он будто чутьем угады-

вал, как поступить. Чутьем, равно как и властной волей (только более умной и тонкой), он превосходил миссис Болтон. Тем ее и очаровал.

А не из-за того ли и сама Конни некогда подпала под его чары?..

— Какой сегодня чудесный день! — ворковала сиделка нежно и внушительно. — Сэр Клиффорд, вам не мешало бы прокатиться, солнышко такое ласковое.

— Неужели? Дайте мне, пожалуйста, ту книгу, вон ту, желтую. А гиацинты, по-моему, лучше из комнаты унести.

— Да что вы! Они прэлэстны! — Она именно так и произносила — прэлэстны. — А запах, ну просто бесподобный.

— Вот запах-то мне и не нравится, кладбищенский какой-то.

— Вы и вправду так думаете?! — скорее восклицала, нежели вопрошала миссис Болтон, чуть обидевшись и изрядно удивившись. Цветы она выносила из комнаты, дивясь хозяйской утонченности...

— Вас побрить или побреетесь сами? — все так же вкрадчиво, ласково-смиренно спрашивала она. Но повелительные нотки в голосе оставались.

— Пока не решил. Будьте любезны, обождите с этим. Я позвоню в колокольчик, если надумаю.

— Прекрасно, сэр Клиффорд! — смиренно шептала она и исчезала. Но всякий его отпор будил в ней новые силы, и воля ее лишь крепла.

Позже он звонил в колокольчик, она тут же появлялась, и он объявлял:

— Сегодня, пожалуй, побрейте меня.

Сердце у нее прыгало от радости, и она отвечала кротчайшим голосом:

— Прекрасно, сэр Клиффорд!

Она была очень расторопна, но не суетлива, каждое движение плавно и четко. Поначалу Клиффорд терпеть не мог, когда она легкими пальцами едва ощутимо касалась его лица. Но постепенно привык, потом даже понравилось — он все больше и больше находил в этом чувственное удовольствие, — и он просил брить его едва ли не каждый день. Она наклонялась к нему совсем близко, взгляд делался сосредоточенным, хотелось выбрить все чисто и ровно. Мало-помалу, на ощупь она запомнила каждую ямочку, складочку, родинку на щеках, подбородке, шее у хозяина. Лицо у того было холеное, цветущее и миловидное, сразу ясно — из благородных.

Миссис Болтон тоже не откажешь в миловид-

ности: белое, чуть вытянутое, всегда спокойное лицо, глаза с искоркой, но в них ничего не прочитать. Так, беспредельной мягкостью, почти что любовной лаской мало-помалу подчиняла она своей воле Клиффорда, и он постепенно сдавал свои позиции. Она помогала ему буквально во всем, он привык к ней, стеснялся ее меньше, чем собственной жены, доверяясь мягкости и предупредительности, а ей нравилось ухаживать за ним, управлять его телом полностью, помогать в самые интимные минуты. Однажды она сказала Конни:

— Мужчины — ровно дети малые, если копнуть поглубже. Уж какие были бедовые мужики с шахт. Но что-нибудь заболит — и они враз как дети, большие дети! В этом все мужчины почти ничем друг от друга не отличаются.

На первых порах миссис Болтон все ж думала, что в истинном джентльмене вроде сэра Клиффорда есть какое-то отличие. И Клиффорд произвел на нее весьма благоприятное впечатление. Но потом, как она говорила, «копнув поглубже», она поняла, что он такой же, как и все, дитя с телом взрослого. Правда, дитя своеобычное, наделенное изысканными манерами, немалой властью и знаниями в таких областях,

какие миссис Болтон и не снились (чем ему и удавалось застращать ее).

Иногда Конни так и подмывало сказать мужу: «Ради Бога, не доверяйся ты так этой женщине!» А потом она понимала, что в конечном счете ей это не так уж и важно.

Как и прежде вечерами — до десяти часов — они сидели вместе: разговаривали, читали, разбирали его рукописи. Но работала Конни уже без былой трепетности. Ей прискучила мужнина писанина. Однако она добросовестно перепечатывала его рассказы. Со временем миссис Болтон сможет помогать ему и в этом.

Конни посоветовала ей научиться печатать. Миссис Болтон упрашивать не приходилось, она тут же рьяно взялась за дело. Клиффорд уже иногда диктовал ей письма, а она медленно, зато без ошибок отстукивала на машинке. Трудные слова он терпеливо произносил по буквам, равно и вставки на французском. А миссис Болтон трепетно внимала ему — такую и учить приятно.

Теперь уже, сославшись на головную боль, Конни могла после ужина удалиться к себе.

— Может, миссис Болтон составит тебе компанию, поиграет с тобой в карты, — говорила она Клиффорду.

— Не беспокойся, дорогая. Иди к себе, отдыхай.

Но стоило ей выйти за порог, он звонил в колокольчик, звал миссис Болтон и предлагал сыграть в карты или даже шахматы. Он и этому научил сиделку. Конни было и забавно, и в то же время неприятно смотреть, как раскрасневшаяся и взволнованная, словно девочка, миссис Болтон неуверенно берется за ферзя или коня и тут же отдергивает руку. Клиффорд улыбался с чуть вызывающим превосходством и говорил:

— Если только поправляете фигуру, надо произнести по-французски «j'adoube».

Она испуганно поднимала голову, глаза у нее блестели, и она смущенно и покорно повторяла:

— J'adoube.

Да, он поучал миссис Болтон. И поучал с удовольствием, ибо чувствовал свою силу. А ее это необычайно волновало: ведь шаг за шагом она постигала премудрости дворянской жизни. Ведь чтобы попасть в высшее общество, кроме денег нужны и знания. Было от чего разволноваться. И в то же время она старалась стать для Клиффорда незаменимой, выходило, что и ее искренняя взволнованность обращалась в тонкую и неочевидную лесть.

А перед Конни муж начинал представать в

истинном обличье: довольно пошлый, довольно заурядный, бесталанный, пустой сердцем, но полный телом. Уловки Айви Болтон, этой смиренной верховодки, уж слишком очевидны. Но Конни не могла взять в толк, что эта женщина нашла в Клиффорде, почему он приводит ее в трепет? Влюбилась? — нет, совсем не то. Трепетала она от общения с благородным господином, дворянином, писателем — вон книги его рассказов и стихов, вон его фотографии в газетах. Знакомство с таким человеком волновало ее, вызывало странное, почти страстное влечение. А «обучение» пробудило в ней другую страсть, пылкую готовность внимать — никакая любовная связь такого не пробудит, скорее наоборот: сознание того, что любовная связь невозможна, до сладострастия обострило связь просветительскую, миссис Болтон нестерпимо хотелось разбираться во всем так же, как Клиффорд.

Безусловно, в некотором смысле она была влюблена в Клиффорда — смотря что под этим подразумевать. Привлекательная, моложавая, серые глаза порой просто восхитительны. В то же время таилась в ее мягких манерах некая удовлетворенность, даже торжество, торжество победившей женщины. Да, именно женщины!

Сколь ненавистно было это чувство для Конни!

Неудивительно, что Клиффорда «заловила» именно эта женщина. Айви Болтон буквально обожала своего хозяина, хотя и с присущей ей навязчивостью; она полностью отдала себя ему в услужение. Неудивительно, это льстило самолюбию Клиффорда.

Конни слышала их нескончаемо долгие беседы. Точнее, монологи миссис Болтон. Та выкладывала Клиффорду целый ворох деревенских слухов и сплетен. Нет, она не просто передавала сплетни. Она их живописала: ее рассказам позавидовали бы и госпожа Гаскелл, и Джордж Элиот, и мисс Митфорд. Взяв от них все лучшее, миссис Болтон добавила много своего, о чем вышеупомянутые искусные литературные дамы постеснялись бы написать. Миссис Болтон стоило только начать — увлекательнее и подробнее любой книги рассказывала она обстоятельства того или иного соседа. Даже в самом обыденном находила она «изюминку», так что слушать ее было хоть и занимательно, но чуточку стыдно. Поначалу она не отваживалась доносить до Клиффорда «деревенские суды-пересуды». Но стоило ей однажды отважиться, и пошло-поехало. Клиффорду нужен был литературный «материал», и от миссис

Болтон он получал его в избытке. Конни поняла, в чем заключался истинный «талант» мужа: он умел ясно и умно, как бы со стороны, представить любой малозначительный разговор. Миссис Болтон, конечно же, горячилась и кипятилась, передавая «суды-пересуды», одним словом, увлекалась. Поразительно — чего только не случалось в деревне; поразительно — ничто не ускользало от внимания миссис Болтон. Ее историй-хватило бы на многие и многие тома.

Конни слушала ее зачарованно, но потом всякий раз ей делалось стыдно: нельзя давать волю нездоровому любопытству. О сокровенном можно слушать либо из уважения к человеческой душе, измученной нескончаемой внутренней борьбой, либо из разумного сочувствия. Ибо даже сатира — одно из проявлений сочувствия. И жизнь наша течет по тому руслу, куда устремляется наше сочувствие и неприятие. Отсюда и важность искусно написанного романа: он направляет нашу сочувствующую мысль на нечто новое и незнакомое или отвращает наше сочувствие от безнадежного и гибельного. Искусно написанный роман откроет нам самые потаенные уголки жизни. Потому что прежде всего потаенные уголки нашей чувственной жизни

должны омыться и очиститься волной чужого понимания и сочувствия.

Но роман, подобно сплетне, может всколыхнуть такое сострадание или неприятие, которое разрушающе и умертвляюще подействует на наше сознание. Роман ведь может прославлять и самые низменные чувства, коль скоро они почитаются обществом «чистыми». Тогда роман, подобно сплетне, становится злонамеренным, даже более злонамеренным, чем клеветническая сплетня, ибо роман, предположительно, всегда защищает добро. Миссис Болтон в своих рассказах всегда защищала добро. «Он оказался недостойным человеком, ведь она такая славная». Хотя даже со слов миссис Болтон Конни поняла: женщина, о которой идет речь, из тех, кто мягко стелет, да потом жестко спать, а мужчина пусть и гневлив, но прямодушен. Но за гневное прямодушие он прослыл «недостойным», а лицемерная женщина объявлена «славной». Вот по какому злонамеренному, но обывательски привычному руслу направилось сочувствие миссис Болтон.

Оттого-то и стыдно слушать сплетни. Оттого-то и стыдно читать едва ли не все романы, в особенности самые популярные. Читатель в наши дни откликается, лишь когда взывают к его порокам.

Тем не менее в рассказах миссис Болтон деревня Тивершолл представала совсем в ином свете: отнюдь не скучная, сонная заводь, как казалось со стороны, а страшный водоворот роковых страстей. Клиффорд знал многих селян в лицо, Конни — лишь двоих-троих. Рассказы миссис Болтон, казалось, живописали не английский поселок, а африканские дебри.

— Вы, конечно, уж слышали о свадьбе мисс Олсоп! Надо ж! На прошлой неделе-замуж вышла. Ну, да знаете вы мисс Олсоп, дочь старика Джеймса, сапожника. У них еще дом на Диком Поле. Так вот старик прошлой осенью помер. Восемьдесят три года, а все крутился, как молодой. А тут, надо ж, поскользнулся на бугре, что в Добролесье, — там ребятня с горки каталась — сломал ногу. Тут бедняге и конец пришел. Надо ж — такая смерть! Ну так вот, деньги он все оставил дочери, Тэтти, а сыновьям — ни гроша. А Тэтти-то уж в годах, на пять лет старше… Да, ей осенью пятьдесят три стукнуло. Они хоть все веры и сектантской, но страсть как богомольны. Тэтти лет тридцать в воскресной школе занятия вела, покуда отец не умер. А потом закрутила с одним мужиком из Кинбрука, может, вы и видели его: немолодой, нос такой сизый, одевается щегольски. Уилкок

ему фамилия, на дровяном складе у Гаррисона работает. Ему лет шестьдесят пять, не меньше, а посмотреть на них с Тэтти, ну прямо как голубки воркуют, идут под руку, расцеловываются у ворот. А то еще: она к нему на колени сядет и выставится из окна на всеобщее обозрение, а окно большое, выступом таким — это в ее доме на Диком Поле. У Уилкока уж сыновьям за сорок. Сам всего два года как овдовел. Кабы мертвые могли из могил восставать, старый Джеймс Олсоп непременно б к дочери заявился да приструнил ее — при жизни-то в строгости держал! А вот теперь поженились. Уехали жить в Кинбрук, говорят, она с утра до ночи чуть не в ночной рубашке по дому разгуливает — вот уж пугало так пугало! Смотреть противно, когда на старости лет такое непотребство творят. Ей-Богу, хуже молодых! Это все кино, по-моему, виновато. Но разве людей удержишь! Я все время говорю: надо смотреть фильмы для души полезные, и упаси Господь от всяких там мелодрам да любовных картин! Хоть бы детей уберегли! А вон как все оборачивается: старые хуже малых. Уму непостижимо! Вот и говори после этого о морали! Всем наплевать. Всяк живет, как вздумается. И не очень-то страдают, прямо скажу. Правда, сейчас безобразят

меньше, на шахтах работы мало, значит, и денег в обрез. Зато роптать стали, вот беда, причем особо стараются бабы! Мужики-то знай работают да терпят, что им еще, беднягам, остается! А вот бабы прямо из кожи лезут вон. Сначала пускают пыль в глаза, жертвуют деньги на свадебный подарок принцессы Марии, а потом видят, что ей досталось, и с зависти чуть не бесятся: «Ишь, ей меховщики шесть шуб отвалили! Лучше б мне одну! И зачем я только десять шиллингов отдала! Небось от принцессы и гроша не дождешься! Я плаща купить не в состоянии, мой старик крохи домой приносит, а этой крале, вишь, вагонами добро отгружают. Пора б и нам, беднякам, деньжатки иметь, хватит богачам роскошествовать. Стыдоба — мне на плащ денег не скопить!» «Будет вам! — говорю. — Скажите спасибо, что сыты и одеты, и без обновки проживете!» Тут уж все разом — на меня. «А-а! Небось принцесса Мария в обносках ходить, да при этом еще и судьбу благодарить не станет, а нам, значит, шиш? Таким, как она, вагоны шмоток, а мне и плаща купить не на что! Стыд и срам! Подумаешь, принцесса! Цветет и пахнет! Дело все в ее деньгах. А их у нее куры не клюют: а деньги, как известно, к деньгам идут. Вот мне почему-то никто и гроша не подаст,

а чем я хуже! Только про образованность не заводите! Не в этом дело, а в деньгах. Мне вот позарез плащ нужен, а не купить — денег нет». Только о тряпках и думают. Не задумываясь, за зимнее пальто семь, а то и восемь гиней выложат, — это шахтерские-то дочери, прошу не забывать. За летнюю детскую шляпку — двух гиней не пожалеют! Нарядятся и идут в церковь. В мое-то время девчонки и дешевым шляпкам были рады-радешеньки. Они там в своей методистской церкви праздник какой-то справляли, так для ребятишек, что в воскресную школу ходят, помост поставили, огромный, чуть не до потолка. И я собственными ушами слышала, как мисс Томпсон — она занимается с девочками-первогодками — сказала, что там нарядов на детишках не меньше, чем на тысячу фунтов! Такое уж наше время! Его вспять не повернешь. У всех на уме — одни только тряпки. Что у девчонок, что у мальчишек. Парни тоже каждый грош на себя тратят: одежда, курево, выпивка в шахтерском клубе, поездки в Шеффилд по два раза в неделю. Нет, жизнь стала совсем иной. Молодые ничего не боятся, никого не почитают. Кто постарше, те поспокойнее, подобрее, умеют женщине уступить, лучшее отдать. До добра это, правда, тоже не доводит. Женщины

— сущие ангелы с рожками! А молодые парни в отцов своих не пошли. Ничем не поступятся, не пожертвуют, ни-ни. Все только для себя. Скажешь им: «Не трать все деньги, подумай о доме!» А они: «Успеется! А пока молод, нужно веселиться! Остальное подождет!» Да, молодежь нынешняя и груба, и себялюбива, знаете ли. Все заботы на старших перекладывают. Куда ни посмотри — срамота одна.

И Клиффорду совершенно по-новому представился шахтерский поселок. Он всегда побаивался тамошнего люда, но полагал, что живут они тихо и спокойно.

— И что же, расхожи ли средь них социалистические или большевистские веяния? — спросил он.

— Не без этого! Послушали б вы местных горлодеров. Правда, больше всего опять-таки бабы надрываются, из тех, кто по уши в долгах. Мужики их и не слушают. Нет, наш Тивершолл красным никогда не станет. Тихий у нас народ, скромный. Иной раз какой смутьян из молодых высунется. Да и то, не из-за политики, а ради собственного кармана, чтоб заработать побольше да тут же спустить на выпивку, да чтоб в Шеффилд лишний раз съездить. Больше им и не нужно

ничего. Как в карманах пусто, тут и начинают слушать красных пустобрехов. Но всерьез им никто не верит.

— Значит, вы полагаете, опасности нет?

— Никакой! Если жизнь хорошая, смуты не будет. А уж если надолго черная полоса затянется, молодежь может и взбрыкнуть. Говорю вам, эти баловни только себя любят. Но, право, даже не представляю, способны ли они на что-нибудь, разве что гонять на мотоциклах да с девицами в Шеффилде на танцульки ходить. Они всерьез ни к чему не относятся. И не заставишь их никак. Те, кто посолиднее, надевают вечерние костюмы и едут в Шеффилд, покрасоваться перед девушками в танцзале, потанцевать всякие там новомодные чарльстоны. Иной раз автобус полнехонек: парни все приодеты, наши, шахтерские парни, в танцзал торопятся. А сколько с девицами в своих машинах да на мотоциклах в Шеффилд катят! И ничто в жизни их больше не волнует. Разве что скачки в Донкастере и Дерби, ведь они делают ставки на каждый заезд. Ах да, еще футбол забыла! Хотя нынче и футбол не тот, что раньше, не сравнить! Теперь на поле не играют, а словно в забое трудятся. Нет, молодежь скорее в Шеффилд или Ноттингем на мотоциклах рванет в субботу

вечером.

— Но что они там делают?

— Так, слоняются по городу, чаи распивают в модных кафе, вроде «Микадо», в танцзале торчат или в кино. А уж девчонки-то нынешние похлеще парней, ничего не стесняются, что хотят, то и воротят.

— Ну, хорошо, а что им делать, если денег нет?

— Деньжонки-то у них водятся. Это уж когда все спустят, тогда роптать начинают. Но куда им до большевиков! Нашим-то ребятам только деньги на развлечения подавай, девчонкам тоже — деньги да тряпки. А больше ни о чем и заботы нет. Мозгов маловато, чтоб в социалисты податься. Да и всерьез они ничего на свете не принимают и вовек не примут.

Конни мысленно подивилась: до чего ж люд неимущий похож на «сильных мира сего». Одно и то же. И в Тивершолле, и в Мейфэре, и в Кенсингтоне люди одинаковы. Все сословия слились, объединились в погоне за деньгами. И в гонке этой и девушки, и юноши. Отличают их лишь достаток и аппетиты.

Под влиянием миссис Болтон у Клиффорда вновь проснулся интерес к собственным шахтам. Он, наконец, почувствовал свою причастность.

Более того — свою необходимость и важность. Ведь, в конце концов, кто, как не он, хозяин в Тивершолле, и шахты — его плоть и кровь. Сознание своего могущества было внове, до сих пор Клиффорд страшился этого чувства.

Тивершолльские рудники почти что выработаны. Шахт, по сути, оставалось две: собственно «Тивершолл» и «Новый Лондон». Некогда «Тивершолльская» славилась и углем, и прибылью. Но золотые деньки миновали. «Ново-Лондонская» изначально была скромнее, ни обычно убытка не приносила. Сейчас настали времена необычные, худые, и с «Ново-Лондонской» народ начал уходить.

Миссис Болтон оказалась в курсе и этих дел.

— С «Тивершолла» народ на соседние шахты бежит. Вы ведь, сэр Клиффорд, не видели «Отвальную», после войны ее заново открыли. Непременно съездите, посмотрите. Не узнать, все переделали: прямо у копра химический завод построили. «Отвальная» теперь и на шахту-то не похожа. Говорят, не столько уголь приносит прибыль, сколько отходы, что на химическом заводе перерабатывают… как их? Ой, забыла. А какие рабочим дома построили! Ну, ровно городские. Не мудрено, что со всей страны туда всякий

сброд потянулся. И от нас с «Тивершолла» кое-кто к ним перешел, теперь лучше наших живут. Говорят, «Тивершолл» последние деньки доживает, год-другой, и закроют. А «Новый Лондон» и того не протянет. Господи, в голове не укладывается, что наша шахта работать перестанет. Даже когда в забастовки работа стала, и то не по себе. А если уж навсегда закроют — считай, конец света. Я еще под стол пешком ходила, а «Тивершолльская» уже лучшей шахтой в стране считалась, счастливчикам, кто там работает, завидовали. А теперь шахтеры говорят, это-де тонущий корабль, пора деру давать. Уши б мои не слышали! Большинство, правда, останется на шахте, покуда есть работа. Новые-то шахты людям не очень по душе: больно глубоки, да и машин всяких слишком много, шахтеры их «железными забойщиками» называют и даже побаиваются: всю жизнь люди уголек рубили, а теперь нате вам — машины! Да и ворчат шахтеры, дескать, в отход больше угля идет. А платят только за то, что на-гора выдают, в общем, многие недовольны. Говорят, скоро людям и работы-то не останется, все машины заполнят. Но ведь и раньше такое говорили, еще когда со старыми ткацкими станками расставались. Я их еще застала. Но по мне, так чем больше

машин, тем больше людей занято. Говорят еще, вроде и отходы нашего угля не те, что в «Отвальной», для химии не годятся. Непонятно, ведь шахты в трех милях друг от друга, и того не будет. Однако ж так говорят. И почти все возмущаются, почему шахтерам условия не улучшают, почему девушек на работу не берут. А то приходится бедняжкам в Шеффилд каждый день мотаться. Вот бы разговоров было, случись «Тивершоллу» возродиться! Прикусили б язычки те, кто каркал, что шахту закроют, что это тонущий корабль, с которого людям, как крысам, пора бежать. Да мало ли разговоров всяких. Понятно, во время войны дело процветало. Сэр Джеффри стал жить на проценты со своего капитала — доход верный и риска нет. Умно поступил. Так всем казалось. Но сейчас люди видят: не очень-то большой доход хозяева получают. Это надо ж! Ведь и я думала раньше, что наши шахты — на века, на долгие-долгие века. Я тогда девчонкой была. Кто бы подумал, что все так обернется! Но вот закрыли и «Новую Англию», и «Лесную». Страшно смотреть: стоит запустелая шахта среди леса, копер зарос бурьяном, подъездные пути заржавели. Мертвая шахта, сама словно смерть. Что же делать, коли закроют «Тивершолльскую»? Даже подумать

страшно. Тут всегда шум, суета, полно людей, если, конечно, не забастовка. Да и в забастовку вентиляторы работали — пони в забое ходили по кругу, крутили колесо, их не всякий раз наверх поднимали. Господи, до чего ж чудная жизнь, катимся, катимся, а куда — сами не знаем.

Именно миссис Болтон своими рассказами и заронила семя новой борьбы в душу Клиффорда. Доход его, стараниями отца, и впрямь был верный, хоть и небольшой. А шахтами Клиффорд не интересовался. Ведь он тщился покорить иной мир: мир литературы и славы. Его манил мир маститых, а не мир мастеровых.

И в том, и в другом мире можно достичь успеха, но разница очевидна: в одном — люд праздный, в другом — рабочий. Клиффорд, как кустарь-одиночка, рассказами своими потрафлял люду праздному. И пришелся ко двору. Но за тонкой прослойкой праздного люда лежал другой слой — люда рабочего — грязный, мрачный, даже пугающий. Должны же быть и желающие позаботиться и о них, хотя делать это еще отвратительнее, чем ублажать избранных. Пока Клиффорд писал рассказы и благоденствовал, Тивершолл медленно умирал.

Удаче — этой прожорливой Вертихвостке — ма-

ло лести, обожания, игривой ласки, расточаемой писателями и художниками. Ей подавай что посущественней — плоть и кровь. И поставщики находились среди тех, кто делал деньги в промышленности.

Да, паскудницы-Вертихвостки домогались две большие стаи псов: одни виляли хвостами, заискивали, предлагая развлечения, рассказы, фильмы, пьесы; другие — не столь бесстыжие на вид, но куда более страшные по сути — поставляли ей плоть и кровь — из этого «сырья» и делаются деньги. Благовоспитанные псы-затейники отчаянно грызлись меж собой за расположение царственной Удачи. Но что их грызня по сравнению с тихой, смертельной схваткой меж теми, кто потчевал Великую Вертихвостку насущным, то бишь плотью и кровью.

Под влиянием миссис Болтон Клиффорд поддался искушению и сам ввязался в эту борьбу, пытаясь овладеть Удачей грубой силой (то бишь силой промышленной). Даже настроение поднялось. В каком-то смысле миссис Болтон сделала из него мужчину — жене это так и не удалось. Конни по-прежнему держалась в отдалении, тем самым задевая тончайшие струнки его души. Напоминая о его неполноценности. Миссис Болтон

же напоминала ему лишь о заботах телесных. И душа его обмякла и раскиселилась. Зато разум и тело изготовились действовать.

Он даже заставил себя еще раз посетить шахты. Его посадили в вагонетку и опустили. Так и провезли по всему забою. Ему стало вспоминаться выученное еще до войны и, казалось, безвозвратно забытое горное дело. Недвижно сидел он в забое, и управляющий ярким лучом электрического фонаря высвечивал пласт за пластом. Хозяин говорил мало, но мысль работала напряженно.

Он снова взялся за книги по угледобыче, изучал министерские сводки, знакомился с новейшими методами добычи угля и сланцев — в основном по немецким источникам. Разумеется, самые ценные новшества, покуда можно, держали в секрете. Стоит заняться изучением горного дела, изучением самого угля, его отходов, их применения в химической промышленности, как диву даешься: до чего ж преуспела современная техническая мысль, сколь, нечеловечески она изощрилась, словно дьявол наделил ученых и инженеров сверхъестественным разумом. Куда там искусству или литературе, где все зиждется на убогих, глупых чувствах, — техническая

промышленная наука несравнимо интереснее. В этой сфере мужчины точно боги (или демоны!), они подвигаются на открытия, они отстаивают их в борьбе. И на этом поприще мудрость мужчин не измерить и веками. Но Клиффорд знал, что стоит таким «мудрецам» окунуться в мир человеческих чувств, и мудрости у них окажется не больше, чем у подростка. Какое великое и чудовищное противоречие!

Но так устроена жизнь. Видно, суждено человеку скатиться до полного идиотизма в чувственном, «человеческом» восприятии. Впрочем, Клиффорда это не волновало. Пусть себе катится. Его занимала технология современной угледобычи — необходимо вытащить Тивершолл из беды.

День за днем он ездил на шахту и изучал положение дел: У управляющих — как наземными, так и подземными работами, — у инженеров забот прибавилось стократ. Такого они и вообразить не могли. Власть! Клиффорд упивался ее живительными соками: все эти люди, сотни и сотни шахтеров в его власти! Интересуясь делами, он мало-помалу брал бразды правления в свои руки.

Воистину, он словно заново родился. Только сейчас почувствовал он жизнь! Раньше, уеди-

нившись с Конни в маленьком мирке своего таланта и своего разума, он медленно умирал. Теперь с этим покончено! Хватит! Из глубин забоя, от угольных пластов на него повеяло жизнью. Спертый воздух подземелья оказался для него живительнее кислорода, ибо принес ощущение власти! Власти! Значит, он еще на что-то способен. А сколько ждет впереди! Сколько побед, да, побед! Их не сравнить с победами литературными; те принесли лишь известность среди людей, увядших от собственной несостоятельности и злобы. Его ждет победа, достойная настоящего мужчины!

Поначалу он искал панацею в электричестве: хотел всю энергию угля преобразовать в электрическую. Потом пришла новая мысль. Немцы изобрели новый паровоз, в котором топливо, подавалось автоматически и кочегар был не нужен. Требовалось и новое топливо: малыми порциями оно сгорало при высокой температуре с соблюдением особых условий.

Клиффорда привлекла мысль о новом, концентрированном топливе, которое бы сгорало медленно, несмотря на ужасающую температуру. Кроме воздушного поддува нужно еще какое-то внешнее условие, способствующее горению. И

Клиффорд решил провести опыты, нанял себе в помощь толкового молодого химика.

В душе Клиффорд ликовал. Наконец-то ему удалось вырваться за пределы своих весьма ограниченных возможностей. Всю жизнь он втайне мечтал об этом. Искусство ему не помогло. Скорее, напротив, усугубило его состояние. И вот теперь, только теперь его мечта сбылась.

Он не понимал, что за его решением стоит миссис Болтон. Он не задумывался, насколько зависит от нее. И тем не менее было заметно, что в ее присутствии менялась даже его речь, делалась легкой и задушевной, даже чуточку запанибрата.

С Конни он держался суховато. Он понимал, что обязан ей в жизни всем, всем, и выказывал величайшее уважение и предупредительность, получая взамен лишь ни к чему не обязывающее внимание. Но было ясно: в глубине души он боится ее. Он хоть и почувствовал в себе ахилловы силы, все ж ахиллесова пята оказалась и у него. И сразить его могла женщина — собственная жена, Конни. У него зародился какой-то почти рабский страх перед ней, и он вел себя предельно учтиво. Но голос у него чуть напрягался, когда он заговаривал с женой, а часто он и вовсе молчал в

ее присутствии.

Только оставаясь наедине с миссис Болтон, чувствовал он себя властителем и хозяином, речь лилась легко и охотно, как и у самой миссис Болтон. Он позволял ей и брить себя, и точно малому дитяти обтирать тело мокрой губкой.

10

Теперь Конни часто оставалась одна, гости заезжали в Рагби реже. Клиффорду они больше не нужны. Даже своих закадычных друзей он не жаловал вниманием — сделался странным, предпочитая общество радиоприемника — дорогой забавы по тем временам, — и не без успеха: даже здесь, в беспокойном сердце Англии, ему порой удавалось слушать Мадрид или Франкфурт.

Часами просиживал он в одиночестве перед истошным громкоговорителем. Конни лишь ошеломленно взирала, как муж с отрешенным и зачарованным лицом маньяка сидит перед приемником и вожделенно приемлет.

Впрочем, вслушивался ли? Или, может, сидел в трансе, а в голове свершалась напряженная работа. Конни не знала наверное. В такие часы она затворялась у себя в комнате или убегала в лес. Порой ее охватывал ужас: все разумные существа на белом свете мало-помалу впадают в безумие.

Да, Клиффорд отдалялся все больше, поглощенный новой причудой — он вознамерился стать промышленником. И из существа разумного пре-

вращался едва ли не в тварь, с твердым панцирем и желейным нутром, в этакого рака или краба, коих наплодил современный промышленный и финансовый мир, удивительнейших представителей семейства беспозвоночных. Прочные, будто из стали, панцири — как кожухи станков — и студенистое тело. Конни не видела для себя никакого выхода.

Клиффорд отказывал ей даже в свободе, требуя, чтоб она постоянно была рядом. От страшной мысли, что жена может уйти, его била дрожь. Все его на удивление рыхлое бесхребетное естество, все чувственное начало, вся его человеческая суть целиком и полностью зависела от Конни — так чудовищно беспомощен бывает ребенок или умственно неполноценный. И потому ее место только в Рагби; в усадьбе должна быть хозяйка, а у Клиффорда — жена. Иначе он пропадет, как недоумок в болоте.

Копни почуяла эту удивительную зависимость и исполнилась ужаса. Она слышала, как он разговаривал с управляющими на шахтах, в совете директоров, с молодыми учеными; поразительно, как вникал Клиффорд в суть дела, как пользовался властью, а власть у него над деловыми людьми была прямо колдовская. Он и сам превратился в

делового человека, точнее в хитроумного дельца, в могущественного хозяина. Конни считала, что превращением этим он обязан миссис Болтон — она оказалась рядом с Клиффордом в очень трудное для него переломное время.

Но куда исчезала его хитрость, его практичный ум, когда он оставался наедине со своими чувствами? Клиффорд делался недоумком, боготворившим жену, почитавшим ее за высшее существо — так поклоняется божеству дикарь-язычник, поклоняется, трепеща от страха, ненавидя своего идола за всемогущество. Идолище страха. И от Конни он хотел лишь одного — клятвенного обещания не оставлять его, не предавать.

— Послушай, Клиффорд, — обратилась она к нему как-то (в то время у нее уже был ключ от сторожки), — а ты и впрямь хочешь, чтоб я в один прекрасный день родила?

Он пристально посмотрел не нее: в голубых, навыкате глазах мелькнула затаенная тревога.

— Я был бы не против, коль скоро это вреда не принесет.

— Какого вреда?

— Вреда нашим отношениям, вреда нашей любви. А если ребенок принесет раздор, то буду решительно возражать! И потом, не исключено,

что со временем у нас и свой ребенок появится.

Копни ошеломленно воззрилась на него.

— То есть, — поправился он, — возможно, скоро ко мне вернутся силы.

Конни все смотрела на мужа, тому даже стало неловко.

— Значит, ты все-таки не хочешь, чтобы я родила? — проговорила она наконец.

— Повторяю, — тут же отозвался он (так сразу взлаивает собака, чуя беду). — Я очень хочу ребенка, лишь бы не пострадала наша любовь. А если пострадает, то убей меня, я против.

Что возразить? У Конни стыла душа от страха и презрения. Мужнины слова — ровно лепет идиота. Он сам не понимает, что говорит.

— Не беспокойся, мои чувства к тебе не изменятся, — сказала она не без яда.

— Ну, вот и ладно! Это самое главное! — воскликнул он. — В таком случае я не возражаю. Наоборот: очень даже мило слышать, как по дому топочет малыш, сознавать ответственность за его будущее. Родишь ребенка, дорогая, и, согласись, у меня появится цель в жизни. А твой ребенок — все равно что мой собственный. Ибо кто, как не мать, дает жизнь?! Ты-то, я надеюсь, это понимаешь. А меня вообще можно сбросить

со счетов. Я — ноль. Вся моя значимость — в тебе! Так устроена жизнь. Ведь ты же это и сама знаешь! Видишь, каково мое положение. Без тебя я — ничто! Я живу ради тебя, ради твоего будущего. Сам по себе я — ноль.

Конни слушала, а в душе нарастали отвращение и ужас. Такая вот полуправда и отравляет человеческую жизнь. Найдется ли мужчина в здравом рассудке, чтобы говорить такое женщине! Но нынешние мужчины потеряли здравый рассудок. Останься у мужчины хоть капелька чести, неужели он возложит на женщину страшную ношу — ответственность за жизнь — и оставит ее в пустоте, без опоры и поддержки?

Дальше — больше. Через полчаса Конни услышала, как Клиффорд горячо — насколько хватало запала в его холодной натуре — изливал душу миссис Болтон, точно она была ему и любовницей и матерью. А та заботливо облачала его в вечерний костюм — в усадьбе ждали важных деловых гостей.

В такие минуты Конни казалось, что она вот-вот умрет, ее раздавит непосильное бремя изощренного мужнина притворства и поразительных по жестокости и недомыслию признаний. Она благоговела и удивлялась его необъяснимой деловой

хватке и страшилась его преклонения перед ней, слабой женщиной. Их ничто не связывало. В последнее время ни она, ни он даже не коснулись друг друга. Он больше не брал ее ласково за руку, не держал ее ладонь в своей. Но когда порвалась даже эта тонкая ниточка, он вдруг начал истязать ее своим поклонением. Жестокость эта исходила от его полного бессилия. И Конни чувствовала: либо она тронется умом, либо умрет.

Как только выпадала возможность, она убегала в лес. Однажды за полдень она сидела у Иоаннова ключа и задумчиво смотрела, как, пузырясь, бьет холодная струя. Вдруг к ней подошел егерь.

— Ваша милость, я выполнил заказ, — сказал он и козырнул.

— Большое вам спасибо! — смешавшись от неожиданности, поблагодарила Конни.

— Простите, в сторожке не очень-то чисто. Я прибрал там, как мог.

— Право, я не хотела вас беспокоить.

— Какое там беспокойство. Через неделю посажу квочек яйца высиживать. Вас они не испугаются. Правда, мне придется по утрам и вечерам за ними присматривать, но я уж постараюсь вам не докучать.

— Да не будете вы мне докучать! — взмолилась

она. — Скорее я вам работать помешаю, так что, может, мне в сторожке лучше и не появляться.

Он с любопытством взглянул на нее. Голубые глаза приветливы, но, как прежде, отчужденны. Но зато перед ней здравомыслящий, нормальный человек, хотя и исхудалый, и нездоровый на вид. Его бил кашель.

— Вы больны! — заметила Конни.

— Пустяки! Чуток простыл. Как-то воспаление легких схватил, с тех пор, чуть что, — кашляю. Но это пустяки!

По-прежнему он держался отчужденно и никак не шел на сближение.

Конни часто наведывалась в сторожку, когда утром, когда после обеда, но ни разу не заставала егеря. Очевидно, он сознательно избегал ее, старался уберечь свое уединение.

Он прибрал в сторожке, поставил у камина маленький стол и стул, сложил кучкой щепу для растопки и охапку дров. Убрал подальше инструменты и капканы, чтобы ничто не напоминало о нем. На поляне перед сторожкой устроил навес из веток и соломы, под ним устроил пять клетей с гнездами. А однажды, придя в сторожку, Конни увидела двух рыжих куриц — они ревниво и бдительно высиживали фазаньи яйца, важно

распушив перья, утвердившись в исполненности своего материнства. Конни едва не заплакала. Никому-то она не нужна, ни как мать, ни как женщина. Какая она женщина, — так, средоточие страхов.

Скоро занятыми оказались вся пять гнезд, в них восседали три рыжие, пестрая и черная курицы. Нахохлились, нежно и бережно распушили перья, укрывая яйца, — инстинкт материнства, присущий любой самке. Блестящие глаза-бусинки внимательно следили за Конни — она примостилась подле гнезд. Квочки сердито и резко кудахтали — самку, ждущую детеныша, лучше не сердить.

В сторожке Конни нашла банку с зерном, насыпала на ладонь, протянула курам. Лишь одна злобно клюнула ладонь — Конни даже испугалась. Но ей так хотелось угостить чем-нибудь наседок, ведь они не отлучались от гнезд ни поесть, ни попить. Она принесла воды в жестянке, одна наседка попила, и Конни обрадовалась.

Она стала заглядывать в сторожку каждый день. Наседки — единственные существа на свете, согревавшие ей душу. От мужниных клятвенных признаний она холодела с головы до пят. И от голоса миссис Болтон по спине бежали мурашки,

и от разговоров «деловых» гостей. Даже редкие письма от Микаэлиса пронизывали ее холодом. Она чувствовала, что долго такой жизни не выдержит.

А весна, меж тем, брала свое. В лесу появились колокольчики, зелеными дождевыми капельками проклюнулись молодые листья на орешнике. Ужасно: наступает весна, а согреть душу нечем. Разве что куры, важно восседающие в гнездах, теплые, живые, исполняющие природное назначение. Конни казалось, что ее разум вот-вот померкнет.

Однажды чудесным солнечным днем — в лесу под лещиной вовсю цвели примулы, а вдоль тропок выглянули фиалки — Конни пришла в сторожку и увидела, что у одного из гнезд вышагивает на тоненьких ножках крохотный фазаненок, а мама-клушка в ужасе зовет его обратно. В этом буром крапчатом комочке таилось столько жизни! Она играла, сверкала, как самый драгоценный алмаз. Конни присела и восторженно засмотрелась на птенца. Жизнь! Жизнь! У нее на глазах начиналась новая, чистая, не ведающая страха жизнь. Новая жизнь! Такое крохотное и такое бесстрашное существо! Даже когда, внимая тревожным призывам наседки, он неуклюже

взобрался в гнездо и скрылся под материнским крылом, он не ведал страха. Для него это игра. Игра в жизнь. Вскоре маленькая остроконечная головенка высунулась из пышного золотисто-рыжего оперенья и уставилась на Конни.

Конни любовалась малышом и в то же время, как никогда мучительно остро, ощущала свою ненужность, — ненужность женщины! Невыносимо!..

Лишь одно желание было у нее в те дни: поскорее уйти в лес, к сторожке. А все остальное в жизни — мучительный сон. Иногда, правда, ей приходилось целый день проводить в Рагби, исполнять роль гостеприимной хозяйки. В такие дни она чувствовала, как пуста ее душа, пуста и ущербна.

А однажды она сбежала из дома в пять часов, после чая, даже не узнав, ожидают ли вечером гостей. Она едва не бегом бежала через парк, словно боялась: вот-вот окликнут, вернут. Когда она дошла до леса, солнце уже садилось. Но закатный румянец будет еще долго играть в небе, поэтому Конни решительно пошла дальше, не замечая цветов под ногами.

К сторожке она прибежала раскрасневшись, запыхавшись, едва помня себя. Егерь, в одной

рубашке, как раз закрывал клетки с выводком на ночь, чтоб их маленьким обитателям покойно спалось. Лишь три тонконогих птенчика бегали под навесом, не внимая призывному кудахтанью заботливых матерей.

— Мне непременно нужно увидеть малышей! — еще не отдышавшись, проговорила она и смущенно взглянула на егеря, хотя в эту минуту он для нее почти не существовал. — Сколько их уже?

— Пока тридцать шесть! Совсем неплохо! — ответил егерь.

Он тоже с необъяснимой радостью смотрел на новорожденных.

Конни присела перед крайней клеткой. Трое малышей тут же спрятались, выставив любопытные головки из-под золотистых материнских крыльев. Вот двое скрылись совсем, остался лишь один — на фоне пышного тела наседки темная головка его казалась маленькой бусинкой.

— Так хочется их потрогать! — Она робко просунула ладонь меж прутьями клетки. Наседка тут же яростно клюнула ладонь, и Конни, вздрогнув, испуганна отдернула руку.

— Как больно! За что ж она меня так не любит? Ведь я их не обижу! — изумленно воскликнула

она.

Егерь, стоявший подле нее, рассмеялся, присел, спокойно и уверенно, не торопясь, сунул руку в клетку. Старая курица клюнула и его, но не так злобно. А он спокойно, осторожно, зарывшись пальцами в оперенье квочки, вытащил в пригоршне слабо попискивающего птенца.

— Вот, пожалуйста! — раскрыл ладонь и протянул его Конни. Она взяла щуплое, нежное существо обеими руками. Цыпленок попытался встать на тоненькие ножки, Конни чувствовала, как бьется сердце в этом почти невесомом тельце. Но вот малыш поднял красиво очерченную головку, смело, зорко огляделся и слабо пискнул.

— Какой прелестный! Какой отважный! — тихо проговорила Конни.

Егерь, присев на корточки рядом, тоже с улыбкой смотрел на маленького смельчака в руках Конни. Вдруг он заметил, как ей на запястье капнула слеза.

Он сразу же поднялся, отошел к другой клетке. Внезапно внутри вспыхнуло и ударило в чресла пламя. Как он надеялся, что пламя это потухло навеки. Он постарался справиться с искушением, отвернувшись от Конни. Но пламя не унималось, оно опускалось все ниже, кружа у колен.

Он вновь повернулся, взглянул на Конни. Та по-прежнему стояла у клетки, вытянув руки, очевидно, чтобы птенчикам было удобнее бежать к матери-наседке. И столько во всем ее облике невысказанной тоскливой неприкаянности, что все внутри у него перевернулось от жалости.

Не сознавая, что делает, он быстро подошел, присел рядом, взял из ее рук птенца — она по-прежнему боялась наседкиного клюва — и посадил его в клетку. А пламя в паху все разгоралось и разгоралось.

Он с опаской поглядел на Конни. Она сидела, отвернувшись, закрыв глаза, горько оплакивая свое поколение одиноких и неприкаянных. Сердце у него дрогнуло, наполнилось теплом, словно кто заронил искру, он протянул руку, положил ей на колено и тихо проговорил:

— Не нужно плакать.

Она закрыла лицо руками — надломилось что-то в душе, а все остальное не столь важно.

Он положил руку ей на плечо и начал нежно-нежно гладить по спине, не понимая, что делает. Рука бессознательно двинулась вниз, дошла до ложбинки меж ягодицами и стала тихонечко, как в полусне, ласкать округлое бедро.

Конни отыскала скомканный носовой платок и

принялась вытирать слезы. Она тоже ничего не видела вокруг.

— Может, зайдете в сторожку? — донесся до нее спокойный, бесстрастный голос егеря.

Обняв ее за плечо, он помог ей подняться и неспешно повел в сторожку. Только там снял руку с плеча, отодвинул в сторону стулья, стол, достал из шкафчика с инструментами бурое солдатское одеяло, аккуратно расстелил на полу. Конни стояла как вкопанная и не сводила глаз с его лица — бледного и застывшего, как у человека, который смирился перед судьбой.

— Ложитесь, — тихо произнес он и закрыл дверь — в сторожке сразу стало темным-темно.

С необъяснимой покорностью легла она на одеяло. Почувствовала, как нежные руки, не в силах унять страстную дрожь, касаются ее тела. Вот рука на ощупь нашла ее лицо, стала осторожно поглаживать, с беспредельным, уверенным спокойствием. Вот щекой она почувствовала прикосновение губ.

Она лежала не шевелясь, словно в забытьи, словно в волшебном сне. Дрожь пробежала по телу — его рука, путаясь в складках ее одежды, неуклюже тянулась к застежкам. Но, найдя их, стала действовать умело и сноровисто. Медленно

и осторожно освободил он ее от узкого шелкового платья, сложил его в ногах. Затем, не скрывая сладостного трепета, коснулся ее теплого тела, поцеловал в самый пупок. И, не в силах сдерживаться долее, овладел ею. Вторгшись в ее нежную, словно спящую плоть, он исполнился почти неземным покоем. Да, в близости с этой женщиной он испытал наивысший покой.

Она по-прежнему лежала недвижно, все в том же полузабытьи; отдала ему полностью власть над своей плотью, и собственных сил уже не было. Его крепкие объятья, ритмичное движение тела и, наконец, его семя, упругой струей ударившее внутри, — все это согрело и убаюкало Конни. Она стала приходить в себя, лишь когда он, устало дыша, прильнул к ее груди.

Только сейчас у нее в сознании тускло промелькнула мысль: а зачем это все? Почему так вышло? Нужно ли? Почему близость с этим человеком всколыхнула ее, точно ветер — облако, и принесла покой? Настоящее ли это чувство?

Современная женщина не в силах отключить разум, и бесконечные мысли — хуже всяких пыток. Так что ж это за чувство? Если отдаешь себя мужчине всю, без остатка — значит, чувство настоящее, а если душа твоя точно замкнутый

сосуд — любая связь пуста и ничтожна. Конни чувствовала себя такой старой, словно прожиты миллионы лет. И душа ее будто свинцом налилась — нет больше сил выносить самое себя. Нужно, чтоб кто-то разделил с ней эту ношу. Да, разделил ношу.

Мужчина рядом лежит молча. Загадка. Что он сейчас чувствует? О чем думает? Ей неведомо. Он чужой, она его пока не знает. И нужно лишь терпеливо дожидаться — нарушить столь загадочную тишину у нее не хватает духа. Он по-прежнему обнимал ее, она чувствовала тяжесть его потного тела, такого близкого и такого незнакомого. Но рядом с ним так покойно. Покойно лежать в его объятиях.

Она поняла это, когда он пошевелился и отстранился, точно покидал навсегда. Нашел в темноте ее платье, натянул ей до колен, встал, застегнулся и оправил одежду на себе. Потом тихо открыл дверь и вышел.

Конни увидела, что на верхушках дубов догорали закатные блики, а в небе уже поднялся молодой серебряный месяц. Она вскочила, застегнула платье, проверила, все ли опрятно, и направилась к двери.

Кустарник подле дома уже сокрылся в суме-

речных тенях. Но небо еще светло и прозрачно, хотя солнце и зашло. Егерь вынырнул из темных кустов, белое лицо выделялось в густеющих сумерках, но черты не разобрать.

— Ну что, пойдем? — спросил он.

— Куда?

— Провожу до ворот усадьбы.

Наскоро управившись кое с какими делами, он запер дверь и пошел вслед за Конни.

— Вы не жалеете, что так вышло? — спросил он, поравнявшись с ней.

— Нет! Нет! А вы?

— Нисколько! — и, чуть погодя, прибавил: — Хотя много всяких «но».

— Каких «но»? — не поняла Конни.

— Сэр Клиффорд. Все прочее. Да мало ли нервотрепки.

— Почему нервотрепки? — огорчилась Конни.

— Так уж испокон веков. И вам нервы помотают тоже. Испокон веков так, — и размеренно зашагал дальше.

— Значит, вы все-таки жалеете? — переспросила она.

— Отчасти, — взглянув на небо, ответил он. — Думал, что уж навсегда с этим разделался. И на тебе — все сначала!

— Что — все сначала?

— Жизнь.

— Жизнь?! — повторила она почему-то трепетно.

— Да, жизнь, — сказал он. — От нее не спрячешься. А если и удается тихую заводь найти, почитай, что уж и не живешь, а похоронил себя заживо. Что ж, если суждено кому снова мне душу всю разворотить, значит, так тому и быть.

Конни все представлялось по-иному, и все же…

— Даже если это любовь? — улыбнулась она.

— Что бы там ни было, — ответил он.

Почти до самых ворот они шли по темному лесу молча.

— Разве вы и меня ненавидите? — спросила она задумчиво.

— Нет, конечно же нет! — И он вдруг крепко прижал ее к груди, страсть снова потянула его к этой женщине. — Нет, мне было очень-очень хорошо. А вам?

— И мне было хорошо, — немного слукавила она, ибо тогда почти ничего не чувствовала.

Он нежно-нежно поцеловал ее, нежно и страстно.

— Как жаль, что на свете так много других людей, — грустно заметил он.

Конни рассмеялась. Они подошли к усадебным воротам. Меллорс открыл их, впустил Конни.

— Дальше я не пойду, — сказал он.

— Хорошо! — Она протянула руку, наверное, попрощаться. Но он взял ее за обе руки.

— Прийти ли мне еще? — неуверенно спросила она.

— Конечно! Конечно!

И Конни направилась через парк к дому.

Он отошел за ворота и долго смотрел ей вслед. Серые сумерки на горизонте сгущались подле дома, и в этой мгле все больше растворялась Конни. Она пробудила в нем едва ли не досаду: он, казалось бы, совсем отгородился от жизни, а Конни снова вовлекает его в мир. Дорого придется ему заплатить — свободой, горькой свободой отчаявшегося человека. И нужно-то ему лишь одно: оставаться в покое.

Он повернулся и пошел темным лесом. Кругом спокойно, безлюдно, на небе уже властвует луна. И все-таки чуткое ухо улавливало ночные звуки: далеко-далеко на шахте чухают маленькие составы с вагонетками, шуршат по дороге машины. Не спеша влез он на плешивый пригорок. Оттуда видна долина: рядами бежали огоньки на «Отвальной», чуть поменьше — на «Тивер-

шолльской». Кучка желтых огней — в самой деревне. Повсюду рассыпались огни по долине. Совсем издалека прилетали слабые розоватые сполохи сталеплавильных печей. Значит, в эти минуты по желобу устремляется огненно-белая струя металла. «Отвальная» светит резкими, недобрыми электрическими огнями. В них — средоточие зла, хотя словами это не объяснить. В них — напряженная и суетливая рабочая ночь. Вот в подъемники на «Отвальной» загрузилась очередная партия углекопов — шахта работает в три смены.

Он снова нырнул во мрак леса: там уединение и покой. Нет, нет ему покоя, он просто пытается себя обмануть. Уединение его нарушается шумом шахт и заводов, злые огни вот-вот прорежут тьму, выставят его на посмешище. Нет, нигде не сыскать человеку покоя, нигде не спрятаться от суеты. Жизнь не терпит отшельников. А теперь, сблизившись с этой женщиной, он вовлек себя в новую круговерть мучений и губительства. Он знал по опыту, к чему это приводит.

И виновата не женщина, не любовь, даже не влечение плоти. Виновата жизнь, что вокруг: злобные электрические огни, адский шум и лязг машин. В царстве жадных механизмов и

механической жадности, там, где слепит свет, льется раскаленный металл, оглушает шум улиц, и живет страшное чудовище, виновное во всех бедах, изничтожающее всех и вся, кто смеет не подчиниться. Скоро изничтожится и этот лес, и не взойдут больше по весне колокольчики. Все хрупкие, нежные создания природы обратятся в пепел под огненной струей металла.

С какой нежностью вдруг вспомнилась ему женщина! Бедняжка. До чего ж обделена она вниманием, а ведь красива, хоть и сама этого не понимает. И уж конечно, не место такой красоте в окружении бесчувственных людей; бедняжка, душа у нее хрупка, как лесной гиацинт, не в пример нынешним женщинам: у тех души бесчувственные, точно из резины или металла. И современный мир погубит ее, непременно погубит, как и все, что по природе своей нежно. Да, нежно! В душе этой женщины жила нежность, сродни той, что открывается в распустившемся гиацинте; нежность, неведомая теперешним пластмассовым женщинам-куклам. И вот ему выпало ненадолго согреть эту душу теплом своего сердца. Ненадолго, ибо скоро ненасытный бездушный мир машин и мошны сожрет и их обоих.

Он пошел домой, ружье за спиной да собака — вот и все его спутники. В доме темно. Он зажег свет, затопил камин, собрал ужин, хлеб, сыр, молодой лук да пиво. Он любил посидеть один, в тишине. В комнатке чистота и порядок, только уюта недостает. Впрочем, ярко горит огонь в камине, светит керосиновая лампа над столом, застеленным белой клеенкой. Он взялся было за книгу об Индии, но сегодня что-то не читалось. Сняв куртку, присел к камину, однако, изменив привычке, не закурил, а поставил рядом кружку пива. И задумался о Конни.

По правде говоря, он жалел о случившемся. Ему было страшно за нее. Бередили душу дурные предчувствия. Нет, отнюдь не сознание содеянного зла или греха. Из-за этого совесть его не мучила. Ибо что такое совесть, как не страх перед обществом или страх перед самим собой. Себя он не боялся. А вот общества — и это он сознавал отчетливо — нужно бояться. Чутье подсказывало, что общество — чудовище злонамеренное и безрассудное.

Вот если б на всем белом свете остались только двое: он и эта женщина! Снова всколыхнулась страсть, птицей встрепенулось его естество. Но вместе с этим давил, гнул к земле страх — нельзя

показываться Чудищу, что злобно таращится электрическим глазом. Молодая страдалица виделась ему лишь молодой женщиной, которой он овладел и которую возжелал снова.

Он потянулся, зевнул (неужели зевают и от страсти?). Вот уже четыре года живет отшельником — ни мужчины, ни женщины рядом. Он встал, снова надел куртку, взял ружье, прикрутил фитиль в лампе и вышел; на темном небе горели россыпи звезд. Собака увязалась следом. Страсть и страх перед злокозненным Чудищем погнали его из дома. Медленно, неслышно обошел он лес. Так приятно укрываться в ночи, прятать переполняющую его страсть, прятать, точно сокровище. И тело его чутко внимало чувству, в паху вновь занимался огонь! Эх, если б у него нашлись соратники, чтоб одолеть сверкающее электрическое Чудище, чтоб сохранить нежность жизни, нежность женщин и дарованные природой богатства — чувства. Если б только у него нашлись соратники! Увы, все мужчины там, в мире суеты, они гордятся Чудищем, ликуют, жадные механизмы и механическая жадность сокрушают людей.

Констанция же спешила тем временем через парк домой и ни о чем не задумывалась. Пока не задумывалась. Успеть бы к ужину.

У входа она досадливо поморщилась: дверь заперта, придется звонить. Открыла ей миссис Болтон.

— Наконец-то, ваша милость! Я уже подумала, не заблудились ли вы? — игриво защебетала она. — Сэр Клиффорд, правда, еще о вас не справлялся. У него в гостях мистер Линли, они сейчас беседуют. Вероятно, гость останется на ужин?

— Вероятно, — отозвалась Конни.

— Прикажете задержать ужин минут на пятнадцать? Чтоб вы успели не торопясь переодеться.

— Да, пожалуйста.

Мистер Линли — главный управляющий шахтами — пожилой северянин, по мнению Клиффорда, недостаточно напорист. Во всяком случае по теперешним, послевоенным Меркам и для работы с теперешними шахтерами, которым главное «не особенно надрываться». Самой Конни мистер Линли нравился, хорошо, что приехал без льстивой жены.

Линли остался отужинать, и Конни разыграла столь любимую мужчинами хозяйку: скромную, предупредительную и любезную, в больших голубых глазах — смирение и покой, надежно скрывающие ее истинное состояние. Так часто приходилось играть эту роль, что она стала вто-

рой натурой Конни, ничуть не ущемляя натуру истинную. Очень странно: во время «игры» из сознания Конни все остальное улетучивалось.

Она терпеливо дожидалась, пока сможет подняться к себе и предаться, наконец, своим мыслям. Похоже, долготерпение — самая сильная ее сторона.

Но и у себя в комнате она не смогла сосредоточиться, мысли путались. Что решить, как ей быть? Что это за мужчина? Впрямь ли она ему понравилась? Не очень, подсказывало сердце. Да, он добр. Теплая, простодушная доброта, нежданная и внезапная, подкупила не столько ее душу, сколько плоть. Но как знать, может, и с другими женщинами он добр, как и с ней? Пусть, все равно, ласка его чудесным образом успокоила, утешила. И сколько в нем страсти, крепкого здоровья! Может, не хватает ему самобытности, ведь к каждой женщине нужен свой ключ. А он, похоже, одинаков со всеми. Для него она всего лишь женщина.

Может, это и к лучшему. В конце концов, он, в отличие от других мужчин, увидел в Конни женщину и приласкал. Прежде мужчины видели в ней лишь человека, а женского начала попросту не замечали или того хуже — презирали. С

Констанцией Рид или леди Чаттерли мужчины были чрезвычайно любезны, а вот на ее плоть любезности не хватало. Этот же мужчина увидел в ней не Констанцию или леди Чаттерли, а женщину — он гладил ее бедра, грудь.

Назавтра она снова пошла в лес. День выдался тихий, но пасмурный. У зарослей лещины на земле уже показался сочно-зеленый пушок, деревья молча тужились, выпуская листья из почек. Она чувствовала это всем телом: накопившиеся соки ринулись вверх по могучим стволам к почкам и напитали силой крохотные листочки, огненно-бронзовые капельки. Словно полноводный поток устремился вверх, к небу и напитал кроны деревьев.

Она вышла на поляну, но егеря там не было. Да она и не очень-то надеялась встретить его. Фазанята уже выбирались из гнезд и носились, легкие как пушинки, по поляне, а рыжие куры в гнездах тревожно кудахтали. Конни села и принялась ждать. Просто ждать. Она смотрела на фазанят, но вряд ли видела их. Она ждала.

Время едва ползло, как в дурном сне. Егеря все не было. Да она и не очень-то надеялась встретить его. После обеда он обычно не приходил. А ей пора домой, к чаю. Как ни тяжко, нужно идти.

По дороге ее захватило дождем.

— Что, снова льет? — спросил Клиффорд, увидев, что жена отряхивает шляпу.

— Да нет, чуть моросит.

Чай она пила молча, поглощенная своими мыслями. Как хотелось ей увидеть сегодня егеря, убедиться, что все — самая взаправдашняя правда.

— Хочешь, я почитаю тебе? — спросил Клиффорд.

Она взглянула на мужа. Неужели что-то почуял?

— Весной со мной всегда непонятное творится. Пожалуй, я немного полежу.

— Как хочешь. Надеюсь, ты не заболела?

— Ну что ты. Просто сил нет — так всегда по весне. Ты позовешь миссис Болтон поиграть в карты?

— Нет. Лучше я послушаю радио.

И в его голосе ей послышалось довольство. Она поднялась в спальню. Услышала, как муж включил приемник. Диктор дурацким бархатно-въедливым голосом, распространялся об уличных зазывалах и сам весьма усердствовал: любой глашатай стародавних времен позавидует.

Конни натянула старый лиловый плащ и вышмыгнула из дома через боковую дверь.

Изморось кисеей накрыла все вокруг — таинственно, тихо и совсем не холодно. Она быстро шла парком, ей даже стало жарко — пришлось распахнуть легкий дождевик.

Лес стоял под теплым вечерним дождем, молчаливый, спокойный, загадочный, зарождается жизнь и в птичьих яйцах, и в набухающих почках, и в распускающихся цветах. Деревья голые, черные, словно сбросили одежды, зато на земле уже выстлался зеленый-зеленый ковер.

На поляне по-прежнему никого. Птенцы укрылись под крыльями квочек, лишь два-три самых отчаянных бродили по сухому пятачку под соломенным навесом. На ножках держались они еще неуверенно.

Итак, егерь не приходил. Видно, нарочно обходил сторожку стороной. А может, что случилось? Может, наведаться к нему домой?

Наверное, ей на роду написано ждать. Своим ключом она отперла дверь. В сторожке чисто. В банке — зерно, в углу — аккуратно сложена свежая солома. На гвозде висит фонарь-«молния». Стол и стул на том месте, где вчера лежала она.

Конни села на табурет у двери. Как все покой-

но! По крыше шуршит дождь, на окне — паутина мелких капель, ни ветерка. В сторожке и в лесу тихо. Богатырями высятся деревья, темные в сумеречных тенях, молчаливые, полные жизни. Все вокруг живет!

Скоро ночь, значит, пора уходить. Егерь, видно, избегает ее.

И тут он неожиданно появился на поляне, в черной клеенчатой куртке, какие носят шоферы, блестящей от дождя. Взглянул на сторожку, приветственно поднял руку и круто повернул к клеткам. Молча присел подле них, внимательно оглядел, тщательно запер на ночь. И только потом подошел к Конни. Она все сидела на табурете у порога. Он остановился у крыльца.

— Значит, пришли! — по-местному тягуче проговорил он.

— Пришла! — Она посмотрела ему в лицо. — А вы что-то припоздали.

— Да уж, — и он отвел взгляд в сторону леса.

Она медленно встала, отодвинула табурет и спросила:

— А вы хотели прийти?

Он пытливо посмотрел на нее.

— А что люди подумают? Дескать, чего это она наладилась сюда по вечерам?

— Кто, что подумает? — Конни растерянно уставилась на егеря. — Я ж вам сказала, что приду. А больше никто не знает.

— Значит, скоро узнают. И что тогда?

Она снова растерялась и ответила не сразу.

— С чего бы им узнать?

— А о таком всегда узнают, — обреченно ответил он.

Губы у нее дрогнули.

— Что ж поделать, — запинаясь, пробормотала она.

— Да ничего. Разве что не приходить сюда… если будет на то ваша воля, — прибавил он негромко.

— Не будет! — еще тише ответила она.

Он снова отвел взгляд, помолчал.

— Ну, а когда все-таки узнают? — наконец спросил он. — Подумайте хорошенько. Вас с грязью смешают: надо ж, с мужниным слугой спуталась.

Она взглянула на него, но он по-прежнему смотрел на деревья.

— Значит ли это… — она запнулась, — значит ли это, что я вам неприятна?

— Подумайте! — повторил он. — Прознают люди, сэр Клиффорд, пойдут суды-пересуды.

— Я могу и уехать.

— Куда?

— Куда угодно. У меня есть свои деньги. От мамы мне осталось двадцать тысяч, я уверена, Клиффорд к ним не притронется. Так что я могу и уехать.

— А если вам не захочется?

— Мне все равно, что со мной будет.

— Это так кажется! Совсем не все равно! Безразличных к своей судьбе нет, и вы не исключение. Не забудете вы, ваша милость, что связались с егерем. Будь я из благородных — дело совсем иное. А так — как бы вам жалеть не пришлось.

— Не придется. На что мне всякие титулы! Терпеть их не могу! Мне кажется, люди всякий раз насмехаются, обращаясь ко мне «ваша милость». И впрямь, ведь насмехаются! Даже у вас и то с насмешкой выходит.

— У меня?!

Впервые за вечер он посмотрел ей прямо в лицо.

— Я над вами не насмехаюсь.

И она увидела, как потемнели у него глаза, расширились зрачки.

— Неужто вам все равно, даже когда вы так рискуете? — Голос у него вдруг сделался хриплым. — Подумайте. Подумайте, пока не поздно.

В словах его удивительно сочетались угроза и мольба.

— Ах, да что мне терять, — досадливо бросила Конни. — Знали б вы, чем полнится моя жизнь, поняли б, что я рада со всем этим расстаться, но, быть может, вы боитесь за себя?

— Да, боюсь! — резко заговорил он. — Боюсь! Всего боюсь.

— Например?

Он лишь дернул головой назад — дескать, вон, кругом все страхи.

— Всего боюсь! И всех! Людей!

И вдруг нагнулся, поцеловал ее печальное лицо.

— Не верьте. Мне тоже наплевать. Будем вместе, и пусть все катятся к чертовой бабушке. Только б вам потом жалеть не пришлось!

— Не отказывайтесь от меня, — истово попросила она.

Он погладил ее по щеке и снова поцеловал — опять так неожиданно — и тихо сказал:

— Тогда хоть пустите меня в дом. И снимайте-ка плащ.

Он повесил ружье, стащил с себя мокрую куртку, полез за одеялами.

— Я еще одно принес. Так что теперь есть чем

укрыться.

— Я совсем ненадолго, — предупредила Конни. — В половине восьмого ужин.

Он взглянул не нее, тут же перевел взгляд на часы.

— Будь по-вашему. — Запер дверь, зажег маленький огонек в фонаре.

— Ничего. Мы свое еще возьмем, успеется.

Он аккуратно расстелил одеяла, одно скатал валиком ей под голову. Потом присел на табурет, привлек Конни к себе, обнял одной рукой, а другой принялся гладить ее тело. Она почувствовала, как у него перехватило дыхание. Под плащом на Конни были лишь нижняя юбка да сорочка.

— Да такого тела и коснуться — уже счастье! — прошептал он, нежно оглаживая ее торс — кожа у Конни была шелковистая, теплая, загадочная. Он приник лицом к ее животу, потерся щекой, стал целовать бедра. Она не могла взять в толк, что приводит его в такой восторг, не понимала красы, таившейся в ней, красы живого тела, красы, что сама — восторг! И откликается на нее лишь страсть. А если страсть спит или ее нет вообще, то не понять величия и великолепия тела, оно видится едва ли не чем-то постыдным. Она ощущала, как льнет его щека то к ее бедрам,

то к животу, то к ягодицам. Чуть щекотали усы и короткие мягкие волосы. У Конни задрожали колени. Внутри все сжалось — будто с нее сняли последний покров. «Зачем, зачем он так ласкает, — в страхе думала она, — не надо бы». Его ласки заполняли ее, обволакивали со всех сторон. И она напряженно выжидала.

Но вот он вторгся в ее плоть, неистово, жадно, словно торопился сбросить тяжкое бремя, и сразу исполнился совершенным покоем, она все выжидала, чувствуя себя обойденной. Отчасти сама виновата: внушила себе эту отстраненность. Теперь, возможно, всю жизнь страдать придется. Она лежала не шевелясь, чувствуя глубоко внутри биение его сильной плоти. Вот его пронзила дрожь, струей ударило семя, и мало-помалу напряжение стало спадать. Как смешно напрягал он ягодицы, стараясь глубже внедриться в ее плоть. Да, для женщины, да еще причастной ко всему этому, сокращение ягодиц, да и все телодвижения мужчины кажутся в высшей степени смешными. Да и сама поза мужчины, и все его действия так смешны!

Однако Конни лежала не шевелясь, и душа ее не корчилась от омерзения. И когда он кончил, она даже не попыталась возобладать над ним,

чтобы самой достичь удовлетворения (как некогда с Микаэлисом). Она лежала не шевелясь, и по щекам у нее катились слезы.

Он тоже лежал тихо, но по-прежнему крепко обнимал ее, старался согреть ее худые голые ноги меж своими. Тесно прижавшись к ней, он отдавал ей свое тепло.

— Замерзла? — прошептал он нежно, как самой близкой душе. А душа эта, меж тем, была далеко, чувствуя себя обойденной.

— Нет. Мне пора, — тихо отозвалась она.

Он вздохнул, еще крепче обнял и отпустил. О том, что она плакала, он и не догадывался. Он думал, что она здесь, рядом, не только телом, но и душой.

— Мне пора, — повторила она.

Он приподнялся и, стоя на коленях, поцеловал ей ноги. Потом оправил на ней юбку, застегнул одежду на себе. Делал он все механически, даже не глядя по сторонам, — его слабо освещал фонарь на стене.

— Заглядывай ко мне, когда захочется, — сказал он, глядя на нее сверху вниз, и лицо у него было ласковое, покойное и уверенное.

Конни недвижно лежала на полу, смотрела на егеря и думала: нет, этот мужчина чужой, чужой!

В душе даже шевельнулась неприязнь.

Он надел куртку, поднял упавшую шляпу, повесил на ружье.

— Ну же, вставай! — И взгляд его был все так же ласков и покоен.

Она медленно поднялась. Ей не хотелось уходить. Но и оставаться тошно. Он накинул ей на плечи тонкий плащ, оправил его. Потом открыл дверь. За порогом уже стемнело. Собака у крыльца вскочила и преданно уставилась на хозяина. С мглистого неба сыпал унылый дождь. Близилась ночь.

— Может, мне фонарь засветить? — спросил егерь. — Все равно в лесу никого нет.

Он шагал впереди, освещая узкую тропу фонарем, держа его низко, над блестящей от дождя травой, над свитыми в змеиный клубок корневищами, над поникшими цветами. А все вокруг за кисеей измороси тонуло в кромешной тьме.

— Заглядывай в сторожку, когда захочется, — повторил он. — Хорошо? Все одно: семь бед — один ответ.

Ей была удивительна и непонятна его ненасытная тяга к ней. Ведь их же, по сути, ничто не связывало. Он толком ни разу с ней не поговорил. А то, что она слышала, резало слух Конни, хоть в

душе она и сопротивлялась, — грубостью, просторечием. Это его «заглядывай ко мне», казалось, обращено не к ней, Конни, — а к простой бабе. Вот под лучом фонаря мелькнули листья наперстянки, и Конни сообразила, где они находятся.

— Сейчас четверть восьмого, — успокоил он, — ты успеешь.

Почувствовав, что его речь отвращает ее, он заговорил по-иному. Вот и последний поворот аллеи, сейчас покажутся заросли орешника, а за ними — ворота. Он потушил фонарь.

— Здесь уже не заплутаемся, — сказал он и ласково взял ее под руку.

Идти в темноте трудно, не угадать, что под ногами — кочка или рытвина. Егерь шел едва ли не на ощупь, ему не привыкать, и вел ее за собой. У ворот он дал ей свой электрический фонарик.

— В парке-то хоть и не так темно, все ж возьми, вдруг с тропинки собьешься.

И верно, деревья в парке росли реже, и меж ними курилась серебристо-серая призрачная дымка. Вдруг егерь привлек Конни к себе, сунул холодную, мокрую руку ей под плащ и принялся гладить ее теплое тело.

— За то, чтоб такой женщины, как ты, коснуться, жизни не пожалею. — Голос у него сорвался. —

Подожди, ну хоть минутку подожди.

И вновь она почувствовала его неуемную страсть.

— Нет-нет, мне и так бегом придется бежать. — Конни даже слегка испугалась.

— Понимаю, — кивнул он, понурился и отпустил ее.

Она уже на ходу вдруг задержалась на мгновенье и обернулась.

— Поцелуй меня.

Во тьме его было уже не различить, она лишь почувствовала, как его губы коснулись левого глаза. Чуть отвела голову, нашла его губы своими, и он скоро и нежно поцеловал ее. Раньше он терпеть не мог целоваться в губы.

— Я приду завтра, — пообещала она, отходя, — если смогу.

— Хорошо! Только не так поздно, — донеслось до нее из тьмы. Мглистая ночь поглотила егеря.

— Спокойной ночи! — попрощалась она.

— Спокойной ночи, ваша милость! — откликнулась мгла.

Конни остановилась, пристально вглядываясь в дождливую ночь. Но разглядела лишь темный силуэт егеря.

— Почему ты так сказал? — спросила она.

— Да так, — донеслось до нее. — Покойной ночи. Тебе нужно спешить.

И она нырнула в кромешную мглу. Боковая дверь усадьбы оказалась открытой, и ей удалось незаметно прошмыгнуть наверх. Не успела она закрыть за собой дверь, как прозвучал гонг — пора ужинать. Нет, сперва она примет ванну, нужно непременно принять ванну. «Ни за что больше не буду опаздывать! — пообещала она самой себе. — Только нервы трепать».

На следующий день она не пошла в лес, а поехала с Клиффордом в Атуэйт. Изредка он позволял себе выезжать из усадьбы. Шофером у него служил крепкий парень, способный, в случае надобности, вынести хозяина из машины. Клиффорду вдруг захотелось повидать своего крестного отца, Лесли Уинтера. Он жил в усадьбе Шипли неподалеку от Атуэйта. Был он уже немолод, богат — из тех шахтовладельцев, кто процветал при короле Эдуарде. Его Величество и сам наведывался в Шипли поохотиться. Сердце усадьбы — старинный дом, изукрашенный лепниной, со вкусом обставленный: мистер Уинтер жил холостяком и весьма гордился убранством дома. Впечатление портили только бесчисленные шахты окрест. Клиффорда он любил, но

особого уважения как к писателю не питал — уж слишком часто мелькали в газетах и журналах имя и фотографии крестника. Старик, как неколебимый эдвардианец, считал, что жизнь есть жизнь и всякие щелкоперы к ней касательства не имеют. С Конни старый дворянин держался неизменно любезно. Он считал ее красивой, скромной женщиной, и жизнь ее с Клиффордом, конечно же, лишена смысла. Весьма прискорбно, что ей не доведется дать жизнь наследнику Рагби. У самого Уинтера наследника не было.

Интересно, думала Конни, что старик скажет, узнай он о ее связи с мужниным егерем, который предлагает «заглянуть в сторожку, когда захочется». Старый джентльмен, наверное, поморщится от презрения и отвращения. Он не выносил, когда чернь тщилась попасть «из грязи в князи». Будь у нее любовник ее круга, он бы и словом не попрекнул: ведь у Конни такой дар — женственность в сочетании со скромностью и смирением, именно в этом ее суть. Уинтер звал ее «милая девочка» и буквально навязал ей в подарок красивую миниатюру, портрет дамы в костюме восемнадцатого века.

Конни невольно сравнивала каждого с егерем. Вот мистер Уинтер — настоящий джентльмен,

светский, воспитанный человек, относится к ней как к личности, выделяет ее среди прочих, для него она не просто одна из тысячи обыкновенных женщин, он не позволит себе обратиться к ней на «ты».

Не пошла она в лес и через день, и через два. Пока он ждет ее, пока вожделеет (как ей представлялось), она не пойдет. Однако на четвертый день она уже не находила себе места, ее охватила тревога. Нет, все равно не пойдет в лес, не отдаст свое тело этому мужчине. Надо себя чем-то занять: поехать ли в Шеффилд, навестить ли кого. Однако даже думать об этом невыносимо. Наконец, она решила прогуляться, но пошла не к лесу, а в противоположную сторону — через железные воротца в другом конце парка. Тихий, пасмурный весенний денек, совсем не холодно. Она шла, погрузившись в раздумья, ненарочные, неосознанные. Она шла, ничего не замечая вокруг. Но вот залаяли собаки, и Конни от неожиданности вздрогнула — она забрела во владения соседей, на ферму Мэрхей. Их пастбища примыкали к парку Рагби. Давненько Конни здесь не бывала.

— Милка! — позвала она большого белого бультерьера. — Милка! Ты меня не узнала? Неужели забыла?

Конни боялась собак. Милка чуть отступила и продолжала неистово лаять. Не пройти Конни к охотничьему заповеднику.

Вышла миссис Флинт, ровесница Констанции, в прошлом — учительница. Конни она не нравилась, чувствовалась в ней неискренность.

— Никак леди Чаттерли! Надо ж! — Глаза у миссис Флинт заблестели, она смущенно, по-девичьи зарделась. — Эх, Милка! Как не стыдно лаять на леди Чаттерли! Ну-ка, замолчи! — Она подбежала к собаке и огрела ее тряпкой. Только потом подошла к Конни.

— Раньше она меня признавала, — заметила Конни, пожимая руку соседке. Семья Флинтов арендовала у Чаттерли землю.

— Да она и сейчас вас помнит. Просто норов показывает, — расплывшись в улыбке, сияя, не сводя с Конни чуть смущенного взгляда, сказала миссис Флинт. — Да и впрямь, давненько она вас не видела. Надеюсь, вы себя лучше чувствуете?

— Благодарю вас. Я здорова.

— Мы ведь всю зиму вас, можно сказать, и не видели. Не соизволите ли в дом, я вам свою малышку покажу.

— Хорошо, зайду. Но только на минутку.

Миссис Флинт ринулась вперед — наводить по-

рядок, Конни медленно пошла следом, войдя на кухню, нерешительно остановилась. На плите в чайнике кипела вода. Подоспела миссис Флинт.

— Вы уж меня простите, ради Бога. Заходите, пожалуйста.

Они вошли в комнату. Перед камином на коврике сидела маленькая девочка. Стол на скорую руку накрыт к чаю. Неуклюжая и робкая молодая служанка спряталась в коридоре. Малышка была бойкой, рыжеволосой — в отца, с голубыми пытливыми глазами и явно не из пугливых. Она сидела меж подушек, на полу валялись тряпичные куклы и, как теперь принято в семьях, множество игрушек.

— Ой, какая славная девочка! И как выросла! Совсем большая!

Когда малышка появилась на свет, Конни подарила ей шаль, а к Рождеству — целлулоидных утят.

— Ну-ка, Джозефина, посмотри, кто к нам пришел! Кто это, а? Это — леди Чаттерли, ты ее узнала?

Отважная кроха беззастенчиво уставилась на Конни — в дворянских титулах она пока не разбиралась.

— Иди ко мне, маленькая! Ну? — И Конни про-

тянула руки.

Девочке, очевидно, было все равно. Конни подхватила ее с пола и усадила к себе на колени. До чего ж приятно чувствовать теплое, нежное тельце, трогать мягкие ручонки, безотчетно сучащие ножки!

— Я только что села чаю попить. Люк уехал на рынок, вот я свободой и пользуюсь. Выпьете со мной чашечку, а? Вы, конечно, не к такому чаю привыкли, но все ж не откажите.

Конни не отказала, хотя ее и укололо замечание хозяйки — мало ли, какой чай она пьет. Миссис Флинт принялась накрывать на стол заново, выставила лучшие чашки, самый нарядный чайник.

— Только вы. Бога ради, не хлопочите, — попросила Конни.

Но для миссис Флинт в этих хлопотах — самая радость. Конни забавлялась с малышкой. Поразительно: такая кроха, а уже проснулось женское своеволие. Конни доставляло поистине чувственное наслаждение это маленькое, теплое тельце. Новая жизнь! Такая беззащитная, а потому и не ведающая страха! А взрослых страх держит в узилище!

Она выпила чашку крепкого чая, съела ломоть

вкусного хлеба с маслом и вареньем из терносли-ва. Миссис Флинт и стыдливо краснела, и сияла от счастья, и волновалась, точно перед ней не Конни, а храбрый рыцарь. Они разговорились, разговор получился задушевный, истинно жен-ский, и обе остались довольны.

— Вы уж простите за плохой чай, — вздохнула миссис Флинт.

— Что вы! Он много вкуснее, чем дома! — отве-тила Конни и не слукавила.

— Ну уж! — Миссис Флинт, конечно, не пове-рила.

Но вот Конни поднялась.

— Мне пора, — сказала она. — Муж знать не зна-ет, где меня искать. Еще подумает что-нибудь.

— Ему и в голову не придет, что вы у нас.

Миссис Флинт возбужденно хохотнула.

— Придется ему по всей округе гонцов рассы-лать.

— До свидания, Джозефина. — Конни поцело-вала малышку и взъерошила рыжие жесткие кудерьки.

Миссис Флинт по столь торжественному слу-чаю бросилась открывать наглухо запертую и заставленную вещами парадную дверь, что выводила в палисадник, огороженный кустами

бирючины. По обеим сторонам тропинки рядами выстроились пышные бархатные примулы.

— Какие красивые! — похвалила Конни.

— Мой Люк их примусы называет, — рассмеялась миссис Флинт. — Возьмите-ка с собой.

И принялась с готовностью срывать лимонно-желтые, с пушком цветы.

— Хватит! Хватит! — остановила ее Конни.

Они подошли к садовой калитке.

— Вы каким путем пойдете? — поинтересовалась миссис Флинт.

— Через заповедник.

— Подождите, посмотрю, загнали коров или нет. Нет еще. Ворота заперты, придется вам через ограду перелезать.

— Ничего, перелезу.

— Давайте-ка я вас хоть до загона провожу.

Они пошли по скудной — после кроличьих набегов — лужайке. В лесу птицы уже завели радостные вечерние песни. Пастух скликал отбившихся коров, и они медленно возвращались по исхоженной, с проплешинами луговине.

— Припоздали они сегодня с доением, — с упреком заметила миссис Флинт, — пользуются тем, что Люк Затемно вернется.

Они подошли к ограде, за которой топорщил

иголки молодой густой ельник. Калитка оказалась запертой. С другой стороны на траве стояла пустая бутылка.

— Это егерь оставил, для молока, — пояснила миссис Флинт. — Мы ему сюда молоко носим, а он потом забирает.

— Когда?

— Да когда ему случится мимо идти. Чаще по утрам. Ну, что ж! До свидания, леди Чаттерли! Приходите, не забывайте. Мы вам всегда рады.

Конни перелезла через ограду и оказалась на тропе меж густых молодых елей. А миссис Флинт бегом поспешила через пастбище домой. На голове у нее была смешная, старомодная шляпка, одно слово — учительница. Конни не понравился молодой ельник: очень мрачно, и дышать тяжело. Она ускорила шаг и опустила голову. Вспомнилась дочурка миссис Флинт. До чего ж милое дитя. Правда, ноги кривоваты, как у отца. Уже сейчас заметно, хотя, может, вырастет девочка — выправится. Как греет сердце ребенок! Как полноценна жизнь матери! И как бесстыдно миссис Флинт хвастала своим материнством! У нее есть то, чего нет и, скорее всего, никогда не будет у Конни. Да, миссис Флинт гордилась, и еще как! И Конни — совсем против воли — позавидовала

ей, пусть чуть-чуть, но позавидовала.

Вдруг она вздрогнула и даже вскрикнула от страха. На тропе стоял мужчина! Стоял недвижно, упрямо, точно Валаамова ослица, и преграждал ей путь. Это был егерь.

— Ты как здесь очутилась? — изумленно спросил он.

— А ты как? — еще не отдышавшись, прошептала Конни.

— Ты откуда? Из сторожки?

— Нет. Я была на ферме Мэрхей.

Он внимательно, испытующе посмотрел на нее, и она виновато потупилась.

— А сейчас куда? В сторожку? — сурово спросил он.

— Нет. Уже некогда. Я просидела у соседей, а дома не знают, где я. И так опаздываю. Впору бегом бежать.

— Ты меня избегаешь, что ли? — насмешливо спросил он.

— Нет, что ты! Мне только…

— Только что? — оборвал ее егерь. Подступил к ней, обнял. Она почувствовала, как он прижимается животом к ее телу, как шевелится, пробуждается его ненасытная плоть.

— Нет, не надо! Не сейчас! — выкрикнула она,

отталкивая его.

— Почему ж не сейчас? Только шесть! Еще есть полчаса. Не уходи! Не уходи! Мне без тебя плохо.

Он еще крепче обнял ее, и она почувствовала, сколь велико его желание. Первое побуждение Конни, укоренившееся с юности, — бороться. Вырваться на свободу. Но странное дело: что-то удерживало, не пускало, точно внутри тяжелые гири. Она чувствовала нетерпение его плоти, и сил бороться уже не осталось.

Егерь оглянулся.

— Пойдем! Пойдем вон туда! — Он углядел в чаще ельника прогалину с совсем юными деревцами. И позвал взглядом Конни. Но во взгляде его, неистовом и горящем, она не нашла любви. Впрочем, силы уже покинули ее. Ни шагу ступить. Ни руки поднять. Она подчинилась мужчине.

Меллорс потащил ее сквозь колючий, стеной стоявший ельник. С трудом пробрались они к прогалине, нашли кучу валежника. Егерь разворошил ее, расстелил куртку и жилет, сам остался в рубашке и брюках. Затравленно посмотрел на Конни и застыл, точно зверь перед прыжком. Но звериную страсть свою смирил: бережно-бережно помог ей лечь. Конни словно окаменела, и, раздевая ее в нетерпении, Меллорс порвал

застежки.

Он распахнул рубашку, и Конни почувствовала прикосновение его голой груди. С минуту он лежал на женщине не шевелясь, тело его напряглось и подрагивало. Потом неистово заходило вверх-вниз. И не в силах сдержать накопившееся сладострастие, он почти тут же разрядил себя. Как чутко вняла этому Конни: во чреве одна за другой покатились огненные волны. Нежные и легкие, ослепительно сверкающие; они не жгли, а плавили внутри — ни с чем не сравнимое ощущение. И еще: будто звенят-звенят колокольчики, все тоньше, все нежнее — так что вынести невмоготу. Конни даже не слышала, как вскрикнула в самом конце. Но до чего ж быстро — слишком быстро! — все разрешилось. Раньше она попыталась бы своими силами достичь удовлетворения, однако сейчас все совсем-совсем по-другому. Непослушны руки, неподвластно тело — не получится у нее больше использовать мужчину как орудие. Ей остается лишь ждать, ждать и, чувствуя, как внутри убывает и слабеет его плоть, лишь горестно стенать про себя. И вот настает ужасный миг — тела уже разъяты, — а все ее естество еще нежно внемлет чудесному гостю, взывает ему вслед — так актиния, эта

морская хризантема, каждым лепестком тянется за убывающей в отлив водой: вернись, вернись, напои меня и насыть. Конни бессознательно подалась вперед, снова прильнув к телу мужчины, и он застыл, долее не отстраняясь! Конни вновь почувствовала в себе его плоть. Словно внутри постепенно распускается прекрасный цветок, — наливается силой и растет в глубь ее чрева, все дальше и дальше, все больше и больше, заполняя все вокруг. И она уже не чувствует, как ритмично движется тело мужчины, опять волна за волной накатывает блаженство, все полнее и мощнее; оно достает до сокровеннейших уголков плоти и души, и вот уже волны эти захлестнули, поглотили без остатка, и крики, безотчетные и бессловесные, рвутся из груди Конни. Из чрева самой ночи рвется наружу жизнь! И мужчина, благоговея и робея, внял ей и выплеснул свои животворящие соки.

И с ними выплеснулась вся его страсть. Он затих, приходя в себя, разомкнулись и ее объятия, она тоже лежала неподвижно. Вряд ли они сейчас чувствовали друг друга рядом. Страсть ослепила и оглушила обоих. Вот он пошевелился, видно, вспомнил, что лежит голый, беззащитный — в лесу. И Конни почувствовала, как разделяются

их тела, как вновь она остается одна. Нет, нет, не смирится душа с этим! Он должен ее согревать и защищать всегда!

Но он поднялся, прикрыл Конни, оделся сам. А она засмотрелась на еловые лапы, не находя еще сил подняться. Он застегнул брюки, огляделся. Пусто, тихо в ельнике — ни звука, даже собака недоуменно и испуганно замерла, положив морду на лапы. Он присел на кучу валежника и молча взял Конни за руку.

Она повернулась, взглянула не него.

— Сегодня мы кончили одновременно, — сказал он.

Она промолчала.

— Какое счастье, — продолжал он. — Сколько мужей с женами всю жизнь проживут, а такого не изведают, — говорил он протяжно, как в полусне, и вид у него был блаженный.

Конни не спускала с него глаз.

— Как же они живут? — удивилась она. — А ты рад, что у нас так получилось?

Он взглянул ей в глаза.

— Рад… Впрочем, что об этом говорить. — Ему не хотелось, чтобы она продолжала. Нагнувшись, он поцеловал ее. Конни почувствовала: вот как нужно целовать. Пусть целует ее так всю жизнь.

Конечно, пора и ей подниматься.

— А что, разве мужчины и женщины редко кончают в одно время? — с простодушным любопытством спросила она.

— Многие и знать не знают, что это такое. — Он уже жалел, что затеял такой разговор.

— А тебе это со многими женщинами удавалось?

Он с улыбкой поглядел на нее.

— Откуда мне знать?

И она поняла: он никогда не расскажет того, чего не захочет. Она вгляделась в его лицо, и вновь внутри все зашлось — и вновь от страсти. Изо всех сил воспротивилась она вновь нахлынувшему чувству, ибо поддаться — значит потерять к себе всякое уважение.

Он надел жилет, куртку и пошел торить путь сквозь ельник, пронизанный косыми закатными лучами.

— Я, пожалуй, не пойду тебя провожать, — решил он.

Перед тем как уйти, она долго смотрела на него. Собаке уже не терпелось домой, да и хозяину, вроде бы, прибавить больше нечего. Ничего не осталось. Медленно брела Конни к усадьбе; она поняла, что перемена в ней произошла глубокая.

В недрах плоти народилась иная женщина — страстная, мягкая, податливая, души не чающая в егере. Настолько он ей люб, что ноги подгибаются, не хотят нести прочь. Все ее женское естество ожило, пришло в движение, открылось, не опасаясь своей уязвимости и беззащитности. В слепом обожании мужчины — любовь всякой простой души. Будто у меня во чреве дитя, казалось ей, и оно уже шевелится! Так все и было. Только понесла она не во чреве, а в душе, до сей поры запертой и тоже, как и чрево, ненужной. А сейчас она наполнилась новой жизнью; Конни почти ощущала ее бремя, но бремя любимое и дорогое. «Вот был бы у меня ребенок, — мечтала она, — или был бы этот мужчина моим ребенком!» И жарче бежала кровь в жилах. Поняла она и другое: родить ребенка вообще и родить от мужчины, о котором тоскует плоть, — далеко не одно и то же. В одном случае — она обычная женщина, в другом — совершенно иная, не похожая на былую Конни. Словно она прикоснулась к самой сути женского естества; к самому начатку жизни.

Отнюдь не страсть была ей внове, а какое-то неутолимое обожание. Конни всю жизнь страшилась этого чувства, ибо оно лишало сил. Спасалась она и сейчас: если ее обожание слишком велико,

она просто потеряет себя, исчезнет как личность, станет рабыней, как самая последняя дикарка. Но рабыней становиться нельзя. И она страшилась своего чувства к Меллорсу, однако бороться с этим чувством пока нет сил. Но побороть его можно. В сердце у Конни закалилась железная воля, которая в два счета справится с очевидным плотским влечением. Уже сейчас можно бы ополчиться на него — во всяком случае, Конни так казалось, — подчинить страсть своей воле.

Да, можно уподобиться вакханке и стремглав нестись по лесу навстречу с блистательным божеством — олицетворением фаллоса без какого-либо намека на чувства человеческие. Кто он? Так, услужливый божок. Потеха женской плоти! И незачем подпускать какие-то высокие мотивы. Он всего лишь служитель храма, где царит Фаллос, — он его хранитель и носитель, а она — Жрица.

Очередное откровение вновь разожгло былую страсть, только теперь мужчина сократился до своего презренного естества, стал лишь обладателем фаллоса. Ну, а когда он свою службу сослужит, его можно хоть в клочья разорвать. И она почувствовала в руках, во всем теле силу настоящей вакханки, быстрой, как ртуть, самки, способной

одолеть самца. Но на сердце было тяжело. Не хочется больше повелевать и верховодить. Все это бессмысленно и мертво. А обожание дает ей несметные богатства. Чувство это беспредельно, несказанно нежно, глубоко и… незнакомо. Нет, нет, прочь железная, несгибаемая воля. Устала Конни быть сильной, тесно душе в этих сверкающих доспехах. Сбросить их и окунуться в жизнь, чтобы снова во чреве взыграла радостная, бессловесная песня: обожаю и преклоняюсь! А бояться этого мужчины еще не время…

— Я к соседям на ферму Мэрхей заглянула, — объяснила она Клиффорду. — И миссис Флинт меня чаем напоила. А какая у нее дочка! Такая прелесть! Волосы — как рыжая паутинка. Мистер Флинт уехал на рынок, а мы чаевничали втроем — миссис Флинт, я и малышка. Ты небось не знал, что и подумать.

— Конечно, я волновался. Но потом понял, что ты к кому-то на чай заглянула, — не без ревности ответил Клиффорд. Он не увидел, а, скорее, почуял какую-то перемену в жене, какую — он пока не знал, но решил, что это из-за малышки. И все горести и хворобы жены потому, что у нее у самой нет ребенка, подумал Клиффорд, нет чтобы этак — раз! — и произвела на свет божий в одночасье.

— Я видела, ваша милость, как вы парком шли к выходу, думала, вы решили к нашему приходскому священнику наведаться, — сказала миссис Болтон.

— Верно, я собиралась, но потом свернула к ферме.

Женщины встретились взглядом. Серые, блестящие, пытливые глаза миссис Болтон и голубые, с поволокой, неброско красивые — Конни. Миссис Болтон почти не сомневалась, что у Конни есть любовник. Но вот как она его нашла и где? И кто он?

— Вам только на пользу сходить в гости, поболтать с людьми, — не замедлила ответить миссис Болтон. — Я уже говорила сэру Клиффорду, что ее милости полезно на людях бывать.

— Да, я и сама очень рада, — подхватила Конни. — Ой, Клиффорд, до чего ж славная девчушка, уже с норовом. Волоски пушистые, легкие, словно паутина. И рыжие-прерыжие. Смотрит смело, не стесняется, глаза голубые, как у куклы. Не девочка, а прямо пират маленький.

— Точно, ваша милость, — у Флинтов в семье все такие: настырные и блондины, — поддакнула миссис Болтон.

— А ты, Клиффорд, не хочешь на нее взглянуть?

Я пригласила их к нам на чай.

— Кого? — с беспокойством воззрился на жену Клиффорд.

— Миссис Флинт с малышкой. На понедельник.

— Ты сможешь их принять у себя в комнате, — решил муж.

— Разве тебе не хочется взглянуть на девочку?! — воскликнула Конни.

— Отчего ж, взгляну, только чаи распивать с ними не собираюсь.

— Ну что ж, — вздохнула Конни, голубые, словно дымкой подернутые глаза неотрывно смотрели на мужа, но видела она не его, а кого-то другого.

— У вас в комнате еще уютнее, — встряла миссис Болтон, — а миссис Флинт даже свободнее себя будет чувствовать без сэра Клиффорда.

Да, у нее, конечно же, есть любовник, обрадовавшись душой, подумала миссис Болтон. Но кто он? Кто? Может, миссис флинт принесет и отгадку.

В тот вечер Конни не стала принимать ванну. Его запах, его пот, оставшийся у нее на теле, — как самые дорогие реликвии, почти что святыни.

Неспокойно было на сердце у Клиффорда. Он не

отпустил Конни после ужина, а ей так хотелось побыть одной. Но она лишь пытливо взглянула на мужа и подчинилась.

— Чего бы тебе хотелось? — натянуто спросил он. — Поиграть в карты? Или чтобы я почитал вслух? Или еще чего-нибудь?

— Вслух почитай.

— Что хочешь: стихи или прозу? Может, пьесу?

— Почитай из Расина, — попросила Конни.

Когда-то это было его коньком, он читал Расина с истинно французским шиком, сейчас же блеску поубавилось, он это чувствовал и досадовал. С куда большим удовольствием он послушал бы радио. А Конни шила крохотное шелковое платьице — из своего старого желтого — для дочки миссис Флинт. Она успела выкроить его еще до ужина и сейчас, не слушая громогласного чтеца, безмолвно сидела, а в душе ее разливалось тихое благоговение.

Изредка его нарушали редкие всполохи страсти — точно отголоски малинового звона.

Клиффорд что-то спросил ее о Расине, и смысл едва не упорхнул от нее вслед за словами.

— О да! Конечно! — кивнула она и посмотрела мужу в лицо. — Это и впрямь великолепно!

И снова его пронзил страх перед этим горящим

взором ярко-синих глаз, перед этим внешним тихим спокойствием жены. Никогда не видел он жену такой. Теперешняя Конни буквально завораживала, не было сил противиться ее чарам, ее колдовской аромат одурманил и сковал Клиффорда. Он продолжал читать (а что еще ему оставалось!), гнусавя и грассируя, а ей казалось, что это ветер гудит в дымоходах. Ни одного слова из Расина она так и не поняла.

Тихое благоговение поглотило ее, точно весенний лес, с радостным вздохом тянущий ветви с набухшими почками навстречу солнцу, теплу. И рядом с ней, в этом лесу мужчина, даже имени которого она не знает. Его несут вперед чудесные сильные ноги, меж ними — чудесная тайна мужского естества. В каждой клеточке своего тела ощущала Она этого мужчину, в каждой капельке крови — его дитя. Мысль об этом нежила и согревала, как лучи закатного солнца.

Ни рук своих, ни ног, ни глаз не помня.
Ни золота волос…

Она — дубрава, темная и густая, и на каждой ветке бесшумно лопаются тысячи и тысячи почек. И в сплетенье ветвей, что суть ее тело, притихли, заснули до поры птицы желания.

А Клиффорд все читал, булькали и рокотали непривычные звуки. До чего ж он чудной! До чего ж он чудной: склонился над книгой, хищник, но образован и культурен; инвалид, но широк в плечах. Какое странное существо! Все словно у ястреба, подчинено сильной, несгибаемой воле. Но ни искорки тепла: ни единой искорки! Он из тех грядущих страшилищ, у которых вместо души лишь тугая пружина воли, холодной и хищной. Конни стало страшно, она даже поежилась. Но в конце концов лучик жизни, слабый, но такой теплый, пересилил страх в душе: Клиффорд и не догадывается пока, что к чему.

Чтение оборвалось. Конни испуганно вздрогнула, подняла голову и испугалась пуще прежнего: Клиффорд неотрывно смотрел на нее; в белесых глазах затаилось что-то жуткое и ненавидящее.

— Спасибо тебе большое! Ты прекрасно читаешь Расина, — тихо проговорила она.

— А ты почти так же прекрасно слушаешь, — безжалостно укорил он и, помолчав, спросил. — А что это ты шьешь?

— Платьице для дочки миссис Флинт.

Он отвернулся. Ребенок! Все мысли у нее только о ребенке! Одержимая!

— Ну что ж, — значительно произнес он, —

каждый находит в Расине то, что ищет. Чувства упорядоченные, заключенные в красивую форму, значительнее чувств стихийных.

Конни смотрела на него во все глаза, но взгляд был отсутствующий, он что-то скрывал.

— Ты, безусловно, прав, — только и сказала она.

— Современный мир лишь опошлил чувства, выпустив их за определенные рамки. Во все времена существовали ограничения, их-то нам сейчас и не хватает.

— Верно, — кивнула Конни, думая о самом Клиффорде. Как зачарованно слушает он радио, и у диктора чувств не больше, чем у истукана, — люди только притворяются, на самом же деле ничего-то они не чувствуют. Одни лишь выдумки.

Он, видно, изрядно устал. Вечернее бдение над книгой так утомительно. С большим бы удовольствием он полистал работы по рудничному делу, или поболтал бы с управляющим, или послушал бы радио.

Вошла миссис Болтон, принесла два бокала молока с солодом: Клиффорду — чтобы лучше спал, Конни — чтобы избавиться от худобы. Таково было ее нововведение.

Конни выпила молока, слава Богу, можно теперь уйти. Хорошо, что не приходится ей укладывать Клиффорда в постель. Она поставила мужнин пустой стакан на поднос, взяла его и пошла к двери.

— Спокойной ночи, Клиффорд! Приятных снов! Расин навевает сладкие грезы. Спокойной ночи!

И ушла. Ушла, даже не поцеловав мужа на ночь! Клиффорд с холодной яростью поглядел ей вслед. Вот как! Даже не поцеловала! А он читал ей вслух весь вечер! Как она жестокосердна! Пусть поцелуй — лишь дань обычаю, однако на таких обычаях стоит жизнь. Просто большевичка какая-то! Прирожденная большевичка! С холодной злобой смотрел он на дверь, за которой скрылась жена. Он злобился!

А потом, как всегда под вечер, нахлынул страх. Казалось, Клиффорд был соткан из одних нервов. Однако днем его поглощала работа, и он полнился силой; потом — покоем, ибо все внимание поглощал радиоприемник. А к концу дня подкрадывались тревога и страх — словно под ногами разверзалась бездонная пропасть, вселенская пустота. И он пугался. Конни могла бы прогнать эти страхи, если б только захотела. Но ясно, что она не хочет, не хочет! Черствая и холодная, рав-

нодушная ко всему, что бы он для, нее ни делал. Жизнь положил ради нее, но ее каменное сердце не дрогнуло. Ей бы только вершить свою волю. «Любит госпожа по-своему повернуть».

И теперь вот все мысли у нее только о ребенке. Чтоб непременно и всецело был ее и только ее, чтобы он, Клиффорд, к нему никакого касательства не имел!

Клиффорд отличался крепким здоровьем (если не считать его увечности): румяный, широкоплечий, широкогрудый, сильный, что называется, в теле. И все же он боялся умереть, маячила перед ним бездонная пропасть, куда канут все его силы. Порой, обессилев и притомившись, он чувствовал себя мертвецом, истинно — мертвецом.

И престранный взгляд появлялся у него в чуть навыкате голубых глазах. Хитрый, с жесточинкой, холодный. И в то же время до бесстыдства дерзкий. Трудно объяснить эту дерзость во взгляде: вот, дескать, я живу, живу вопреки всем законам жизни, я восстал против этих законов и победил. «Не познать тайн воли человеческой, Она и против ангелов восстает…»

Он страшился ночей — сон бежал прочь. Виделось ему, как со всех сторон надвигается, пожирает его пустота — страшно! Страшно и то,

что он все видит, ощущает — и не живет, ночь оставляла ему сознание, но крала жизнь.

Правда, теперь он в любую минуту может позвонить в колокольчик и придет миссис Болтон, а с ней — великое утешение. Она являлась в халате, с распущенной по спине косой — проглядывало в ней что-то девичье, хотя в темно-русой косе уже заметны серебряные нити. Сиделка заваривала Клиффорду либо кофе, либо ромашковый чай, играла с ним в шахматы или в карты. Подобно многим женщинам, она была великая умелица, все-то у нее выходило хорошо, даже в шахматы она удивительнейшим образом научилась играть сносно и достойно сопротивлялась даже тогда, когда у нее уже слипались глаза. Так и сидели они в ночной тиши, связанные узами крепче любовных, — точнее, сидела она, а он лежал в постели — и при скудном свете настольной лампы играли, играли друг с другом, она — отгоняя сон, он — страх. Время от времени они выпивали по чашке кофе с печеньем — и все молча, не нарушая ночной тиши, без слов понимая, что нужны друг другу.

В ту ночь миссис Болтон гадала, кто же у леди Чаттерли в любовниках. Еще она вспомнила своего Теда, давным-давно нет его на белом свете,

а для нее он все как живой. И вместе с воспоминаниями в душе поднимался стародавний ропот; она роптала на жизнь, на людей, по чьей хозяйской воле погиб муж. Конечно, они не помышляли убить его, но в чувствах своих она все равно считала их убийцами. А потому в самых потаенных уголках души она во всем разуверилась, и порядки для нее больше не существовали.

Полудремотные воспоминания о Теде и мысли о неизвестном любовнике леди Чаттерли слились воедино, и она вдруг прониклась чувствами этой женщины к сэру Клиффорду, ко всему, что он представляет, чувствами недобрыми и бунтливыми. И в то же время она играет с ним в карты, даже на ставку в шесть пенсов. И ей льстило: как же, она за одним столом с дворянином, и неважно, что проигрывает ему.

В карты оба играли азартно. Клиффорд забывал о своих страхах. Выигрывал обычно он. И сегодня ночью ему везло. Значит, заиграется до зари. К счастью, светать стало рано, часов около пяти.

Конни в то время крепко спала. А вот егерю не спалось. Он запер клетки, обошел лес, вернулся домой, поужинал. Но спать не лег, а присел у камина и задумался.

Вспоминал он свое детство в Тивершолле,

недолгое — лет шесть — супружество. О жене он всегда вспоминал с обидой. Она представлялась ему грубой, жестокой. Правда, он не видел ее с весны 1915 года, когда ушел в армию. А она осталась и поныне живет рядом, в трех милях, и характер сделался еще сквернее. Дай Бог, чтоб больше никогда ее не видеть.

Вспомнились ему и армейские годы. Индия, Египет, снова Индия. Безумная, глупая жизнь, служба при конюшне; потом его приметил и приветил полковник, и ему, Меллорсу, он полюбился; потом его произвели в лейтенанты, дослужился б и до капитана, но тут умер от воспаления легких полковник, сам едва не отправился на тот свет; здоровье, однако, пошатнулось, прибавилось забот и хлопот; он демобилизовался, вернулся в Англию, начал работать.

Он хотел приспособиться к жизни. Думал, что хоть на время нашел покой в господском лесу. На охоту ездить некому, всех дел — лишь растить фазанов. (Людям с ружьями он бы не стал служить.) Он хотел уединиться, отгородиться от жизни — и всего лишь. Но прошлого не отринуть. Рядом и родная деревня, и мать, к которой он особой любви не питал. Так бы и жил себе, день да ночь — сутки прочь, без людей, без надежды.

Он просто не знал, как распорядиться собою.

Да, он не знал, как распорядиться собою. За годы, проведенные в офицерской среде, он повидал и офицерских жен, и их семьи, и чиновников и потерял всякую надежду близко сойтись с ними. Люди среднего или высшего сословия отличались удивительной способностью: встречать чужака мертвящим холодом и отталкивать, давая понять, что он не их поля ягода.

Вот и вернулся он к людям своего круга — к рабочим. Но нашел лишь то, что с годами, пока его не было дома, забылось: мелочность, грубость — как все это претило ему. Да, и впрямь очень важно хотя бы делать вид, что не трясешься над каждым грошом, что стоишь выше всех мелочей жизни. Но простой люд даже не удосуживался делать вид. Каждый пенс — потерянный или выгаданный, скажем, на покупке мяса, значил для них больше, чем пропущенное или добавленное слово в Евангелии. Видеть такое Меллорсу было невыносимо.

А еще невыносимы распри из-за денег. Пожив среди людей имущих, он понял, сколь тщетны все надежды разрешить споры о заработной плате. (Лишь смерть способна разрубить этот гордиев узел.) А в жизни оставалось лишь махнуть рукой

на деньги.

Да, но, если очень беден и несчастен, хочешь — не хочешь, к деньгам по-иному станешь относиться. Такие люди мало-помалу все свои интересы сосредотачивали на деньгах. Их тяга к деньгам раковой опухолью заполняла ум и душу, пожирая без разбора как имущих, так и бедняков! А он отказался подчиниться этой тяге.

Ну и что же? Разве жизнь предложила ему что-либо кроме сребролюбия? Увы.

Правда, он мог еще радоваться уединению (хотя и слабое это утешение), растить фазанов, чтобы в одно прекрасное утро после завтрака их перестреляли толстопузые люди. И прахом, прахом идет труд...

Но зачем об этом думать, зачем волноваться? По сию пору он и не думал, и не волновался; но вот вошла в его жизнь эта женщина. Он почти на десять лет старше. И на тысячу лет опытнее. Ведь начинал он с самых низов. Связь меж ними становилась все теснее. Он уже предвидел, что близость их станет настолько прочной, что придется начинать жизнь вместе. А рвать потом любовные узы больно — «сожжешь всю душу».

Ну, а дальше? Дальше что? Нужно ли ему начинать все заново, можно сказать, на пепелище?

Нужно ли привязывать к себе эту женщину? Нужно ли затевать ужасную схватку с ее увечным мужем? И не менее ужасная схватка предстоит с собственной жестокосердной ненавистницей-женой. Горе! Горе горькое! Ведь он уже не молод, некогда он полнился лишь задором и весельем. Ныне чувства его обострились. Всякая обида, всякая пакость глубоко ранили. И вот — эта женщина.

Ну, хорошо, избавятся они от сэра Клиффорда, от бывшей жены, ну а дальше как жить, что он сам будет делать? Как распорядится своей жизнью? Непременно нужно найти какое-то дело. Не приживала ведь он: что его маленькая пенсия по сравнению с ее богатствами?

Вот это препятствие неодолимое.

Не в Америку же ехать, удачи искать? В магию доллара ему совсем не верилось. Быть может, есть иной выход?

Покоя он не находил, сон тоже не шел. Оцепенело просидев в неутешительном раздумье до полуночи, он вдруг поднялся, снял со стены плащ и ружье.

— Пойдем-ка прогуляемся, — сказал он собаке. — На свежем воздухе лучше думается.

Ночь выдалась звездная, но безлунная; Он

обходил лес не спеша, приглядываясь и прислушиваясь, будто крадучись. Воевать ему не с кем и не с чем, разве что с капканами. Их ставили в основном шахтеры с «Отвальной», на зайцев, со стороны фермы Мэрхей. Но сейчас у косых пошли детеныши, и даже шахтеры отнеслись к этому уважительно. Неслышно шагая по ночному лесу, выискивая мнимых браконьеров, он успокоился и отвлекся.

Прошагал он (все так же неспешно и крадучись) миль пять и к концу обхода устал. Взобрался на пригорок, осмотрелся. Тишину нарушало лишь едва слышное шуршанье — то без перерыва, день и ночь работала шахта «Отвальная». А во тьме ярко светились лишь ряды электрических огоньков на руднике. Мир спал, погрузившись во мрак и дым. Половина третьего. Беспокойно спит жестокий мир, то всхрапнет — проедет поезд или грузовик, то полохнет красноватым отблеском из доменных печей. Это мир угля и стали, жестокой стали и дымного угля. А порождено это все бесконечной, неуемной человеческой жадностью. И сейчас это чудище ворочается во сне.

Ворохнул холодный ветерок по пригорку, и егерь закашлялся. Ему снова вспомнилась женщина. Все бы отдал — и то, что имел, и то, что

будет иметь, — чтобы только ощутить тепло ее тела, крепче обнять, закутавшись одним одеялом, и так уснуть. Все радости, что уготованы ему в вечности, и все радости былые отдал бы за то, чтобы она оказалась рядом с ним под одним одеялом и чтоб можно было спать рядом с ней, просто спать. Казалось, единственная потребность в жизни — спать, держа в объятиях эту женщину.

Он вернулся в сторожку, закутался в одеяло и лег спать на полу. Но ему не спалось, было холодно, и мучила мысль: чего-то недостает ему в характере, чего-то недостает ему в отшельничьей жизни. Была б рядом эта женщина, он бы ее обнял, прижал к груди крепко-крепко, испытал хоть на миг полное счастье и уснул.

Снова поднялся и вышел. Но на этот раз ноги, словно нехотя, понесли его к воротам в парк, а потом по аллее к господскому дому. Ночь стояла ясная и холодная. Уже почти четыре часа, но еще не светало. Впрочем, и в темноте егерь видел хорошо — сказывалась привычка. Медленно-медленно, шаг за шагом огромная усадьба притягивала, точно магнит. Как хотелось ему быть рядом с этой женщиной! Нет, отнюдь не страсть влекла его. А все то же до боли острое ощущение, что в его одинокой жизни чего-то не

хватает. А именно: женщины, тихо прильнувшей к его груди. Может, он найдет ее. Может, даже позовет или сам проберется к ней. Без нее не прожить!

Медленно взобрался он на холм к самой усадьбе. Миновал рощицу высоких деревьев, вышел на дорожку, она огибала ромбовидную большую лужайку перед крыльцом. На ней, перед самым домом высились два величественных бука, егерь уже различал их силуэты на фоне темного неба.

Вот и дом: приземистый, длинный, мрачный. На первом этаже одинокий огонек в комнате сэра Клиффорда. Но где ее комната? Где искать женщину, в руках которой тонкая нить, повязавшая его душу? И женщина безжалостно тянет за нить.

Он подошел ближе и так, не выпуская ружья из рук, остановился на дорожке и оглядел дом. Может, все же удастся найти ее, добраться до нее каким-то образом? Препятствие не столь уж неприступно, а сам егерь находчив, как вор-домушник. Так почему бы и не наведаться к этой женщине?

Он стоял недвижно, словно выжидая. Позади небо уже чуть тронул рассвет. Погас огонек на первом этаже. Меллорс, конечно, не подозревал, что в эту минуту к окну подошла миссис Болтон,

чуть отвела штору синего шелка, служившую уже много лет, и взглянула на посветлевшее небо — скорее бы рассвет. Тогда и Клиффорд убедится, что пришел новый день. А убедившись, тут же уснет.

Глаза у миссис Болтон слипались. Она стояла у окна и терпеливо дожидалась зари. Вдруг она вздрогнула и едва не вскрикнула. На дорожке темнела мужская фигура. С неохотой прогнала она сон и стала вглядываться, не проронив ни слова, чтобы не потревожить сэра Клиффорда.

Заря быстро убирала ночные тени, фигура на дорожке как бы уменьшилась, зато обрисовалась отчетливее. Вот и ружье в руках, краги на ногах, мешковатая куртка — да никак это Оливер Мелларс, господский егерь! Да, и собака его рядом, выжидающей тенью прилепилась к хозяину.

Что ж ему здесь нужно? Он что, вздумал весь дом на ноги поднять? Стоит как вкопанный, глаз с дома не сводит, точно ошалевший от страсти кобель поджидает суку.

Не может быть! Догадка молнией пронзила миссис Болтон. Вот кто любовник леди Чаттерли! Он! Конечно он!

Подумать только! Впрочем, ничего удивительного: когда-то и она, Айви Болтон, была увле-

чена им. Ему тогда минуло лишь шестнадцать, мальчишка совсем, а она — взрослая женщина двадцати шести лет. Она в ту пору училась, и он помогал ей разбираться в анатомии и других премудростях. Сам-то он паренек смышленый, первый ученик в шеффилдской школе, французский знал и еще много всякой всячины. А потом вдруг подался на шахту, устроился кузнецом, лошадей подковывать. Он убеждал всех, что любит лошадей. А на самом-то деле просто испугался куда-то ехать, жизни испугался. Но сознаться в этом ни за что б не сознался.

Славный парнишка, помог ей изрядно, умница, все, бывало, объяснит, растолкует. Не глупее сэра Клиффорда, пожалуй. И до женщин охоч. Его чаще с женщинами, чем с друзьями, видели.

Все, однако, до поры. Женился он на Берте Куттс, назло самому себе женился. Так женятся нередко, когда что-то в жизни не ладится. Конечно, ничего путного не вышло: началась война, он на несколько лет уехал. В офицеры выбился, из грязи да в князи, можно сказать, одно слово джентльмен. Но пришлось-таки в Тивершолл возвращаться и наниматься егерем. Вот уж поистине: не умеют люди подвернувшейся удачей пользоваться. И снова у него речь, как у просто-

людина, а ведь она, Айви Болтон, своими ушами слышала, как он изъяснялся по-благородному, ей-Богу.

Вот, значит, как все обернулось! Значит, и ее милость егерские чары сразили. Что ж, не она первая. Есть в этом парне изюминка. И все равно в голове не укладывается: он — простой деревенский мужик, а ее милость — из благородных, хозяйка Рагби! Вот уж оплеуха всем этим аристократам Чаттерли!

Все светлело и светлело небо, и все очевиднее понимал егерь: ничего не выйдет! Не избавиться ему от одиночества. Всю жизнь оно неотступно рядом! Лишь изредка и ненадолго будет заполняться пустота в душе. Лишь изредка! И этих мгновений нужно терпеливо дожидаться. А с одиночеством придется смириться, жить с ним бок о бок. Как придется смиренно дожидаться и счастливых минут. Будут и они. Только не нужно торопить.

И мучившее его желание, погнавшее к усадьбе, к женщине, вдруг разом спало. Он сам уничтожил его, так нужно. Нужна взаимность, чтобы тебе шли навстречу. А вот женщина-то навстречу и не торопится, так стоит ли ее преследовать? Ни в коем случае! Нужно уйти и дождаться, пока она

придет сама.

Он медленно, раздумчиво повернулся — видно, жить ему отшельником. Что ж, наверное, это и к лучшему. Негоже ему по пятам ходить за ней. Она сама должна прийти к нему, а ему негоже!

Миссис Болтон увидела, как он пошел прочь. Собака — следом. Вот уж о ком ни за что бы не подумала! И напрасно! Ведь он еще мальчишкой к ней внимателен был. И уже тогда она потеряла Теда.

И она тихо вышла из комнаты, напоследок победно взглянув на спящего Клиффорда. Что-то бы он сказал, узнай он всю правду!

11

Конни разбирала один из чуланов. В Рагби их было несколько — не дом, а кунсткамера; ни один из Чаттерли не продал за всю жизнь ни одной вещи. Отец сэра Джеффри любил картины; мать — мебель чинквеченто. Сам сэр Джеффри обожал резные дубовые шкафы. И так из поколения в поколение. Клиффорд покупал картины, самый что ни на есть модерн, по самым умеренным ценам.

В чулане пылились птичьи гнезда из коллекций «скверного» сэра Эдвина Лэндсирса и «несчастного» Уильяма Генри Ханта и всякий другой ученый хлам, способный привести в ужас дочь члена Королевской академии. И она решила в один прекрасный день все это перебрать и выбросить. А вот допотопная резная мебель ее заинтересовала.

Среди прочего оказалась старинная розового дерева колыбель, тщательно завернутая во избежание сухой гнили и другой порчи. Как было не развернуть ее, не полюбоваться. Такая прелесть! Конни долго ее рассматривала.

— Жаль, что не понадобится, — вздохнула

помогавшая ей миссис Болтон. — Впрочем, эти люльки давно вышли из моды.

— Еще может понадобиться. Вдруг у меня будет ребенок, — вскользь заметила Конни, как будто речь шла о новой шляпке.

— Вы хотите сказать, что сэр Клиффорд не вечен? — запинаясь, проговорила миссис Болтон.

— Нет, конечно! Ведь у сэра Клиффорда парализованы только ноги, а так он здоров и крепок, — не моргнув глазом, сочинила Конни.

Эту мысль подал ей сам Клиффорд. Он как-то заметил: «Без сомнения, я еще могу стать отцом. В этом смысле я не калека. Потенция еще может вернуться, пусть даже мышцы ног останутся парализованы. А сперму можно внести искусственно».

Ему действительно казалось — особенно в те дни, когда он с утроенной энергией занимался шахматами, — что его мужская способность возвращается. Услыхав эти слова, Конни взглянула на него с ужасом. Но приняла их к сведению, хватило здравого смысла. Ведь она и правда могла родить, разумеется, не от Клиффорда.

Миссис Болтон на секунду потеряла дар речи. И не поверила — почуяла в этом какой-то подвох. Хотя это все равно, что привить почку к яблоне,

врачи теперь и не на такое способны.

— Я могу только надеяться и молить Бога, ваша милость, — сказала она. — Это будет так славно и для вас, и для всех ваших близких. Господи! Младенец в Рагби! Как все изменится!

— Конечно, изменится, — согласилась Конни и отложила в сторону три полотна, писанных лет шестьдесят назад по академическим канонам. Картины отправятся на благотворительный базар герцогини Шортлендской. Герцогиня обложила этой повинностью все графство, ее так и звали «базарная герцогиня». Она будет в восторге от этих трех академиков. Пожалуй, даже позвонит от полноты чувств. В какую ярость приводят Клиффорда ее звонки!

«Боже правый! — думала про себя миссис Болтон. — Уж не от Оливера ли Меллорса вы собираетесь подарить нам младенца? Господи, тивершолльский ребенок в покоях Рагби! Светопреставление!»

Среди диковин, хранившихся в чулане, была довольно большая черная лакированная шкатулка, сделанная лет шестьдесят-семьдесят назад с поразительным искусством и содержащая отделения для мелочей на все случаи жизни. Верх занимал туалетный несессер: всевозможные пузырьки,

зеркальца, расчески, щетки, коробочки, были там и три маленьких изящных бритвы в безопасных чехлах, стаканчик для бритья и многое другое; ниже — письменные принадлежности: бумага, конверты, ручки, пузырьки с чернилами, пресс-папье, блокноты; затем рукодельный набор: три пары больших и маленьких ножниц, наперстки, иглы, катушки простых и шелковых ниток, деревянные яйца для штопки — все наилучшего качества. А еще ниже аптечный ящик: целая батарея пузырьков с наклейками: опиумные капли, настойка мирры, гвоздичное масло и пр., пузырьки, однако, все пустые. Шкатулка была совершенно новая, в собранном виде не больше дорожного саквояжа. Для непосвященного она являла собой настоящую головоломку.

И все же шкатулка была произведение искусства, удивительная выдумка викторианских ценителей комфорта, хотя и было в ней что-то чудовищное. Чаттерли, во всяком случае некоторые, сознавали это: шкатулкой никто никогда не пользовался. В ней отсутствовала душа.

Миссис Болтон тут же пришла от нее в восторг.

— Ах, какие щеточки! Только взгляните! Они стоят, наверное, уйму денег. Боже мой, тут и кисточки для бритья, целых три! А ноженки!

Никогда в жизни не видела такой красоты!

— Правда? — сказала Конни. — Ну и возьмите себе эту красоту.

— Нет, ваша милость, не возьму, — покачала головой миссис Болтон.

— Да возьмите! Она ведь здесь пролежит до второго пришествия. Не возьмете, отправлю вместе с картинами герцогине для ее базара. А она этого не заслуживает. Так что берите!

— О, ваша милость! — лепетала миссис Болтон. — Век не забуду вашей доброты. Да мне-то чем вас отблагодарить?

— А ничем, — рассмеялась Конни.

И миссис Болтон выплыла из кладовой, красная от волнения, прижимая к груди черного блестящего монстра.

Мистер Беттс отвез ее в двуколке домой. И конечно, она позвала приятельниц полюбоваться подарком: учительницу, жену аптекаря и миссис Уидон, жену помощника кассира. Все трое по достоинству оценили великолепие шкатулки. И тут же принялись взахлеб обсуждать ошеломляющую новость: у леди Чаттерли может родиться ребенок!

— Чудеса, да и только, — с сомнением покачала головой миссис Уидон.

На что миссис Болтон категорически заявила: если ребенок родится, в жилах его будет течь кровь Чаттерли. Вот так-то.

Не прошло и недели, священник деликатно обратился к Клиффорду:

— Неужели есть надежда, что в Рагби появится наследник? Поистине, милость Господня безгранична.

— Да, надежда есть, — ответил Клиффорд с твердостью в голосе, но и с ноткой иронии. Он уже сам начал верить, что у Конни может родиться его ребенок.

Вскоре с дневным визитом в Рагби заехал Лесли Уинтер, сквайр Уинтер, как его называли: сухощавый, безупречного вида джентльмен семидесяти лет. «Джентльмен с головы до пят», — как сказала про него миссис Болтон своей приятельнице миссис Беттс. Весь его облик, старомодная с расстановкой речь напоминали о старинных буклях и прочей древности. Да, быстрокрылое время теряет иной раз вот такие перья из своего плюмажа.

Речь зашла о состоянии дел на угольном рынке. Клиффорд утверждал, что даже самый бедный уголь можно превратить в отличное топливо, если в горящую печь нагнетать под большим

давлением насыщенный парами кислоты воздух. Давно замечено, что уголь, горящий при сильном влажном ветре в устье шахты, дает особенно сильный жар, почти не коптит, а сгорая, оставляет тонкую золу вместо пунцовых, долго тлеющих угольев.

— А где будет применяться это топливо, мой мальчик?

— Изобрету электрический генератор, который будет работать на моем угле. Я уверен, это у меня получится.

— Раз так, это просто чудесно! Да, чудесно! Ах, если бы я мог тебе помочь. Но боюсь, мое время ушло. И копи мои так же ветхи, как я. Впрочем, как знать, как знать! Мне на смену могут прийти такие же дельные люди, как ты. Это будет чудесно! Углекопы опять получат работу. Ты не будешь искать рынка для своего угля. Славная мысль! Тебя, я уверен, ожидает огромный успех! Будь у меня сын, и ему в голову могла бы прийти столь же плодотворная мысль. И усадьба Шипли возродилась бы. Между прочим, мой мальчик, можно ли верить слухам, что в Рагби ожидают наследника?

— А разве такие слухи ходят?

— Меня спросил об этом Маршалл из Фил-

лингвуда, вот и все, что я знаю, мой мальчик. И разумеется, я никому не скажу ни слова, если слухи неосновательны.

— Что мне ответить вам, сэр? — произнес Клиффорд немного натянуто, глядя на гостя странным, горящим взглядом. — Надежда есть. Да, есть.

Уинтер встал, прошелся по комнате и крепко пожал руку Клиффорду.

— Мой мальчик, мой дорогой мальчик. Ты не представляешь себе, как я счастлив слышать эти слова. Значит, не зря все твои труды, раз есть надежда, что будет сын. Нет, Англия не оскудеет, мой мальчик. И все тивершолльские шахтеры будут с работой.

Старый джентльмен был очевидно растроган.

На другой день Конни ставила в хрустальную вазу золотисто-желтые тюльпаны.

— Конни, — обратился к ней Клиффорд, — ходят слухи, ты собираешься подарить мне сына и наследника.

У Конни потемнело в глазах, но она продолжала спокойно поправлять цветы.

— Не может быть! Что это, чья-то злая шутка? — спросила она.

— Не думаю, — секунду помедлив, ответил Клиффорд. — По-моему, это судьба.

— Я получила утром письмо от отца, — сказала она, не отрываясь от цветов. — Он спрашивает, знаю ли я, что он принял приглашение сэра Александра Купера. Сэр Александр приглашает меня на июль и август пожить в Венеции на вилле Эсмеральда.

— Июль и август? — переспросил Клиффорд.

— Два месяца там нечего делать. Ты бы не поехал со мной?

— Я за границу не езжу, — отрезал Клиффорд. — Ты знаешь.

Конни поставила вазу с цветами на окно.

— А я бы поехала. Ты не возражаешь? — спросила она. — Отец уже дал согласие…

— Сколько ты там пробудешь?

— Недели три, не больше.

Клиффорд не отвечал.

— Ладно, — наконец проговорил он, нахмурившись. — Думаю, что три недели я выдержу. Если буду абсолютно уверен, что ты вернешься.

— Да я буду рваться обратно, — сказала она просто и искренно. Она думала о другом человеке.

Клиффорд уловил отсутствие фальши у нее в голосе: он все-таки верил ей, верил, что ее потянет домой. И у него отлегло от сердца.

— В таком случае, — улыбнулся он, — можешь

ехать. Все будет в порядке, верно?

— Не сомневаюсь, — ответила Конни.

— Перемена обстановки развлечет тебя.

— Конечно, — согласилась она. — Как будет славно поехать на пустынный островок в лагуне, купаться, загорать на горячей гальке. Только я терпеть не могу Лидо. Да и общество сэра Александра и леди Купер не очень-то интересно. Но если поедет Хильда и у нас будет своя гондола, мы чудесно проведем время. Мне бы так хотелось, чтобы и ты поехал!

Конни не лукавила. Ей и правда эти дни хотелось, чтобы Клиффорд был счастлив.

— Да ты вообрази себе меня на Gare du Nord[9], на набережной Кале!

— А что тут такого? Я сколько раз видела, как носят раненых на носилках вроде стула. К тому же мы будем всюду ездить в автомобиле.

— И все же без двоих мужчин — чтобы они всегда были под рукой — не обойтись.

— Зачем? Взяли бы с собой Филда. А второго нашли бы на месте.

Но Клиффорд покачал головой.

— Не в этом году, дорогая. Разве что в будущем.

---

[9] notes: 9
Северный вокзал *(фр.)*

В будущем? Что им сулит будущий год? Конни пошла из комнаты с тяжелым сердцем. Она не хотела ехать в Венецию, ее держал здесь другой мужчина. Но она поедет, нужно соблюдать не тобой заведенный этикет. А будет ребенок, Клиффорд решит, что связь у нее была в Венеции.

Разговор был в мае, а в июне уже предстоял отъезд. Всегда все расписано наперед, вся жизнь. Какие-то силы правят ею, а она над ними не властна.

Был май, опять сырой и холодный. Дожди в мае — к урожаю, а урожай залог благополучия. Конни собралась ехать в Атуэйт, соседний городишко, где Чаттерли все еще «те самые» Чаттерли. Она ехала одна, машину вел Филд.

Несмотря на май, на свежую зеленую листву, вид окрестностей наводил уныние. Было холодно, моросил дождь, пропитанный дымом; в воздухе отчетливо ощущался привкус отработанного пара. Человек здесь жив постоянным натужным преодолением. Неудивительно, что люди в этом краю так некрасивы, грубы.

Автомобиль взбирался вверх по холму, по грязным беспорядочным улочкам Тивершолла с раскисшими, припорошенными угольной пылью обочинами, мокрыми черными тротуа-

рами, мимо закопченных кирпичных домов под черной, тускло блестевшей гранями черепицей. Все смотрит исподлобья, угрюмо. Отрицание природы, отрицание радости жизни, отсутствие инстинкта прекрасного, свойственного любой земной твари, отсутствие интуитивного чувства гармонии — все это повергало в ужас. Мимо проплыли столбики мыла в окнах бакалейной лавки; груды лимонов и пучки ревеня в витрине зеленщика. Чудовищные шляпки за стеклами шляпной мастерской, все до единой жалкие, убогие, страшные, сменились аляповатой позолотой кинотеатра, чьи промокшие афиши зазывали посмотреть «Любовь женщины». Затем появилась церковь Ранних христиан, кирпично-красное убожество с огромными малиново-зелеными витражами вместо окон. Ее сменила церковь методистов, строение повыше из закопченного кирпича, отделенное от улицы почерневшей живой изгородью и чугунной оградой. Завершала парад Конгрегационалистская церковь, почитающая себя высокородной дамой, — сооружение из грубо обтесанного песчаника, увенчанное шпилем, правда, не очень длинным. Затем пошли школьные здания — дорогой розовый кирпич, чугунная ограда, посыпанная гравием спортивная

площадка, все очень добротно — не то монастырь, не то тюрьма. Как раз в этот миг вездесущие пять учениц, как видно, на уроке пения, кончили упражнение «ля — ми — до — ля» и стали голосить «премиленькую детскую песенку». Этот странный ор, следующий извивам мелодии, не походил на звериный вой, всегда полный смысла, ни на пение дикарей, подчиненное изощренным ритмам. Филд заправлялся бензином, а Конни сидела в машине и слушала с содроганием в сердце. Что будет дальше с этой нацией, у которой начисто отсутствует инстинкт красоты и осталась только вот эта способность механического завывания и несокрушимая сила воли.

Вниз прошлепала по лужам телега с углем. Филд дал газ, и автомобиль опять полез вверх — мимо большого унылого магазина одежды и тканей, мимо почты и наконец выехал на крошечную базарную площадь, которой заканчивался подъем; из окна «Солнца», претендующего на титул гостиницы — Боже упаси назвать его постоялым двором, — выглянула физиономия Сэма Блэка и поклонилась автомобилю леди Чаттерли.

Слева осталась церковь, окольцованная черными деревьями. Автомобиль покатил вниз мимо гостиницы «Герб Углекопов». Далеко позади

остались «Веллингтон», «Нельсон», «Три тунца», «Солнце». Вот уж исчез и «Герб Углекопов», и «Холл механиков», и почти роскошное «Шахтерское счастье»; затем пошла вереница новых «вилл», и автомобиль выехал на почерневший большак, по обеим сторонам которого тянулся бесконечный темный кустарник, отделявший от дороги такие же темные поля. Большак этот вел к Отвальной.

Тивершолл! Вот он, Тивершолл! Веселая шекспировская Англия! Нет, современная Англия. Конни поняла это давно, как только поселилась здесь. В Тивершолле зародилась новая раса, новый человек; одна половина души у него суетливо поглощена деньгами, политикой, социальным устройством, другая же, хранительница инстинктов, — мертва. Все живущие здесь — полутрупы, причем чудовищно самонадеянные. Есть в этом какая-то дьявольская мистика. Что-то потустороннее. Непредсказуемое. В самом деле, можно ли постичь логику полутрупа? Мимо проехали грузовики, битком набитые рабочими со сталелитейных заводов Шеффилда, фантастическими, скрюченными не то гномами, не то людьми, которых везли на экскурсию в Мэтлок; у Конни все заныло внутри. «Господи, — думала

она, — что же человек делает с себе подобными? На что правители обрекают своих собратьев? В этих несчастных вытравлено все человеческое. Вот вам и всеобщее братство! Какой-то кошмар!»

И Конни в который раз ощутила серую сосущую безысходность. Эти потерявшие человеческий облик рабочие, этот знакомый правящий класс — какая уж тут надежда на будущее! А она-то мечтает о сыне, наследнике Рагби! Наследнике поместья Чаттерли! Конни от омерзения содрогнулась.

Но ведь Меллорс плоть от плоти простых людей. Правда, он среди них — белая ворона, так же как и она в Рагби. Но и он не верит во всеобщее братство, этой иллюзии в нем нет. Кругом — отчужденность и ни проблеска надежды.

И это твердыня Англии, ее оплот. Конни живет в самом сердце шахтерского края и знает все не понаслышке.

Автомобиль взбирался все выше, до Отвальной было уже рукой подать. Дождь кончился, и воздух засиял прозрачной майской дымкой. Окрест тянулись плавные очертания холмов — на юге до Пика, на востоке — до Мэнсфилда и Ноттингема. Конни ехала к югу.

Дорога забирала круче; слева на высокой скале,

господствующей над холмами, замаячила в небе мрачная темная громада Уорсопского замка; ниже краснели свежей еще штукатуркой новые шахтерские домики, а под ними набухали в воздухе сизые и снежно-белые облака — дым с паром, выдыхаемый огромной угольной шахтой, приносившей ежегодно тысячи фунтов стерлингов герцогу и другим держателям акций. Средневековый замок, высившийся на скале, давно уже был руинами, и все же его башни и стены грозно высились над серо-белыми хвостами, колышущимися в холодном, промозглом воздухе.

Поворот, и машина покатила по ровной дороге прямо к Отвальной. Если смотреть из окошка автомобиля, вся Отвальная, казалось, состоит единственно из новой огромной гостиницы «Герб Конингсби» — варварского красно-белого с позолотой сооружения, стоящего на отшибе у дороги. Левее видны ряды красивых особнячков «модерн», обрамленных газонами и садами: они расставлены так, точно некие великаны затеяли игру в домино на захваченной врасплох земле и куда-то отлучились. Ниже устрашающе громоздятся марсианские конструкции современной шахты, корпуса химического завода, бесконечные галереи и переходы — картина, прежде

неведомая человечеству. Самое устье шахты затерялось среди этого столпотворения. А замершие в изумлении костяшки домино, казалось, ждут не дождутся продолжения игры.

Это была Отвальная, родившаяся на свет вскоре после окончания войны. Но была еще одна Отвальная, расположенная еще ниже по склону в полумиле от новой гостиницы, но Конни даже и не слыхала о ней. В этой старой Отвальной была собственная маленькая шахтенка, ветхие, закопченные кирпичные домики, пара церквушек, две-три лавки.

Но теперь уже старой Отвальной как бы и не существовало. В новой Отвальной ни церкви, ни таверны, ни лавок, только огромная махина завода — современная Олимпия, в храмах которой молятся всем богам; выше «показательные» особнячки и, наконец, гостиница. В сущности она и была таверной для рабочего люда, только выглядела чересчур шикарно.

Этот новый поселок вырос уже после того, как Конни поселилась в Рагби; в «показательные» особнячки понаехал отовсюду всякий сброд, не гнушавшийся и браконьерством: немало кроликов Клиффорда нашли упокоение в желудках пришельцев.

Автомобиль ехал дальше, сколько хватало глаз — кругом плавно бежали, обгоняя друг друга, невысокие холмы. Древняя земля! В свое время гордая, феодальная земля. Впереди, оседлав гребень холма, неясно замаячил огромный, великолепный Чадвик-холл — вместо стен легкие переплеты окон — один из самых замечательных елизаветинских дворцов. Исполненный благородства, он горделиво высился над огромным парком. Старомодный, отживший свой век, он не сдавался: его показывали как достопримечательность: «Полюбуйтесь, в каких дворцах обитали наши прадеды».

Это прошлое. Настоящее прозябало внизу. И только Богу известно, где обреталось будущее. Автомобиль свернул в улочку, стиснутую закопченными шахтерскими домиками, и покатил под гору в Атуэйт. В сырой, промозглый день Атуэйт исходил дымом и паром, куря фимиам невесть каким идолам. Конни всегда как-то странно трогал этот Атуэйт, расположенный в долине, разрезанный пополам стальными нитями железной дороги, ведущей в Шеффилд; его угольные копи и сталелитейные заводики, выбрасывающие сквозь длинные дыхальца дым, подсвеченный языками пламени; завитый штопором шпиль

церквушки, грозящий вот-вот упасть и все же бросающий вызов языческому курению. В этот старинный городок съезжались на ярмарки жители всех окрестных селений. Одна из лучших гостиниц звалась «Герб Чаттерли». Здесь, в Атуэйте название «Рагби» означало поместье Рагби, а не просто дом. Для пришлых — Рагби-холл, тот, что возле Тивершолла, для местных Рагби — родовое гнездо.

Закопченные домики шахтеров стоят, краснея, вдоль большака — маленькие, уютные, замкнутые, как сто лет назад. Большак переходит в улицу, и вот вы уже в центре Атуэйта, точно и не было приволья, волнистых холмов, старинных замков и особняков — этих величавых призраков прошлого. Пересекаете переплетенье стальных путей; вокруг литейные и какие-то другие цеха, скрытые за высоченными стенами. Оглушительно лязгает металл, сотрясают землю тяжелые тягачи, заливисто свистят паровозы.

Вы в самом сердце Атуэйта, среди его скрюченных, извилистых улочек; время здесь остановилось два столетия назад. За спиной церковь, впереди гостиница «Герб Чаттерли», старинная аптека; когда-то эти кривоколенные улочки выводили путника на открытые просторы замков и

осанистых особняков.

Стоявший на развилке полицейский поднял руку, пропуская три груженных чугунными болванками грузовика, от которых бедная, старенькая церковь сотряслась до основания, и только потом козырнул, приветствуя ее милость.

Вот как оно теперь; старинные кривые улочки вливаются в шоссе, вдоль которого шахтерские коттеджи поновее. А дальше знакомая картина: над холмами и старинными замками реют сизо-серые плюмажи дыма и пара, и уже совсем далеко новые шахтерские поселки — то краснеют кирпичными заплатами в чашах долины, то взбираются на самый гребень холмов, уродуя их плавные очертания. Все остальное пространство — клочки старой веселой Англии, Англии дилижансов и сельских хижин, а может, и Робина Гуда, где шахтеры в свободную минуту бродят, исходя угрюмой тоской, рожденной подавленным охотничьим инстинктом.

Англия, моя Англия! Но которая же моя? Элегантные особняки старой Англии, которые прекрасно выходят на фотографиях, создавая иллюзию причастности к жизни елизаветинцев? Или изящные дома времен королевы Анны и Тома Джонса? Но сажа закоптила их скучную

серую лепнину, с которой уже давно стерлась позолота. Они пустеют один за другим, вслед за елизаветинскими особняками. А теперь их и вовсе стали сносить. Что же до деревенских хижин — вместо них эти кирпичные заплаты на безысходно унылой земле. И вот уже гибнут дома, уходят в небытие последние георгианские особняки. Фричли-холл, великолепный образчик георгианской эпохи, сносится прямо сейчас, на глазах у Конни.

Он был до войны в отличном состоянии, в нем счастливо и весело жило семейство Уэзерли. Но теперь он оказался слишком велик, разорителен, да и край потерял былую привлекательность для жилья.

Дворянство бежит в другие места, где можно тратить деньги, не видя, как они зарабатываются.

Это история. Одна Англия вытесняет другую. Шахты обогатили дворянство, теперь они же и разоряют его, как уже разорили крестьян. Промышленная Англия сменила сельскую. Одно историческое содержание приходит на смену другому. Новая Англия вытесняет старую. И развитие идет не работой подспудных жизненных сил, а механически привносится извне.

Конни, принадлежа к классу бездельников, цеплялась за эти клочки уходящей Англии, как за якорь спасения. Она не сразу поняла, что старая веселая Англия действительно исчезает и скоро от нее не останется и следа. С Фричли покончено, с Иствудом тоже; дышит на ладан Шипли, так щемяще любимый сквайром Уинтером.

Конни заглянула к нему по пути. Дальние ворота были у самого переезда через железнодорожную колею, идущую к шахтам.

Шахты высились как раз за парком. Ворота стояли открытые настежь: шахтерам позволено было ходить через парк. Вечерами и по воскресеньям они любили погулять среди вековых деревьев.

Автомобиль миновал декоративные пруды (шахтеры бросали в них прочитанные газеты) и покатил по аллее к дому. Дом стоял чуть в стороне, на возвышении — красивый, с лепниной, осколок восемнадцатого века. Поодаль шла тисовая аллея, ведущая еще к его предшественнику, от которого не осталось и следа. Шипли-холл наслаждался покоем блаженного неведения. За домом тянулись прекрасные сады.

Конни нравился дом сквайра Уинтера гораздо больше, чем Рагби-холл. В нем было столько све-

та, изящества, вкуса. Стены обшиты кремовыми панелями, потолки поблескивают позолотой, мебель радует глаз элегантностью: хозяева за ценой не стояли. Дом содержался в образцовом порядке; даже коридоры, закруглявшиеся на поворотах, были светлые, просторные, полные цветов.

Лесли Уинтер жил один. Он обожал свой дом. Но к парку примыкали три его собственные шахты. А Уинтер был натурой щедрой и справедливой, и он чуть ли не сам пригласил шахтеров ходить через парк. Разве не им он обязан своим благосостоянием? А увидев, как чумазые орды ринулись к его драгоценным прудам (у него хватило здравого смысла оставить заповедной примыкавшую к дому часть парка), он сказал себе в утешение: «Шахтеры, конечно, не столь живописны, как олени, но не в пример выгоднее».

Это произошло еще в правление королевы Виктории во вторую, золотую («золото» в смысле «капитал») его половину. Шахтеры тогда еще были славными рабочими парнями.

Уинтер рассказал эту историю не то в шутку, не то в оправдание гостившему у него тогдашнему принцу Уэльскому. На что принц ответил ему своим гортанным голосом:

— Вы совершенно правы. Найдись уголь у меня

в Сандринкеме, я велел бы вырыть на газонах шахту и почитал бы ее самым лучшим парковым украшением. Я с удовольствием обменял бы своих косуль на шахтеров при нынешних ценах на уголь. К тому же я слыхал, ваши шахтеры — добрый народ.

Наверное, все-таки у принца было в ту пору несколько преувеличенное понятие о значимости денег и прелестях индустриального общества.

Как бы то ни было, принц стал королем, король умер, вместо него стал править новый король, чьей главной заботой были, кажется, бесплатные столовые для бедняков.

И вот теперь этот «добрый народ» повел наступление на усадьбу Шипли. Новые шахтерские поселки налезали на парк, и сквайр вдруг начал ощущать враждебность своих соседей. Он всегда чувствовал себя хозяином своей вотчины и своих углекопов — высокородным и добросердечным, но хозяином. Последнее время, однако, его шахты, его углекопы — вследствие какого-то неуловимого, новомодного поветрия — стали как бы выталкивать его с родовых земель. Теперь он становился здесь чужаком, в этом сомневаться не приходилось. Шахты, производство стали

проявлять своеволие, нацелив его острие на хозяина-джентльмена. Было не очень приятно жить, то и дело натыкаясь на него. И посыл был всегда один — уйди из этих мест или совсем из жизни, но уйди.

Сквайр Уинтер держался стойко, как подобает солдату. Перестал только гулять в парке после обеда. Отсиживался, так сказать, в стенах дома. Как-то вышел проводить до ворот Конни — с непокрытой головой, в туфлях из дорогой кожи, в шелковых бордо носках; говорил с ней со старомодной учтивостью, чуть растягивая слова. Вдоль аллеи стояли кучки шахтеров, глядевших на сквайра пустым взглядом — ни приветствия, ни улыбки, и Конни почувствовала, как этот высокий, сухопарый джентльмен, дойдя до них, весь подобрался, точно запертый в вольере красавец-олень под взглядами досужей публики. Личной к нему вражды у шахтеров не было. Но от них веяло таким холодом, что хотелось бежать отсюда куда глаза глядят.

Подоплекой всего была зависть. Они работали на него. И сознавая свое безобразие, ненавидели его элегантное, холеное, хорошо воспитанное существование. «Да кто в сущности он такой!» Они ненавидели не его, а эту вопиющую разницу

между ними.

И все же в глубине души этот старый солдат признавал — а ведь, пожалуй, они и правы. Есть что-то постыдное в его привилегиях. Но он был частью системы, а стало быть, никто не смел посягнуть на его права.

Разве что смерть. И она не заставила себя ждать. Уинтер умер внезапно, вскоре после этого визита Конни к нему. И в завещании щедро помянул Клиффорда.

Его наследники тотчас распорядились пустить Шипли на слом. Слишком обременительно содержать такой особняк. Не нашлось охотника жить в нем, и дом разобрали. Спилили вековые тисы. Вырубили парк, поделили его на участки и застроили. На странной, голой, ничейной земле выросли новые улицы новых кирпичных домов. Какая прелесть этот Шипли-холл! И до Атуэйта рукой подать.

И все это произошло в течение одного года, после ее последнего посещения Шипли. Так и вырос тут новый городок Шипли-холл, стройные ряды красно-кирпичных вилл, уличные перекрестки. Кто бы сказал, что еще год назад здесь, на этой земле, величаво дремал осененный тисами особняк.

Логическое завершение архитектурной мечты принца Эдуарда: угольная шахта — лучшее украшение газона.

Одна Англия вытесняет другую. Нет больше Англии сквайра Уинтера, Рагби-холла, она умерла. Но процесс вытеснения еще не кончен.

А что будет после? Конни не представляла себе. Она видела только, как все новые улочки выползают в поля, как рядом с шахтами растут заводские здания; видела молоденьких девушек в шелковых чулках, парней-шахтеров, все интересы которых вращались от танцзала до шахтерского благотворительного клуба. Молодое поколение понятия не имеет о старой Англии. Разрыв культурной традиции, почти по-американски. Действительно индустриальная революция. А что дальше?

Конни чувствовала: дальше — ничего. Ей хотелось, как страусу, зарыться головой в песок или хотя бы прижаться к груди любимого.

Мир так сложен, непонятен, чудовищен. Простой люд так многочислен и невыносим, думала Конни на обратном пути, глядя на возвращавшихся из забоя шахтеров: черные, скрюченные, скособоченные, они тяжело топали коваными сапогами. На пепельно-серых лицах вращаются

яркие белки глаз; шеи согнуты, плечи согнуты низкой кровлей забоя. Господи, и это мужчины! Возможно, они добры, терпеливы, зато главное, увы, в них не существует. В них убито мужество, вытравлено из поколения в поколение. И все же они мужчины. Женщины рожают от них. Страшно даже подумать об этом. Наверное, они хорошие, добрые. Но ведь они только полулюди. Серо-черные половинки человеческого существа. Пока они добрые. Но и доброта половинчата. А что, если та, мертвая половина проснется! Нет, об этом лучше не думать. Конни панически боялась индустриальных рабочих. Они ей казались такими странными. Их жизнь, навечно прикованная к шахте, была начисто лишена красоты, интуиции, гармонии.

Рожать дитя от такого мужчины? О Господи! Но ведь и Меллорс был зачат таким отцом. И все-таки Меллорс — другое дело. Сорок лет — немалый срок. За этот срок можно преобразиться, как бы глубоко ни въелся уголь в тело и душу твоих дедов и прадедов.

Воплощенное уродство и все-таки живые души! Что с ними станется в конце концов? Иссякнет под землей уголь, и они сами собой исчезнут? Эти тысячи гномов взялись ниоткуда, когда шахты

призвали их. Может, они какое-то кошмарное порождение угля? Существа иного мира, частицы горючей угольной пыли, так же как литейщики — частицы руды. Люди и не люди, плоть от плоти угля, руды, кремнезема. Фауна, рожденная углеродом, железом, кремнием. И возможно, они обладают их странной нечеловеческой красотой: антрацитовым блеском угля, синеватой твердостью стали, чистейшей прозрачностью стекла. Порождения минералов, фантастические, искореженные. Дети подземных кладовых. Уголь, железо, кремнезем для них все равно, что вода для рыб, трухлявое дерево для личинок.

Конни вернулась домой, как под сень райских кущ, где можно зарыть голову в песок — поболтать с Клиффордом. Угольный и сталелитейный Мидленд нагнал на нее такого страху, что ее била лихорадка.

— Я, конечно, заехала в лавку мисс Бентли, выпила чашку чая, — сказала она Клиффорду.

— Что за фантазия! Разве ты не могла выпить чашку чая в Шипли у Уинтера?

— А я и там выпила. Но мне не хотелось огорчать мисс Бентли.

Мисс Бентли, скучная старая дева с длинным носом и романтическим складом характера, уго-

щала чаем, точно священнодействовала.

— Она обо мне справлялась? — спросил Клиффорд.

— Разумеется! «Позвольте осведомиться у вашей милости, как себя чувствует сэр Клиффорд?» Веришь ли, она превозносит тебя до небес. Заткнула за пояс даже сестру Кейвел!

— И ты, конечно, ей ответила: «Великолепно!»?

— Ну да. Она пришла в такой восторг, как будто над ней небеса разверзлись. Я пригласила ее к нам, сказала, если она будет в Тивершолле, пусть непременно навестит тебя.

— Меня? Зачем?

— Ах, Клиффорд, я же говорю, она боготворит тебя. Ты ведь должен быть хоть немного признателен ей за это. В ее глазах Святой Георгий — ничто по сравнению с тобой.

— И что же, ты думаешь, она приедет?

— Ты бы видел, она так и вспыхнула. И даже на миг стала, бедняжка, хорошенькой. И почему это мужчины не женятся на женщинах, которые их обожают?

— В женщине просыпается дар обожания несколько поздновато. А она и правда может нагрянуть к нам?

— «Ах, ваша милость, — передразнила Конни мисс Бентли, — я не могла и мечтать о таком счастье».

— Не могла и мечтать! Что за чушь! Надеюсь, все-таки у нее хватит ума забыть о твоем приглашении. А как у нее чай?

— Липтон и очень крепкий! Но, Клиффорд, неужели ты не понимаешь, что для женщин, таких, как мисс Бентли, ты — Roman de la rose[10].

— Меня и это не растрогало.

— Они дрожат над каждой твоей фотографией из журналов. И наверное, каждый вечер молятся за тебя. Как хочешь, но это прекрасно!

И Конни пошла наверх переодеться.

А вечером Клиффорд сказал ей:

— Ты ведь веришь, что браки заключаются на небесах?

Конни удивленно взглянула на него.

— В этих словах я слышу бряцание длинной, длинной цепи, которая будет волочиться всюду, как бы далеко ни уехать.

— Я вот что имею в виду, — не без раздражения проговорил он. — Вот ты собралась в Венецию.

---

[10] notes: 10

«Роман о розе» *(фр.)* — средневековый роман (XIII в.) Гильома де Лерриса и Жана де Мена, отличающийся светским мировоззрением, пытливостью мысли, энциклопедичностью.

Ты ведь едешь туда не для того, чтобы завести любовь au grand serieux?[11]

— Завести в Венеции любовь au grand serieux? Разумеется, нет, уверяю тебя. В Венеции я могла бы завести разве что любовь au tres petit serieux[12].

Конни произнесла эти слова с легким презрением.

Утром, спустившись вниз, она увидела в коридоре Флосси. Собака Меллорса сидела под дверью и тихонько поскуливала.

— Флосси, — тихонько позвала Конни. — Что ты здесь делаешь? — И с этими словами она спокойно отворила дверь. Клиффорд сидел в постели, прикроватный столик с машинкой был сдвинут в сторону; в ногах кровати стоял навытяжку егерь. Флосси в один миг проскочила в комнату. Легким движением головы и глаз Меллорс послал ее вон, и Флосси тотчас повиновалась.

— Доброе утро, Клиффорд, — сказала Конни. — Я не знала, что ты занят. — Взглянув на егеря, она поздоровалась и с ним. Меллорс ответил вполголоса, почти не глядя на нее. Но у Конни

---

[11] notes: 11
очень серьезную *(фр.)*

[12] notes: 12
не очень серьезную *(фр.)*

подкосились ноги, так подействовало на нее его присутствие.

— Я помешала тебе, Клиффорд? Прости.

— Нисколько. Я ничем серьезным не занят.

Конни вышла из комнаты и поднялась в голубую гостиную. Села там у окна и долго смотрела, как он уходил по аллее — легко, изящно и как бы крадучись. Его отличало природное достоинство, гордость и какая-то необъяснимая хрупкость. Прислуга! Прислуга Клиффорда!

> *Не звезды, милый Брут, а сами мы*
>
> *Виновны в том, что сделались рабами.*[13].

А он правда прислуга? Правда? А что он все-таки думает о ней?

День был солнечный, и Конни пошла поработать в сад. Миссис Болтон помогала ей. Эти две женщины, повинуясь неведомой силе, управляющей симпатиями и антипатиями, питали друг к другу душевную приязнь. Подвязав к колышкам высокую гвоздику, они принялись за рассаду. Обе любили возиться с землей. Конни с нежностью расправляла тоненькие корешки и, осторожно

---

[13] notes: 13
В.Шекспир, «Юлий Цезарь».

погрузив крошечное растение в мягкую почву, придавливала ее пальцами. Этим весенним утром она почувствовала в своем чреве легкую приятную дрожь, как будто и ее нутра коснулся живительный солнечный луч.

— Вы давно потеряли мужа? — спросила она миссис Болтон, беря очередной цветок и опуская его в ямку.

— Двадцать три года назад, — ответила миссис Болтон, осторожно разделяя рассаду на отдельные ростки. — Его принесли домой… Да, уже двадцать три года назад.

К горлу Конни подкатил комок. Как все просто и страшно: «Двадцать три года назад»!

— Почему он погиб? — спросила она. — Он был с вами счастлив?

Естественный вопрос одной женщины к другой. Миссис Болтон тыльной стороной ладони откинула со лба волосы.

— Не знаю, ваша милость. Он не любил подчиняться; я даже скажу, он мало с кем и дружбу водил. С норовом был. Не любил кланяться. Это его и сгубило. Не очень он и берегся. Шахта во всем виновата. Ему никак нельзя было там работать. Отец отвел его в шахту — он еще был мальчишкой. А уж как перевалит за двадцать,

уйти трудновато. Куда уйдешь-то?

— А он говорил, что ненавидит шахту?

— Нет, никогда не говорил. Чтобы он сказал «ненавижу»? Нет, не припомню. Только, бывало, сморщится. Он ничего не боялся, как-то не думал о плохом. Знаете, как весело шли на войну первые новобранцы? И сразу все полегли там. Вот и он был такой же. А вообще-то он парень был с головой. Только не берегся. Я ему сколько говорила: «Никого не жалеешь, ни себя, ни других». А он жалел. Помню, как он сидел рядом со мной — я тогда первенького рожала. Молчит и такими глазами смотрит, точно это не он, а сама судьба на меня глаза вытаращила. Тяжело мне пришлось, и я же еще его и успокаивала. «Ничего, — говорю, — все обойдется». А он как зыркнет на меня и улыбнется, так-то странно… И все молчал. Только потом, думаю, ему уже никогда не было со мной хорошо… ночью, в постели. Я ему, бывало, говорю: «Да что это с тобой!» Даже сержусь, а он молчит… Не хотел, что ли, или не мог. Боялся, вдруг буду опять рожать. Я на его мать сердилась — зачем пустила его ко мне. Нельзя было пускать. Мужчине что вошло в ум, то и засело. Хоть караул кричи.

— Это так на него повлияло? — изумилась Конни.

— Да. Не мог он взять в толк, что все это от природы — боль и все такое. Это-то и отравляло ему удовольствие. Я ему говорю, раз я не боюсь, так тебе-то чего бояться. А он мне — неладно все это.

— Он, наверное, был очень чувствительный, — заметила Конни.

— Вот-вот, чувствительный. С мужчинами всегда так, больно чувствительны, где не надо. И я думаю, хотя он сам и не сознавал, он эту шахту ненавидел, ненавидел, и все. Когда он лежал в гробу, у него было такое лицо… Как будто он наконец-то освободился. Парень он был видный, красивый. У меня сердце так и разрывалось. Лежит такой спокойный, такой светлый, как будто рад, что умер. Он разбил мне сердце. А виновата во всем шахта.

Несколько все еще горьких слезинок скатились по ее щекам. А Конни просто облилась слезами. День был такой теплый, пахло свежей землей, желтой сурепкой; весь сад набух бутонами, впитывая потоки солнечного света.

— Как же вы это пережили? — сказала Конни.

— Сама не знаю. Сначала я даже не очень и поняла, какая беда стряслась. И только все повторяла: «Мальчик мой, как ты мог уйти от меня». И не плакала. У меня было такое чувство, что это

понарошке, что он вот-вот вернется.

— А у него когда-нибудь было в мыслях уйти от вас?

— Конечно нет, ваша милость. Это я так, по глупости говорила. И все ждала, ждала его. Особенно по ночам. Проснусь и тоскую, ну почему, почему его нету рядом, в постели. Это не я сама, это мои чувства не верили, что его никогда уже не будет со мной. Мое тело ждало его: вот придет он и ляжет под бочок. И мы опять будем вместе. Умирала, так хотела почувствовать его тепло. А он все не шел. Я ждала его сто, тысячу ночей, много лет. Пока вдруг не поняла, никогда его со мной не будет, никогда.

— Вам не хватало его близости? — спросила Конни.

— Да, ваша милость, вот именно. Его близости. И сколько я жива, я никогда не смирюсь с этим. И если есть Бог, мы встретимся с ним на небе. И тогда опять ляжем вместе в обнимку.

Конни со страхом посмотрела на все еще красивое, искаженное горем лицо. Еще одна страдалица в Тивершолле. «Опять ляжем вместе в обнимку». Да, любовных уз без крови не порвать.

— Не приведи Бог, чтобы мужчина вошел тебе в кровь и плоть, — сказала она.

— Ах, ваша милость. Это и есть самое страшное. Я думаю иногда, люди хотели, чтобы его убило. Шахта хотела. Если бы не шахта, если бы не они, нас бы ничто никогда не разлучило. Если мужчина и женщина любят друг друга, все-все стремится их разлучить, все против.

— Если любовь настоящая.

— Да, ваша милость. В мире столько жестокосердных людей. Он уйдет утром на шахту, а я думаю: нельзя, нельзя ему туда ходить. А чем бы еще он мог зарабатывать? Чем?

В последних словах миссис Болтон Конни уловила до сих пор тлевшую ненависть.

— Неужели близость с мужчиной помнится так долго? — вдруг спросила Конни. — Прошло столько лет, а для вас это было как вчера.

— Да, ваша милость. А что еще помнить-то? Дети подрастут, и до свидания. А муж, муж — он твой, навсегда. Но люди и память о нем хотели бы убить во мне. Даже собственные дети. Да что тут сказать! Может, когда-нибудь мы с ним и расстались бы. Но чувства — с ними ничего не поделаешь. Уж лучше совсем бы не знать любви. Да только гляжу я на этих бедняжек, не знавших мужниной ласки, такие они несчастные, обделенные, как бы ни наряжались, как бы ни задирали

носа. Нет уж, моя судьба все-таки лучше. А людей я не очень-то уважаю. Нет, не очень.

12

Конни пошла в лес сразу после второго завтрака. День был поистине прекрасен, в траве пестрели солнечные головки одуванчиков, белые, как снег, маргаритки. Орешник стоял окутанный зеленым кружевом мелких жатых листочков, прошитый сухими прошлогодними сережками. Росли, теснясь, вверх и вширь ярко-желтые бальзамины. И примулы, невидные, застенчивые примулы, уже цвели тяжелыми розоватыми гроздьями. Сочно-зеленый ковер гиацинтов ощетинился бледными пиками бутонов; там и здесь раскрывал свои коробочки водосбор; верховая тропа вспенилась незабудками; под кустами белеют хрупкие скорлупки яиц — только что покинутых птенцами. На кустах, на деревьях — набухшие бутоны, всюду опять занималась жизнь.

Егеря не было в охотничьей сторожке. Все было исполнено миром, в загоне бегали крепкие коричневые цыплята. Конни очень хотелось повидать его, и она свернула на тропинку, ведущую к его дому.

Дом стоял на опушке леса, залитый солнцем. Двери распахнуты настежь, по обе стороны цветут пучки махровых нарциссов; вдоль дорожки, слева и справа розовые и красные маргаритки. Залаяла собака, и навстречу выбежала Флосси.

Дверь распахнута настежь! Значит, он дома. Солнце ярко освещало сквозь дверь красный кирпичный пол. Подойдя ближе, она увидела Меллорса в окно: он сидел за столом в легкой рубашке и ел. Собака тявкнула раз-другой и слабо завиляла хвостом.

Он встал, подошел к двери, вытирая рот красным платком и дожевывая кусок.

— Можно войти? — спросила она.

— Входите.

Половина комнаты была залита солнцем, пахло бараньей отбивной, зажаренной в духовке; духовка все еще стояла на выступе очага, рядом на листке бумаги — сковородка. В очаге потрескивает небольшой огонь, решетка опущена: чайник на ней уже завел свою песенку. На столе — тарелка с картошкой и остатками отбивной, хлеб в плетеной хлебнице, соль, синий кувшин с пивом. Вместо скатерти — белая клеенка. Егерь встал, лицо его было в тени, солнце в дальний угол не доставало.

— Вы опоздали с завтраком, — сказала она. — Садитесь и ешьте!

Она села на простой стул у двери на самое солнце.

— Я ездил в Атуэйт, — сказал он и тоже сел, но к еде не притронулся.

— Пожалуйста, ешьте, — сказала она.

Он не шевельнулся.

— Кушать будете? — спросил он. — Может, чашку, чая? Чайник кипит, — привстал он со стула.

— Сидите, я сама налью, — сказала Конни, поднявшись.

Вид у него был невеселый, она явно мешала ему.

— Заварной чайник и чашки там, — указал он на старый угловой буфетик, — а чай на каминной доске над вами.

Она взяла черного цвета чайник, сняла с полки жестяную банку с чаем, ополоснула чайник кипятком и секунду помешкала, не зная, куда выплеснуть воду.

— Вылейте за дверь, — сказал он, видя ее нерешительность. — Вода чистая.

Подойдя к двери, Конни выплеснула воду на дорожку. Как здесь было славно, покойно, настоящий лесной край. Дубы опушились охря-

ными листочками; красные маргаритки — точно красные бархатные пуговицы, рассыпанные на зеленом ковре. Она глянула на сточенный временем каменный порог — теперь его мало кто переступает.

— Как здесь хорошо! — сказала она. — Так красиво и тихо. Все полно и покоя и жизни.

Он наконец принялся за еду, но ел медленно, безо всякой охоты: Конни чувствовала, он выбит из колеи. Она молча заварила чай и поставила чайник на боковую полочку в очаге, как делают местные хозяйки. Он отодвинул тарелку и пошел в глубь дома. Послышался звук защелки, скоро он вернулся, неся масло и тарелку с сыром.

Конни поставила на стол две чашки — их и было всего две.

— А вы выпьете чашку чая?

— С вашего позволения. Сахар в буфете, и сливки там же. Молоко в кладовке.

— Можно я уберу вашу тарелку? — спросила Конни.

— Как хотите, — сказал он, глянув на нее с легкой усмешкой, медленно жуя хлеб с сыром.

Конни пошла в моечную, куда воду подавал насос. Дверь слева вела, очевидно, в кладовую. Открыв задвижку, она улыбнулась: вот что он

называет кладовкой — длинный, узкий, побеленный внутри шкаф. Но там все-таки умещались бочка пива, посуда и кое-какая еда. Конни отлила немного молока из желтого кувшина и вернулась в комнату.

— Где вы берете молоко? — спросила она.

— У Флинтов. Они оставляют для меня в конце парка бутылку. Там, где мы встретились в прошлый раз.

Но он явно был выбит из колеи.

Конни разлила чай и взяла из буфета молочник со сливками.

— Мне без молока, — сказал он; и в тот же миг насторожился, взглянув на дверь, ему послышался снаружи какой-то шорох.

— По мне, лучше бы затворить дверь.

— Может, не надо? Вряд ли кто-нибудь придет.

— Шанс один из тысячи, но ручаться все же нельзя.

— Ну и пусть, — сказала она. — Мы ведь только пьем чай. А где ложки?

Он протянул руку, выдвинул ящик в столе. Конни села за стол в конус льющегося из двери света.

— Флосси! — позвал он собаку, лежавшую на нижней ступеньке. — Ступай, послушай! — при-

казал он, подняв вверх палец.

«Послушай» прозвучало очень выразительно. И Флосси потрусила на разведку.

— Вы чем-то расстроены сегодня? — спросила Конни.

Он метнул в ее сторону взгляд своих синих глаз и в упор посмотрел ей в лицо.

— Расстроен? Просто досада берет. Я ездил сегодня в суд за повестками, поймал на днях в парке двух браконьеров. Ну и… а, не люблю я людей.

— Вам неприятно работать егерем?

— Неприятно? Отнюдь. При условии, что я сижу здесь в лесу и до меня никому нет дела. А вот ежели приходится торчать в присутственных местах и ждать, когда тебя одарит своим вниманием всякая сволочь, тогда я… Тогда я бешусь, — сказал он, усмехнувшись, как ей показалось, с вызовом.

— А вы могли бы жить, ни от кого не завися?

— Жить только на пенсию? Думаю, что мог бы. Да, конечно, мог бы. Но мне надо работать, иначе я с тоски подохну. Я должен быть занят с утра до вечера. Делать что-то свое я сейчас не расположен. Вот и приходится работать на хозяина. Иначе через месяц-другой все заброшу, просто из-за чудовищного сплина. Так что в общем мне здесь неплохо, особенно последнее время, — и

опять та же усмешка, граничащая с вызовом.

— Отчего у вас этот сплин? — спросила Конни. — Вы всегда в таком настроении?

— Почти всегда, — рассмеялся он. — Желчь разливается.

— Какая желчь? — спросила она.

— Желчь? — повторил он. — Вы не знаете, что такое желчь?

Конни молчала, явно разочарованная. Он просто не замечает ее.

— Я через месяц уезжаю на, какое-то время, — сказала она.

— Уезжаете? Куда?

— В Венецию.

— В Венецию? С сэром Клиффордом? Надолго?

— Наверное, на месяц, — ответила она. — Клиффорд со мной не едет.

— Он останется здесь? — спросил он.

— Да. Клиффорд не любит ездить из-за своего состояния.

— Бедняга! — искренне посочувствовал он.

Немного помолчали.

— Вы не забудете меня за этот месяц? — спросила она.

Он опять поднял глаза и посмотрел на нее в упор.

— Забуду? — переспросил он. — Вы же знаете, человек ничего никогда не забывает. Так что память здесь ни при чем.

Конни хотела спросить: «А что же при чем?», но вместо этого глухо произнесла:

— Я сказала Клиффорду, возможно, у меня будет ребенок.

На этот раз он посмотрел на нее долгим напряженным взглядом.

— Вот как! — сказал он наконец. — И что же он ответил?

— Он не возражает. Если все будут думать, что ребенок его, он будет даже рад. Правда, рад.

Конни не смела поднять на него глаза. Он долго молчал.

— Обо мне, разумеется, разговора не было?

— Нет. О вас разговора не было.

— Еще бы! Ему вряд ли пришлась бы по вкусу такая замена. Ну а откуда бы взялся этот ребенок?

— У меня в Венеции может быть роман, — сказала она, взглядом умоляя его о пощаде.

— Может, — произнес он медленно, — вы потому и едете?

— Нет, конечно. Я не собираюсь заводить там никаких романов.

— Значит, потом намекнете, что роман был в

Венеции.

Опять замолчали. Он смотрел в окно, улыбаясь не то с горечью, не то с насмешкой. Ее задевала эта его усмешка.

— Вы что, не предостерегались? — вдруг сказал он. — Так же как и я?

— Я это ненавижу, — пролепетала она.

Он посмотрел на нее, затем устремил взгляд в окно, по-прежнему чуть заметно улыбаясь. Молчание становилось невыносимым.

Наконец он повернулся к ней и сказал, не скрывая иронии.

— Так вот зачем я вам понадобился — для ребенка.

Конни опустила голову.

— Нет, не совсем, — прошептала она.

— Не совсем? Как это не совсем? — сказал он с явным желанием уколоть ее.

— Не знаю, — Конни с укором взглянула на него.

Он рассмеялся.

— И я не знаю.

Опять воцарилось молчание.

— Ну, что ж, — начал он. — Как вашей милости будет угодно. Ну, вы родите. Сэр Клиффорд будет доволен. Я тоже ничего не потеряю. Напротив,

судьба послала мне несколько прекрасных мгновений, действительно прекрасных, — с этими словами он, чуть не зевая, потянулся на стуле. — Вы воспользовались мной, — продолжал он. — Что ж, не вы первая, не вы последняя. Но хоть унижение в этот раз скрашено удовольствием.

Он опять потянулся, по телу у него пробежала мелкая дрожь, подбородок как-то странно выпятился.

— Это не так. У меня и в мыслях не было воспользоваться вами, — сказала Конни.

— Всегда готов к услугам вашей милости.

— Но вы мне очень нравитесь.

— Да? — рассмеялся он. — Вы мне тоже очень нравитесь, так что мы квиты.

И он посмотрел на нее изменившимся, потемневшим взглядом.

— Может, пойдем сейчас наверх? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Нет, только не здесь. Не сейчас! — поспешно возразила она. Начни он настаивать, она бы покорилась — так сильно ее тянуло к нему.

Он отвернулся и, казалось, забыл о ней.

— Мне бы хотелось ощущать ваше тело. Так же, как ощущаете вы мое, — сказала она. — Я ведь

еще ни разу не прикоснулась к вашему телу.

Он взглянул на нее и улыбнулся.

— Ну, так идем!

— Нет, нет! Лучше в сторожке. Хорошо?

— А как я ощущаю? — спросил он.

— Когда ласкаете.

Взглянув на нее, он перехватил ее отяжелевший, неспокойный взгляд.

— Вам это нравится? — спросил он, все еще улыбаясь.

— Да, а вам?

— Мне? — и прибавил изменившимся тоном: — Нравится. И вы это знаете.

Да, она знала.

Конни встала, взяла шляпку.

— Мне пора идти, — сказала она.

— Идите, конечно.

Ей хотелось, чтобы он протянул руку, коснулся ее, сказал что-нибудь, но он молчал в почтительном ожидании.

— Спасибо за чай, — сказала она.

— Не смею благодарить вашу милость за оказанную честь мне и моему очагу.

Конни пошла по дорожке, ведущей в лес, а он стоял в дверях, и легкая усмешка чуть кривила его губы. Флосси, задрав хвост, бросилась было

вдогонку. Конни шла медленно, не шла, а тащилась, чувствуя, что он смотрит ей вслед, улыбаясь непонятной улыбкой.

Она вернулась домой расстроенная. Ее задели его слова, что она пользуется им в своих целях, потому что ведь, в сущности, это была правда. И в ней опять заговорили противоречивые чувства — возмущение и потребность скорее помириться с ним.

За чаем Конни была молчалива и рано удалилась наверх. Она себе места не находила. Надо, не мешкая, на что-то решиться. Вот возьмет и пойдет прямо сейчас в сторожку. А если его там нет? Что ж, может, оно и к лучшему.

Конни незаметно выскользнула из дома через заднюю дверь и пошла в лес, все еще пребывая в унынии.

У самой сторожки она вдруг почувствовала сильнейшее смущение. Его она увидела сразу; он стоял нагнувшись в рубашке и выгонял из загона кур, вокруг которых путались фазанята, крепенькие, еще немного неуклюжие, но поизящнее обыкновенных цыплят.

Конни пошла прямо к нему.

— Видите, я пришла, — сказала она просто.

— Вижу, — ответил он, выпрямляясь и глядя на

нее с заметным удивлением.

— Вы выпускаете кур? — спросила она.

— Выгоняю. Не выгонишь, сами не пойдут. Им холод нипочем, у несушек, вишь, одно на уме — как бы чего с птенцами не приключилось.

Бедняжки куры, вот он, инстинкт продолжения рода. Слепая материнская привязанность! И ведь им все равно, чьи яйца высиживать. Конни поглядела на них с жалостью.

Оба беспомощно молчали.

— Пойдем, что ли, в сторожку, — сказал он наконец.

— А вы этого хотите? — спросила она неуверенно.

— Ну так что, идем, нет?

И она пошла с ним. Он затворил дверь, и стало совсем темно; как в те разы засветил несильно фонарь.

— У вас ничего нет под платьем? — спросил он.

— Ничего.

— Ну, так и я буду нагишом.

Он постелил одеяла, одно оставил сбоку, чтобы накрыться. Конни сняла шляпу, тряхнула волосами. Он сел, разулся, снял носки, стянул вельветовые брюки.

— Ложитесь! — велел он, стоя в одной рубахе.

Она молча повиновалась, он лег рядом и натянул на обоих одеяло.

— Ну вот, — проговорил он.

Закатал вверх ее платье до самой груди и стал нежно целовать соски, лаская их губами.

— Вот славно-то! — сказал он, потеревшись щекой о ее теплый живот.

Конни тоже обняла его; но ей вдруг стало страшно; она испугалась его гладкого, худого тела, которое оказалось таким сильным и яростным. Все внутри у нее сжалось от страха.

— Славно-то как! — повторил он, вздохнув.

От этих слов что-то в ней дрогнуло, ум в сопротивлении напрягся, ей неприятна была близость чужого тела, стремительность его движений. И страсть на этот раз не проснулась в ней. Ее руки безучастно обнимали его размеренно движущееся тело, она отвечала ему против воли: ей казалось, у нее открылся третий глаз и отрешенно следит за происходящим: его прыгающие бедра казались ей смешными, убыстряющиеся толчки — просто фарсом. Подскоки ягодиц, сокращение бедного маленького влажного пениса — и это любовь! В конце концов нынешнее поколение право, чувствуя презрение к этому спектаклю. Поэты говорят, и с ними нельзя не согласиться, что

Бог, создавший человека, обладал, по-видимому, несколько странным, если не сказать злобным, чувством юмора. Наделив человека разумом, он безысходно навязал ему эту смешную позу, вселил слепую, неуправляемую тягу к участию в этом спектакле. Даже Мопассан назвал его «унизительным». Мужчина презирает половой акт, а обойтись без него не может.

Холодный, насмешливый, непостижимый женский ум оценивал происходящее со стороны; и хотя она лежала податливо, ее так и подмывало рвануться и сбросить с себя мужчину, освободиться от его жестких объятий, от этой абсурдной пляски его бедер, ягодиц. Его тело представлялось ей глупым, непристойным, отталкивающим в своей незавершенности. Ведь нет сомнения, что дальнейшая эволюция отменит этот спектакль.

Тем не менее, когда все скоро кончилось и Он лежал, замерев, очень далекий, канувший за пределы ее разумения, сердце ее заныло. Он уходил от нее, отступал, как отливная волна, кинувшая на берег ненужный ей камешек. Рыдание вдруг сотрясло ее, и он очнулся.

— Ты чего? — сказал он. — Ну, не сладилось в этот раз, бывает.

Значит, он понял! Рыдания ее стали безудерж-

ны.

— Чего убиваться-то! — продолжал он. — Раз на раз не приходится.

— Я… я не могу тебя любить, — захлебывалась она слезами.

— Ну и ладно. Реветь-то чего! Никто тебя не понуждает любить.

Он все еще держал руку на ее груди. Конни не сразу разомкнула руки. Его слова не утешили ее: она плакала навзрыд.

— Ну, ну, — говорил он. — Вишь как бывает: то густо, то пусто.

— Я хочу… хочу тебя любить, — причитала сквозь слезы Конни. — Но почему-то не могу. Все мне кажется таким ужасным.

Он засмеялся, удивленно и с оттенком горечи.

— Чего ужасно-то? Кажется — перекрестись. Эка невидаль — не любишь. А коли не любишь, неволить себя — грех. Да только ведь орех с червоточиной — один на сотню. Что же теперь, из-за одного ореха вешаться?

Он убрал руку с ее груди, не приласкав. И она почувствовала какое-то надсадное удовольствие. Конни не выносила эту его народную манеру говорить — вишь, понужать, эка невидаль. Еще встанет сейчас и начнет прямо над ней застеги-

вать эти нелепые вельветовые брюки, Микаэлис из приличия хоть отворачивался. Такая самоуверенность, ему и в голову не придет, что в глазах людей он просто клоун, дурно воспитанный клоун.

И все же, когда он отстранился от нее и стал молча вставать, она вцепилась в него как в бреду.

— Не уходи! Не уходи от меня! Не сердись! Обними лучше. Крепко обними, — шептала она в исступлении, не понимая, что говорит, удерживая с невесть откуда взявшейся силой. Она искала спасения от самой себя, своего внутреннего неприятия, сопротивления, которое было так сильно.

И он внял ей, обнял, привлек к себе, взял на руки, и она вдруг ощутила себя крошечным комочком. Сопротивление исчезло, в душе воцарился ни с чем не сравнимый покой. И тогда эта нежная, доверчиво прильнувшая к нему женщина стала для него бесконечно желанна. Он жаждал обладать этой мягкой женственной красотой, волнующей в нем каждую жилку. И он стал, как в тумане, ласкать ее ладонью, воплощавшей чистую живую страсть. Ладонь его плыла по шелковистым округлым бедрам, теплым холмикам ягодиц, все ниже, ниже, пока не

коснулась самых чувствительных ее клеточек. Она отогревалась, оттаивала в его пламени. Мужская его плоть напряглась сильно, уверенно. И она покорилась ему. Точно электрический разряд пробежал по ее телу, это было как смерть, и она вся ему раскрылась. Он не посмеет сейчас быть резким, разящим, ведь она беззащитна, вся открыта ему. И если бы он вонзился в ее тело кинжалом, это была бы смерть. На нее нахлынул мгновенный ужас. Но движение его было странным, замедленным, несущим мир — темное, тяжелое и вместе медленное колыхание космоса, сотворившее Землю. Ужас унялся у нее в груди, ее объял покой, ничего затаенного не осталось. Она отреклась от всего, от себя и предалась несущейся стремнине.

Она сама была теперь океан; его тяжелая зыбь, раскачивающая свою темную немую бездну; где-то в глуби бездна расступалась, посылая в стороны длинные, тягучие валы, — расступалась от нежных и сильных толчков; толчки уходили все глубже; валы, которые были она сама, колыхались сильнее, обнажая ее, порывая с ней… Внезапно нежное и сильное содрогание коснулось святая святых ее плоти. Крещендо разрешилось, и она исчезла. Исчезла и родилась

заново — женщиной!

Как это было прекрасно! Возвращение к жизни не стерло в памяти только что пережитого чуда. Исходя любовью к чужому мужчине, она не замечала, как таинственный гость уходит от нее. После столь мощно явленной силы он уходил кротко, неосязаемо. А когда совсем исчез, из груди ее вырвался горестный крик утраты. Он был само совершенство! Она так любила его!

Только сейчас она осознала, что он похож на бутон, маленький, нежный, безгласный бутон; и она опять вскрикнула, на этот раз с недоуменной болью: ее женское сердце оплакивало мощь, обернувшуюся немощью.

— Он был так прекрасен! — всхлипнула она. — Так прекрасен.

А Меллорс молчал, все еще обнимая ее тело и тихо целуя. Она всхлипывала от избытка чувства — сожженная в пепел жертва и вновь родившееся существо.

И тогда в сердце у нее пробудилось странное восхищение. Мужчина! Непостижимая для нее мужская природа. Руки ее блуждали по его телу, а в душе все еще тлел страх. Страх, который вызывало в ней это непонятное, совсем недавно враждебное, даже отталкивающее существо —

мужчина. А теперь она с нежностью касается его. Сыны Божий и дочери человеческие. Как он красив, как гладка его кожа. Как прекрасен, могуч, чист и нежен покой его тела, заряженного страстью. Покой, присущий сильной и нежной плоти! Как он прекрасен! Как прекрасен! Ее ладони робко скользнули ниже, коснулись мягких ягодиц. Совершенная красота! Новое, неведомое знание, как пламенем, опалило ее. Нет, это невероятно — ведь только что эта красота представлялась ей чуть не безобразием. Несказанная красота этих круглых тугих ягодиц. Непостижимо сложный механизм жизни; полная скрытой энергии красота. А эта странная загадочная тяжесть мошонки? Великая тайна! Начало начал всего, девственный источник прекрасного…

Она прижалась к нему, шумно вздохнув, и в этом вздохе слились изумление, благоговейный восторг, граничащий с ужасом. Он молча притянул ее к себе, все это время он так и не сказал ни слова. Она прижималась к нему все плотнее, стараясь быть как можно ближе к этому чуду. И вот опять полный, непостижимый покой точно подернуло рябью: медленно, угрожающе заворочался фаллос. И сердце ее объял священный трепет.

Близость на этот раз была нежной и переливчатой, ускользающей от восприятия. Все ее существо трепетало живым, неуправляемым трепетом плазмы. Она не понимала, что происходит. Не помнила, что с ней было. Она знала одно — ничего сладостнее она никогда прежде не испытывала. И уже после всего на нее снизошел полный, блаженный покой отрешенности, и она пребывала в нем Бог весть сколько времени. Он все еще был с ней, погруженный, как и она, в океан молчания. И на поверхность не вырвалось ни одного слова.

Когда внешний мир стал проступать в сознании, Конни прошептала: «Любовь моя! Любовь!» Он молча прижал ее к себе, она свернулась калачиком у него на груди, упиваясь совершенной гармонией…

Молчание его начинало тревожить. Его руки Ласкали ее, как лепестки цветка, такие покойные и такие странные.

— Ты где? — шептала она ему. — Где? Ну скажи что-нибудь! Хоть словечко!

— Моя девонька, — он нежно поцеловал ее.

Но она как не слышала, не понимала, где он. Его молчание, казалось, отчуждает его.

— Ты ведь любишь меня? — спросила она.

— Ты это знаешь, миленькая.

— А ты все равно скажи.

— Люблю. Ты ведь чувствуешь это. — Он едва шевелил губами, но говорил твердо и с нежностью. Она еще теснее прижалась к нему. Он был скуп на слова, а ей хотелось, чтобы он снова и снова повторял, что любит.

— Ты меня любишь, да, любишь! — истово прошептала она.

Он опять стал поглаживать ее, как гладил бы цветок. В ладонях теперь уже не было ни искорки страсти, а только бережное любование. А ей хотелось слышать уверения в любви.

— Скажи, что всегда будешь меня любить, — требовала она.

— У-гу, — промычал он отрешенно.

И она поняла, что ее настойчивость только отдаляет его от нее.

— Тебе, наверное, пора идти, — сказал он наконец.

— Нет, нет, — запротестовала она.

Но он уже краем уха прислушивался к звукам наружного мира.

— Начинает темнеть, — беспокоился он.

И она уловила в этом голосе нотки отрезвления. Она поцеловала его, по-женски печалясь, что час

ее миновал.

Он встал, подкрутил ярче фонарь и начал быстро одеваться. Он стоял над ней, застегивая брюки, глядя на нее вниз темными, расширенными глазами, лицо слегка порозовело, волосы растрепались — и такой он был естественный, спокойный, уютный в неярком свете фонаря, такой красивый, не найти слов. И ей опять захотелось крепко прижаться к нему, обнять; в его красивом лице она подметила полусонную отдаленность и опять чуть не расплакалась — так бы схватить его и никуда не пускать. Нет, этого никогда не будет, не может быть. Она все не вставала, нежно белел округлый холмик ее бедра.

Он не знал, о чем она думает, но и он любовался ею — живым, ласковым, удивительным созданием, которое принадлежало ему.

— Я люблю тебя, потому что ты моя баба, — сказал он.

— Я тебе нравлюсь? — У Конни забилось сердце.

— Ты моя баба, этим сказано все. Я люблю тебя, потому что сегодня ты вся совсем отдалась мне.

Он нагнулся, поцеловал ее и натянул на нее одеяло.

— Ты никогда от меня не уйдешь? — спросила

она.

— Чего спрашивать-то?

— Но ты теперь веришь, что я тебя люблю?

— Сейчас ты любишь. Но ведь у тебя и в мыслях не было, что полюбишь. Чего о будущем-то гадать. Начнешь думать, сомневаться…

— Никогда не говори мне таких вещей. Но теперь-то ты не считаешь, что я хотела тобой воспользоваться?

— Как воспользоваться?

— Родить от тебя ребенка.

— Сейчас бабе понести — плевое дело, только пальчиков помани, — проговорил он и, сев на стул, начал пристегивать носки.

— Неправда. Неужели ты и сам этому веришь?

— Верю — не верю… — сказал он, поглядев на нее исподлобья. — А сегодня было наилучше всего.

Она лежала спокойно. Он тихо отворил дверь. Небо было темно-синее, к низу переходящее в бирюзу. Он вышел запереть кур, что-то тихонько сказал Флосси. А она лежала и не могла надивиться этому диву — жизни, живым тварям.

Когда он вернулся, она все еще лежала, сияя радостным возбуждением.

Он сел рядом на скамейку, опустив руки между

колен.

— Приходи до отъезда ко мне домой, на всю ночь, — сказал он, подняв брови и не отрывая от нее взгляда.

— На всю ночь? — улыбнулась она.

— Придешь?

— Приду.

— Вот и лады, — ответил он на своем кошмарном наречии.

— Лады, — передразнила она его.

Он улыбнулся.

— Когда?

— Наверное, в воскресенье.

— В воскресенье? Ха! В воскресенье негоже, — возразил он.

— Почему негоже? — спросила она.

Он опять рассмеялся — смешно это у нее получается: лады, негоже.

— Ты не сможешь.

— Смогу.

— Ладно, вставай. Пора и честь знать. — Он наклонился и нежно погладил ладонью ее лицо.

— Кралечка моя. Лучшей кралечки на всем свете нет.

— Что такое кралечка?

— Не знаешь разве? Кралечка — значит люби-

мая баба.

— Кралечка, — опять поддразнила она его. — Это когда спариваются?

— Спариваются животные. А кралечка — это ты. Смекаешь? Ты ведь не скотина какая-нибудь. Даже когда спариваешься. Краля! Любота, одно слово.

Она встала и поцеловала его а переносицу. Глаза его смотрели глубоко, бархатисто, и с таким теплом.

— Я правда тебе нравлюсь?

Он молча поцеловал ее.

Его рука скользила по знакомым округлостям ее тела уверенно, нежно, без похоти.

Смеркалось; она быстро шла домой, и окружающий мир казался ей сном: деревья качались, точно корабли на волнах, ставшие на якорь; крутой склон, ведущий к, дому, горбатился, как огромный медведь.

13

В воскресенье Клиффорду захотелось покататься по лесу. Было чудесное утро. Сад пенился кипенно-белыми грушами и сливами — извечное весеннее чудо. Это буйное цветение мира и бедный Клиффорд, не способный без чужой помощи пересесть с кресла на свой «банный» стул, являли собой жестокий контраст, но Клиффорд не замечал его; он даже, казалось, гордился своим увечьем. А Конни не могла без дрожи в сердце перекладывать с кресла на стул его безжизненные ноги; и теперь вместо нее Клиффорду помогала миссис Болтон или Филд.

Она ждала его в конце аллеи, под буками. Наконец показалось его кресло; оно двигалось медленно, пыхтя, вызывая жалость хилостью и самодовольством. Подъехав к жене, Клиффорд изрек:

— Сэр Клиффорд на своем лихом скакуне.

— Скажи лучше — на Росинанте, — рассмеялась Конни.

Клиффорд нажал на тормоз и оглянулся на дом — невысокое, растянутое, потемневшее от

времени строение.

— А Рагби-холл и глазом не моргнет, — сказал он. — Впрочем, чему удивляться. Хозяина везет самоновейшее изобретение человеческого гения. Никакому скакуну с ним не тягаться.

— Пожалуй, что не тягаться. Души Платона отправились на небо в колеснице, запряженной двумя рысаками. Теперь бы их отвозил туда фордик.

— Скорее роллс-ройс. Платон-то был аристократ.

— Вот именно. Нет больше вороных, некого стегать и мучать. Платон и помыслить не мог, что придет время и не станет ни белых, ни вороных. Возить будут одни моторы.

— Моторы и бензин, — подхватил Клиффорд и, указав рукой на дом, прибавил: — Надеюсь, через год сделать небольшой ремонт. Возможно, буду располагать лишней тысячей фунтов. Работа очень дорогая.

— Хорошо бы. Только бы не было забастовок.

— Какой им прок бастовать? Погубят производство, и все. Вернее, то, что от него осталось. Теперь это и дураку ясно.

— А может, они этого и добиваются.

— Пожалуйста, оставь эти женские глупости!

Если не производство, чем они будут набивать брюхо? Хотя, конечно, кошельков оно им не набьет, — сказал Клиффорд, употребив оборот, напомнивший ей миссис Болтон.

— Не ты ли на днях заявил, что ты анархист-консерватор? — невинно заметила Конни.

— А ты не поняла, что я хотел этим сказать? Тогда я тебе объясню: человек может делать что хочет, чувствовать что хочет, быть кем хочет, но только в рамках частной жизни, не посягая на устои.

Конни несколько шагов шла молча. Потом сказала упрямо:

— Другими словами, яйцо может тухнуть, как ему вздумается, лишь бы скорлупа не лопнула? Да ведь как раз тухлые яйца и лопаются.

— Но люди не куриные яйца и даже не ангельские, моя дорогая проповедница.

Этим ярким весенним утром Клиффорд был в бодром, даже приподнятом настроении. Высоко в небе заливались жаворонки, шахта в долине пыхтела паром почти неслышно. Все кругом было точь-в-точь как до войны. В общем-то Конни не хотелось спорить. Но и углубляться в лес с Клиффордом тоже не было желания. Вот в ней и говорил дух противоречия.

— Не бойся, — сказал Клиффорд, — забастовок больше не будет. Все зависит от того, как управлять народом.

— Почему не будет?

— Я так сделаю, что они потеряют всякий смысл.

— А рабочие тебе позволят?

— Мы их не спросим. Будем действовать так, что они ничего не заметят. Для их же пользы, чтобы не погибло производство.

— Но, конечно, и для вашей пользы?

— Естественно! Для общей пользы. Но для них это важнее, чем для меня. Я могу без шахты прожить, они не могут. Умрут с голоду, если шахты закроются. У меня же есть другие источники пропитания.

Они стали смотреть на шахту, господствующую над неглубокой долиной, на домики Тивершолла под черными крышами, на улицу, змеей ползущую по склону холма. Колокола на старой пожелтевшей церкви вызванивали: «Вос-кре-сень-е, вос-кре-сень-е».

— Неужели рабочие позволят вам диктовать условия?

— Милочка моя, да им ничего не останется делать. Надо только знать к ним подход.

— Но неужели невозможно достичь какого-то взаимопонимания?

— Конечно, возможно. Для этого они должны усвоить одно: главное — производство, человек — дело второстепенное.

— А хозяин производства, конечно, ты?

— Разумеется. Вопросу собственности придается сейчас чуть ли не религиозное значение. Впрочем, это повелось еще со времен Христа. Вспомни хотя бы святого Франциска. Только теперь мы говорим немного иначе: вместо «раздай имущество бедным», «вложи, что имеешь, в производство». Чтобы у бедных была работа. Это единственный способ накормить все рты. Попробуй раздай имущество — умрешь от голода вместе с бедняками. Планировать всеобщий голод — глупо. Равенство в нищете — не очень веселая вещь. Нищета уродлива.

— А неравенство?

— Неравенство — это судьба. Почему планета Юпитер больше планеты Нептун? Неразумно стремиться исправить мировой порядок.

— Но раз уж в человечестве завелись ревность, зависть, недовольство…

— Надо безжалостно искоренять эти чувства. Кто-то должен командовать парадом.

— Кто же им сейчас командует?

— Те, кому принадлежит производство, кто им управляет.

Воцарилось долгое молчание.

— Мне кажется, эти люди — дурные правители.

— А что бы ты делала на их месте?

— Они несерьезно относятся к своим обязанностям.

— Уверяю тебя, гораздо серьезнее, чем ты к своему положению «леди».

— Камень в мой огород? Я могу и обидеться.

Он остановил кресло и взглянул на нее.

— Кто может сейчас позволить себе уклоняться от своих обязанностей? Приведи хоть один пример! Среди дурных правителей, как ты изволила выразиться, таких нет.

— Но я не хочу командовать никаким парадом.

— Это, милая моя, трусость. Ты — хозяйка, тебе выпал такой жребий. И ты должна нести свою ношу. Кто дает углекопам все, что составляет смысл и радость жизни: политические свободы, образование, какое бы оно ни было; здоровые санитарные условия, здравоохранение, книги, музыку? Кто дает им все это? Может, какие-то другие рабочие? Нет. Все это дали им мы. Те,

кто живет в Рагби, Шипли и других таких же поместьях, разбросанных по всей Англии. Дают и будут давать впредь. Вот в чем наш долг.

Конни слушала, покраснев до корней волос.

— Я бы хотела давать, — сказала она. — Да нельзя. Все теперь продается, и за все надо платить. Все, что ты сейчас перечислил, Рагби и Шипли продают народу, получая солидные барыши. Все продается. Твое сердце не сделало бесплатно ни одного сострадательного удара. А скажи: кто отнял у людей возможность жить естественной жизнью; кто лишил рудокопов мужественности, доблести, красоты, да просто осанки? Кто, наконец, навязал им это чудовище — промышленное производство? Кто виноват во всем этом?

— Что же мне теперь делать? — побледнев спросил Клиффорд. — Просить их прийти и грабить меня?

— Почему, ну почему Тивершолл так отвратительно безобразен? Почему их жизнь так безысходна?

— Они сами построили этот Тивершолл, их никто не неволил. На их вкус Тивершолл красив и жизнь их прекрасна. Они сами ее создали. По пословице: всяк сверчок знай свой шесток.

— Но ты ведь принуждаешь их работать на

себя. Их шесток — твоя шахта.

— Никого я не принуждаю. Каждый сам ищет свою кормушку.

— Производство поработило их, жизнь их безнадежна. Так же, впрочем, как и наша, — Конни почти кричала.

— Заблуждаешься. Все, что ты говоришь, — дань дышащему на ладан романтизму. Вот ты стоишь здесь, и в твоем лице, во всей фигуре не заметно никакой безнадежности, милая моя женушка.

И Клиффорд был прав. Синие глаза Конни горели, щеки заливал румянец; она была живым воплощением бунтарства, антиподом безнадежности. Среди травы она заметила только что распустившиеся первоцветы, которые весело топорщили свои ватные головки. И вдруг подумала, ведь не прав же Клиффорд, ясно, что не прав, так почему она не может вразумительно сказать ему это, объяснить его неправоту?

— Не удивительно, что эти люди не любят тебя, — единственное, что она нашлась сказать.

— Это не так, — возразил он. — И, пожалуйста, не путай понятий. Они не люди в твоем понимании этого слова. Это вид млекопитающих, которых ты никогда не понимала и не поймешь.

И не надо распространять на других собственные иллюзии. Простолюдин всегда остается простолюдином. Рабы Нерона лишь самую малость отличаются от английских шахтеров и рабочих Форда. Я имею в виду тех древних рабов, что корежились в копях и гнули спины на полях. Рабы есть рабы, они не меняются от поколения к поколению. И среди них были и будут отдельные яркие личности. Но на общей массе это не сказывается. Народ не становится лучше — вот один из главных постулатов социологии panem et circenses![14] Но только сегодня вместо зрелищ мы дали ему просвещение — вредная подмена. Беда нашего времени заключается в том, что мы извратили идею зрелищ, отравив народ грамотой.

Конни пугалась, когда Клиффорд заводил речь о народе. В том, что он говорил, была своя, убийственная логика. Но именно это и удручало.

Заметив, что Конни побледнела и сжала губы, Клиффорд покатил дальше, и оба не сказали больше ни слова, пока кресло не остановилось у калитки, ведущей в лес. Конни открыла калитку.

— И нужны нам сейчас не мечи, а розги. Народ испокон веков нуждался в жестокой розге пра-

---

[14] notes: 14
хлеба и зрелищ *(лат.)*

вителя и будет нуждаться до конца дней. Когда говорят, что народ может сам управлять жизнью, это лицемерие и фарс.

— И ты мог бы управлять народом?

— Конечно! Ни разум, ни воля у меня не изувечены войной. А ноги… Что ж, ноги правителям не так и нужны. Да, я могу управлять народом в каких-то пределах. У меня нет ни грамма сомнения. Подари мне сына, и он будет править после меня.

— Но он не будет твоим кровным сыном, — проговорила она, запинаясь. — Может статься, он будет принадлежать не твоему классу.

— А мне все равно, кто будет его природный отец, при условии, что им будет физически крепкий мужчина с нормальными умственными способностями. Отдай мне ребенка от здорового, умственно полноценного мужчины, и я сделаю из него совершенный образчик Чаттерли. Неважно, кем мы зачаты, важно, куда судьбе заблагорассудится поместить нас. Поместите любого ребенка среди правящего класса, и он вырастет прекрасным его представителем. А поместите в простонародную среду, и он вырастет плебеем, продуктом своего класса. Влияние окружающей среды на ребенка — главнейший

фактор воспитания.

— Так, значит, простые люди не составляют особого класса, и не кровь делает аристократа аристократом?

— Отнюдь, дитя мое! Все это романтические бредни. Аристократия — это судьба. Так же как и народ. Индивидуальные свойства не играют роли. Весь фокус заключается в том, в какой, среде ребенок вырос, сформировалась его личность. Аристократия — это не отдельные люди, это образ жизни. И наоборот, образ жизни раба делает его тем, что он есть.

— Значит, такой вещи, как всеобщее равенство, не существует?

— Это как смотреть. Желудок, который требует пищи, есть у всех. Но ежели взглянуть с другой стороны — я говорю о двух видах деятельности: творческой и исполнительской, — между правящим и подчиненным классом пролегает пропасть. Эти две социальные функции — диаметрально противоположны. Но ведь именно они определяют индивидуальные свойства личности.

Конни слушала разглагольствования мужа, не переставая изумляться.

— Может, двинемся дальше? — предложила

она.

И Клиффорд опять запустил мотор. Он высказался, и на него опять нашла странная тупая апатия, которая так действовала ей на нервы. «Въедем в лес, — решила она, — и я постараюсь больше не спорить».

Впереди, точно по дну ущелья, бежала верховая тропа, зажатая с двух сторон сплошным орешником, над которым высились голые еще, серые кроны деревьев. Кресло, отдуваясь, въехало в море белопенных незабудок, светлеющих в тени кустов. Клиффорд старался держаться середины, где незабудки были кем-то уже примяты. И все-таки позади оставался проложенный в цветах след. Идя за креслом, Конни видела, как колеса, подпрыгивая на неровностях, давили голубые пики дубровок, белые зонтики лесного чая и крошечные желтые головки бальзамова яблока. Каких только цветов тут не было, уже синели озерца и первых колокольчиков.

— Да, ты права, сейчас в лесу очень красиво, — сказал Клиффорд, — просто поразительно! Нет ничего прекрасней английской весны!

Слова прозвучали так, будто это весеннее буйство было вызвано к жизни парламентским актом. Английская весна! А почему не ирланд-

ская, не еврейская? Кресло медленно подвигалось вперед, мимо высоких литых колокольчиков, стоявших навытяжку, как пшеница в поле, прямо по серым разлапистым лопухам.

Доехали до старой вырубки, залитой ослепительно ярким солнцем. В его лучах ярко-голубые колокольчики переливались то сиреневым, то лиловым. Папоротники тянули вверх коричневые изогнутые головки, точно легион молодых змеек, спешащих шепнуть на ухо Еве новый коварный замысел.

Клиффорд катил в сторону спуска, Конни медленно шла следом. На дубах уже лопались мягкие коричневатые почки. Всюду из корявой плоти дерев выползали первые нежные почки. Старые дремучие дубы опушались нежно-зелеными мятыми листочками, парящими на коричневатых створках, которые топырились совсем как крылья летучей мыши. Почему человеку не дано обновляться, выбрасывая свежие молодые побеги? Бедный безвозвратно дряхлеющий человек!

Клиффорд остановил кресло у спуска и посмотрел вниз. Колокольчики затопили весь склон, источая теплое голубое сияние.

— Цвет сам по себе очень красивый, — заметил Клиффорд, — но на холст его не перенесешь. Не

годится.

— Само собой, — рассеянно ответила Конни: мысли ее витали далеко отсюда.

— Рискнуть разве проехаться до источника? — сказал Клиффорд.

— А кресло обратно поднимется?

— Надо попробовать. Кто не дерзает, тот не выигрывает.

И кресло начало медленно двигаться вниз по широкой верховой тропе, синевшей дикими гиацинтами. О, самый утлый из всех мыслимых кораблей, бороздящий гиацинтовые отмели! О, жалкая скорлупка среди последних неукрощенных волн, участник последнего плавания нашей цивилизации! Куда ты правишь свой парус, чудоюдо, корабль на колесах? Клиффорд, спокойный, довольный собой, в старой черной шляпе, твидовом пиджаке, неподвижный, внимательный, не выпускал штурвала. О, капитан, мой капитан, закончен наш поход! Хотя, может, и не совсем! Конни в сером домашнем платье двигалась в кильватере, не спуская глаз с подпрыгивающего на спуске кресла.

Миновали узкую стежку, ведущую к егерской сторожке. Слава Богу, тропинка уже кресла — двоим не разойтись. Наконец, спуск окончен,

кресло повернуло и скрылось за кустами. Конни услыхала позади легкий свист. Она резко обернулась: следом за ней спускался егерь, позади бежала его собака.

— Сэр Клиффорд хочет посетить сторожку? — спросил он, глядя ей прямо в глаза.

— Нет, он доедет только до источника.

— А-а, хорошо! Тогда я могу отлучиться. До вечера! Буду ждать около десяти у калитки в парк. — И он опять поглядел ей прямо в глаза.

— Да, — выдохнула она.

Из-за поворота донесся звук рожка — Клиффорд сигналил Конни. «А-у!» — откликнулась она. По лицу егеря пробежала не то мысль, не то воспоминание, он легко провел ладонью по ее груди. Она испуганно глянула на него и побежала вниз, еще раз крикнув Клиффорду. Егерь смотрел сверху, как она бежит, потом повернулся, едва заметная усмешка коснулась его губ, и он пошел дальше своей дорогой.

Клиффорд тем временем медленно взбирался по склону соседнего холма, где на полдороге вверх среди темных лиственниц бил ключ. Конни догнала его у самой воды.

— А скакун у меня лихой, — сказал Клиффорд, погладив подлокотник кресла.

Конни смотрела на огромные серые лопухи, которые торчали, как привидения, под первыми лиственницами, их называют здесь «ревень Робина Гуда». Тихо и мрачно было вокруг, зато в самом источнике весело булькала вода. Цвели очанки, вверх тянулись крепкие острия голубых дубровок. Вдруг у самой воды зашевелился желтоватый песок. Крот! Он выползал, разгребая землю розовыми лапками и смешно мотая слепым рыльцем с задранным кверху розовым пятачком.

— Можно подумать, он видит кончиком носа, — заметила Конни.

— Во всяком случае, он служит ему не хуже, чем глаза. Ты будешь пить?

— А ты?

Она сняла с ветки эмалированную кружку; наклонившись над источником, зачерпнула воды и протянула Клиффорду. Он стал пить маленькими глотками. Потом Конни зачерпнула еще раз и тоже сделала глоток.

— Холодная! — задохнулась она.

— Хороша! Ты хотела пить?

— А ты?

— Хотел, но не стал говорить.

Конни слышала, как стучит по дереву дятел,

как шумит мягко, таинственно ветер в ветвях лиственниц. Она взглянула наверх. По небесной сини плыли белые пухлые облака.

— Облака! — сказала она.

— Не тучи же! — возразил он.

По песку у источника мелькнула тень: крот вылез наружу и заторопился куда-то.

— Какая мерзкая тварь, надо бы его убить, — проговорил Клиффорд.

— Да ты глянь на него, вылитый пастор за кафедрой!

Конни сорвала цветок лесного чая и протянула Клиффорду.

— Аромат свежего сена! Такими духами душились в прошлом веке особы романтического склада. Надо, однако, отдать им должное, головы у них при этом работали отлично.

Конни опять посмотрела на небо.

— Боюсь, будет дождь, — сказала она.

— Дождь? С чего бы это? Тебе хочется, чтобы пошел дождь?

Двинулись в обратный путь. Клиффорд ехал вниз осторожно. Спустились в затененную лощину, повернули вправо и шагов через сто оказались у подножья длинного склона, залитого синевой колокольчиков.

— Ну, старина, вперед! — сказал Клиффорд, свернув на уходящую вверх тропу.

Подъем был крутой и ухабистый. Кресло ехало вперед неохотно, с трудом. Но все-таки ехало — то быстрее, то со скоростью черепахи; когда добрались до лужайки гиацинтов, кресло чихнуло, дернулось, еще немного протащилось, оставив позади гиацинты, и встало.

— Погуди, может, егерь услышит, — предложила Конни, — и подтолкнет тебя. Впрочем, это я и сама могу.

— Пусть оно лучше передохнет, — предложил Клиффорд. — Подложи, пожалуйста, под колесо камень.

Конни нашла камень, и стали ждать. Спустя немного, Клиффорд опять включил мотор. Кресло вздрагивало, дергалось, как паралитик, издавая непонятные звуки.

— Давай я толкну, — предложила Конни, встав сзади кресла.

— Ни в коем случае, — запретил Клиффорд. — Его изобрели не затем, чтобы толкать. Подвинь опять камень.

И снова молчание, снова попытка сдвинуться с места, еще более неудачная.

— Не упрямься, позволь мне толкнуть, — наста-

ивала Конни, — или посигналь, чтобы пришел егерь.

— Подожди!

Конни ничего не оставалось, как ждать. Клиффорд еще раз попытался тронуться с места и только совсем испортил дело.

— Если не хочешь, чтобы я толкала, посигналь егерю, — сказала Конни.

— Дьявол! Можешь ты помолчать хоть секунду!

Конни замолчала. Клиффорд нещадно терзал слабосильный моторчик кресла.

— Ты в конце концов его доконаешь, — не выдержала Конни. — Пожалей хоть свои нервы.

— Если бы я мог сойти с этого проклятого кресла и взглянуть, что там такое, — в отчаянии проговорил он. И нажал на клаксон. — Может, Меллорс скажет, что случилось.

Они ждали среди раздавленных гиацинтов, Конни взглянула на небо: облака приметно сгущались. Громко заворковал голубь: его заглушил резкий сигнал клаксона. Тут же из-за поворота появился Меллорс. И вопросительно взглянув на хозяина, откозырял.

— Вы что-нибудь понимаете в моторах? — спросил Клиффорд.

— Боюсь, что нет. Что-нибудь сломалось?

— Наверное, — коротко бросил Клиффорд.

Егерь наклонился к колесу и осмотрел маленький моторчик.

— Боюсь, я ничего не смыслю в механизмах, сэр Клиффорд, — произнес он спокойно. — Бензин есть, масло есть…

— Тогда посмотрите еще раз, нет ли какой-нибудь поломки.

Егерь поставил ружье к дереву, снял куртку, бросил рядом с ружьем. Рыжеватая собака села подле караулить. Затем он присел на корточки, заглянул под кресло и поковырял пальцем в замасленном моторчике, заметив с раздражением, что вымазал в масле чистейшую рубашку, которую носил по воскресеньям.

— На первый взгляд все в порядке, — сказал он. Встал, передвинул шляпу на затылок и потер лоб, по-видимому, соображая, что могло приключиться с этой механической штуковиной.

— Вы не заметили, рама цела? Посмотрите, все ли с ней в порядке?

Егерь лег на живот головой под кресло и, неудобно изогнувшись, стал ковырять что-то пальцем. Как жалок лежащий на животе мужчина, подумала Конни. Такой слабый, тонкий

посреди бескрайней земли.

— Все в порядке, насколько я могу судить, — чуть сдавленно проговорил он.

— Вы, я вижу, помочь не можете, — подытожил сэр Клиффорд.

— Думаю, что нет, — сказал егерь.

Он выбрался из-под кресла, сел на корточки — характерная поза шахтера — и прибавил:

— Во всяком случае, снаружи никаких поломок не видно.

Клиффорд завел мотор, включил передачу. Кресло ни с места.

— Прибавьте еще газу, — посоветовал егерь.

Клиффорд как будто не слышал, но газ прибавил, и кресло загудело, как навозная муха. Моторчик чихнул, фыркнул, проявляя признаки жизни.

— Кажется, поедет, — заметил Меллорс.

Клиффорд включил первую скорость. Кресло лихорадочно дернулось и медленно, скрипя, поехало.

— Я буду толкать сзади, — предложил Меллорс. — И эта штука возьмет подъем.

— Не смейте! — прикрикнул Клиффорд. — Машина сама справится.

— Но, Клиффорд, — вмешалась сидевшая на

скамейке Конни. — Ты и сам знаешь: для нее этот подъем слишком крут. Почему ты упрямишься?

Клиффорд побелел от ярости. Изо всех сил дернул рукоятку. Кресло пустилось было рысцой, метра два-три проехало и встало посреди полянки колокольчиков, сияющих какой-то особенной голубизной.

— На этот раз село, кажется, прочно, — сказал егерь. — Не хватает мощности.

— Мы берем этот подъем не первый раз, — холодно возразил Клиффорд.

— В этот раз не взять.

Клиффорд не ответил. И начал дергать и нажимать что попало: включил газ, убавил, прибавил, точно настраивал мотор на определенную волну. Затем вдруг рывком включил первую скорость. И лес огласился душераздирающим скрежетом.

— Смотрите не поломайте, — тихо проговорил егерь.

Кресло судорожно дернулось и свернуло в канаву.

— Клиффорд! — крикнула, подбегая, Конни.

Но Меллорс успел схватить кресло за поручень. Клиффорд налег на рычаги всем телом, сумел вырулить на тропу, и кресло, фыркая и треща, опять двинулось вверх. Меллорс толкал его сзади, и

кресло хоть и медленно, но ползло, точно хотело спасти свою честь.

— Видите, движемся, — торжествующе проговорил Клиффорд, обернувшись. И вдруг увидел за спиной лицо егеря. — Вы толкаете кресло?

— Оно бы иначе не шло.

— Отпустите сейчас же! Я ведь просил не помогать.

— Оно не поедет!

— Посмотрим! — чуть не сорвав голос, рявкнул Клиффорд.

Егерь отпустил поручень, повернулся и пошел вниз за ружьем и курткой. Мотор в тот же миг заглох, и кресло остановилось как вкопанное. Клиффорд, раб своего изобретения, чуть не скрипел зубами от бессилия. Он двигал рычаги рукой — ноги-то бездействовали. Крутил туда-сюда маленькие рукоятки, отчего мотор прямо-таки орал дурным голосом. Но кресло не двигалось. Не двигалось, и все тут. Наконец Клиффорд выключил мотор и застыл без движения, не зная, на ком сорвать гнев.

Констанция сидела в сторонке и с жалостью глядела на порушенные, растоптанные колокольчики: «Нет ничего прекрасней английской весны». «Да, я могу управлять народом». «И нуж-

ны нам сейчас не мечи, а розги». «Правящий класс!»

Егерь шел вверх, держа в руке ружье и перекинув через плечо куртку, верная Флосси трусила по пятам. Клиффорд опять попросил хоть что-нибудь сделать с мотором. Конни, ничего не смыслившая в моторах, скоростях, передачах, но бывшая неоднократно свидетельницей подобных срывов, сидела на скамейке молча, как бессловесная кукла.

Егерь вернулся, опять лег на живот: правящий класс и его обслуга!

— Ну-ка, попробуйте еще раз! — сказал он, вставая на ноги.

Он говорил спокойно, как говорят с детьми.

Клиффорд попробовал, Меллорс быстро пристроился сзади и начал опять толкать. Кресло пошло за счет сложения двух сил — механической и мускульной.

Клиффорд обернулся, позеленев от злости.

— Да говорят же вам, уберите руки.

Егерь тотчас отпустил кресло, и Клиффорд, как бы принося извинения, прибавил:

— Я должен знать, на что эта машина способна.

Положив на землю ружье, егерь стал натяги-

вать куртку — умыл руки.

И кресло медленно покатилось вниз.

— Клиффорд! — крикнула Конни. — Тормози.

Все трое — Конни, Меллорс и Клиффорд — двинулись одновременно. Конни с Меллорсом налетели друг на друга, кресло остановилось. На мгновение воцарилась мертвая тишина.

— Я, очевидно, полностью в вашей власти, — сдаваясь, проговорил Клиффорд.

Никто не ответил. Меллорс перекинул ружье на плечо, лицо у него до странности утратило всякое выражение, разве в глазах — тень вынужденной покорности. Его собака, Флосси, стоя на страже у ног хозяина, нервно пошевеливала хвостом, глядя на кресло с подозрением и неприязнью; действия этих трех существ человечьей породы были выше ее собачьего разумения, tableau vivant[15] была обрамлена потоптанными, помятыми колокольчиками. Все трое молчали.

— Полагаю, что придется ее толкать, — наконец высказался Клиффорд с напускным sang froid[16].

Никакого ответа. На отрешенном лице Меллорса не дрогнул ни один мускул, точно он и не

---

[15] notes: 15
живая картина *(фр.)*

[16] notes: 16
хладнокровием *(фр.)*

слышал. Конни с беспокойством взглянула на него. Клиффорд тоже обернулся.

— Вы не согласитесь, Меллорс, потолкать нас до дома? — высокомерно произнес он. — Надеюсь, я не сказал вам ничего, обидного, — прибавил с явной неприязнью.

— Разумеется, сэр Клиффорд! Вы хотите, чтобы я толкал ваше кресло?

— Если вас это не затруднит.

Егерь подошел, взялся за поручень, толкнул. На этот раз кресло не поддалось. Заело тормоза. Начали дергать, нажимать, егерь опять снял ружье и куртку. Теперь уже Клиффорд молчал. Приподняв задок кресла, егерь сильным ударом ноги попытался освободить колесо. Но и это не помогло. И он опустил кресло. Клиффорд сидел, вцепившись в подлокотники. У егеря от тяжести перехватило дух.

— Не смейте этого делать! — воскликнула Конни.

— Пожалуйста, помогите мне, дерните колесо, — попросил он ее.

— Ни за что! Не смейте больше поднимать кресло. Вы надорветесь, — сказала она, краснея.

Но он, посмотрев ей в глаза, повелительно кивнул. И она подчинилась. Егерь поднял кресло,

она с силой дернула и кресло сильно качнулось.

— Ради Бога, осторожнее! — испугался Клиффорд.

Но ничего страшного не произошло, а тормоз отпустило. Егерь подложил камень под колесо и сел на скамейку передохнуть; сердце у него бешено колотилось, от лица отлила кровь, он был на грани обморока. Конни поглядела на него и чуть не заплакала от возмущения. Опять воцарилось молчание. Она видела, как дрожат его руки, лежащие на коленях.

— Вам плохо? — спросила она, подойдя к нему.

— Нет, конечно! — почти сердито ответил он.

Тишина стала мертвой. Белокурый затылок Клиффорда не двигался. Даже Флосси стояла, точно окаменев. Небо все сильнее заволакивало тучами.

Наконец он вздохнул и высморкался в большой красный платок.

— Никак силы не вернутся после воспаления легких, — сказал он.

И опять никто не отозвался. Конни подумала, сколько же сил съело воспаление легких, если он надеялся без труда поднять это кресло с весьма увесистым Клиффордом. Только бы его здоровье не подорвалось совсем.

Егерь поднялся, взял куртку, перекинул через поручень кресла.

— Вы готовы, сэр Клиффорд?

— Я жду вас.

Он нагнулся, убрал из-под колеса камень и налег всем телом на поручень. Таким бледным Конни никогда не видела его. И таким отрешенным. Клиффорд был довольно плотный мужчина; а подъем довольно крутой. Конни стала рядом с егерем.

— Я тоже буду толкать! — сказала она.

И принялась толкать с силой, какую женщине придают злость и негодование. Коляска пошла быстрее. Клиффорд обернулся.

— Это так уж необходимо? — спросил он.

— Да! Ты что, хочешь убить человека? Если бы ты не упрямился и сразу позволил толкать…

Но она не окончила фразы — стала задыхаться. Толкать коляску оказалось не так-то легко.

— Потише, потише, — проговорил идущий рядом Меллорс, чуть улыбнувшись глазами.

— А вы уверены, что не надорвались? — спросила она: внутри у нее все клокотало от ярости.

Он помотал головой. Конни взглянула на его узкую, подвижную, загорелую руку. Эта рука ласкала ее. Она никогда раньше не пригляды-

валась к его рукам. В них был тот же странный внутренний покой, который исходил от всего его существа. И ей так захотелось взять сейчас его руку и крепко сжать. Душа ее рванулась к нему: он был так молчалив, так недосягаем. А он вдруг ощутил, как ожила, напряглась в нем плоть. Толкая коляску левой рукой, правую он опустил на ее белое, округлое запястье и стал ласкать. И точно огненный язык лизнул его сверху вниз вдоль спины. Конни быстро нагнулась и поцеловала его руку. И все это в присутствии холеного недвижного затылка Клиффорда.

Добравшись до верху, остановились, к радости Конни, передохнуть. У нее нет-нет и мелькала мысль: хорошо бы эти два мужчины стали друзьями — один ее муж, другой — отец ребенка, чего бы не поладить. Но теперь она убедилась в полной несбыточности этой надежды. Эти мужчины были противопоказаны один другому, несовместимы, как огонь и вода. Они готовы были стереть друг друга с лица земли. И Конни первый раз в жизни осознала, какое тонкое и сложное чувство ненависть. Первый раз она отчетливо поняла, что ненавидит Клиффорда, ненавидит лютой ненавистью. Она бы хотела, чтобы он просто перестал существовать. И что

странно: ненавидя его, честно признаваясь себе в этом, она чувствовала освобождение и жажду жить. «Да, я ненавижу его и жить с ним не буду», — пронеслось у нее в голове.

На ровной дороге егерю было нетрудно одному толкать кресло. Чтобы продемонстрировать полнейшее душевное равновесие, Клиффорд завел разговор о семейных делах — тетушке Еве, живущей в Дьеппе, сэре Малькольме, который спрашивал в письме, как Конни поедет в Венецию: с ним в поезде или с Хильдой в ее маленьком авто.

— Я, конечно, предпочитаю поезд, — сказала Конни. — Не люблю длинные поездки в автомобиле, летом такая пылища. Но мне бы хотелось знать и мнение Хильды.

— А она, наверное, захочет ехать с тобой.

— Скорее всего! Подожди, я помогу, опять начинается подъем. Знаешь, какое тяжелое кресло!

Она опять пошла рядом с егерем, толкая кресло по усыпанной розоватым гравием тропе. Ее нисколько не волновало, что их могут увидеть вместе.

— Почему бы не оставить меня здесь и не позвать Филда? Эта работа ему по силам, — сказал Клиффорд.

— Да тут уж близко, — ответила Конни, тяжело дыша.

Но преодолев подъем, опять остановились на отдых, и у нее и у Меллорса пот лил по лицу градом. И странная вещь — поначалу они чувствовали холодную отчужденность, но совместное старание опять сблизило их.

— Большое спасибо, Меллорс, — проговорил у дверей дома Клиффорд. — Просто надо сменить мотор, вот и все. Зайдите на кухню, там вас покормят. Время обеденное.

— Благодарю вас, сэр Клиффорд. По воскресеньям я обедаю у матушки.

— Ну, как знаете.

Меллорс надел куртку, бросил взгляд на Конни и козырнул.

Конни поднялась наверх разъяренная.

За обедом она дала волю чувствам.

— Почему ты с таким пренебрежением относишься к другим людям?

— К кому, например?

— К нашему лесничему. Если это привилегия правящего класса, мне тебя жалко.

— А в чем, собственно, дело?

— Человек был тяжело болен. И все еще физически не окреп. Поверь мне, будь я у тебя в

услужении, ты бы насиделся сегодня в лесу в этом идиотском кресле.

— Охотно верю.

— Вообрази, это он сидит в кресле с парализованными ногами и ведет себя как ты сегодня, интересно, что бы ты сделал на его месте?

— Моя дорогая христианочка, это смешение людей и личностей отдает дурным тоном.

— А твое гнусное чистоплюйское презрение к людям отдает, отдает… Даже слов не нахожу. Ты и твой правящий класс с этим вечным noblesse oblige[17].

— К чему же мое положение обязывает меня? Питать никому не нужное сострадание к моему лесничему? Нет уж, увольте. Уступаю это моей жене — воинствующей христианке.

— Господи, он ведь такой же человек, как и ты.

— Мой лесничий мне служит, я плачу ему два фунта в неделю и даю кров. Что еще надо?

— Плачу! За что ты ему платишь эти два фунта плюс кров?

— За его службу.

— Служба! Я бы на его месте сказала тебе, не нужны мне ни ваши фунты, ни ваш кров.

---

[17] notes: 17
положение обязывает *(фр.)*

— Вероятно, и он бы не прочь это сказать. Да не может позволить себе такой роскоши.

— И это значит управлять людьми! Нет, тебе это не дано, не обольщайся! Просто слепая судьба послала тебе больше денег, чем другим. Вот ты и нанимаешь людей работать на себя за два фунта в неделю пол угрозой голодной смерти. И это называется управление. Никому от тебя никакой пользы. Ты — бесчувственный сухарь. Носишься со своими деньгами, как обыкновенный жид.

— Очень элегантно изволите выражаться, леди Чаттерли.

— Уверяю тебя, ты был не менее элегантен сегодня в лесу. Мне стыдно, безумно стыдно за тебя. Мой отец во сто раз человечнее тебя, прирожденного аристократа.

Он потянулся к звонку пригласить миссис Болтон. Вид у него был явно обиженный.

Конни пошла наверх, шепча про себя в ярости: «Покупать людей! Дудки, меня-то он не купил. И я не обязана жить с ним под одной крышей. Дохлый джентльменишко с гуттаперчевой душой. А как они умеют пускать пыль в глаза своими манерами, ученостью, благородством. На самом-то деле душа у них пустая, как мыльный пузырь!»

Наверху ее мысли переключились на более

приятный предмет — как уйти вечером из дому, чтобы никто не заметил. И постепенно злость ее на Клиффорда прошла. Глупо тратить на него нервы, глупо ненавидеть его. Самое разумное — не питать к нему никаких чувств. И, конечно, не посвящать его в их с Меллорсом любовь. Сегодняшняя ссора имела долгую историю. Он всегда корил ее тем, что она слишком фамильярна со слугами, она же считала его высокомерное отношение к простым людям глупым, черствым и бессмысленным.

И Конни сошла вниз в своем обычном, покойном и серьезном, настроении. У Клиффорда же не на шутку разыгралась желчь. И чтобы успокоиться, он взялся за чтение. Конни заметила, что в руках у него французская книга.

— Ты читала Пруста? — спросил Клиффорд, подымая глаза от страницы.

— Пыталась, но он навевает на меня сон.

— И все-таки это замечательный писатель.

— Возможно, но скучен невероятно. Сплошное умствование; никаких эмоций. Только поток слов, описывающих эмоции. Я так устала от этих самодовлеющих умников.

— Ты предпочитаешь самодовлеющих дураков?

— Не знаю. Но ведь в жизни имеется, наверное, что-то среднее.

— Может, и имеется. А я люблю Пруста за его утонченный, с хорошими манерами анархизм.

— Что и превращает тебя в мумию.

— Слова, достойные доброй христианки.

Опять ссора! Она просто не может не вступить с ним в пререкания. Вот он сидит перед ней, полуживой мертвец, и хочет подчинить ее своей воле. Она почти физически ощутила ледяные объятия скелета, прижимающего ее к своим ребрам. Но если говорить честно, он всегда с ней во всеоружии, и она его немного побаивается.

При первой возможности Конни поднялась наверх и рано легла спать. В половине десятого она встала и вышла из спальни, прислушалась. В доме ни звука. Накинув халат, спустилась вниз. Клиффорд с миссис Болтон играли в карты на деньги. Они наверное, засидятся до глубокой ночи.

Конни вернулась к себе в комнату, бросила пижаму на смятую постель. Надела тонкую ночную сорочку, поверх — шерстяное платье, всунула ноги в легкие туфли и накинула пальто. Она готова идти, если кто Встретится, она вышла подышать воздухом перед сном. Если попадется

кто-нибудь утром на обратном пути, она гуляет по росе до завтрака, по обыкновению. Единственная опасность — вдруг кто-нибудь зайдет ночью к ней в спальню. Но это вряд ли случится — один шанс из ста.

Беттс еще не запер двери. Он запирает дом в десять вечера, а отпирает в семь утра. Конни выскользнула из дому неслышно, никем не замеченная. В свете полумесяца виднелись очертания кустов, деревьев, но ее серое платье сливалось с ночными тенями. Она быстро шла по парку, занятая не предстоящим свиданием, а той бурей, что кипела в ее груди. С такой бурей на любовные свидания не ходят. Но a la guerre comme a la guerre![18]

[18] notes: 18
на войне, как на войне *(фр.)*

14

Не доходя до калитки, она услыхала звук щеколды. Значит, он стоял там под покровом ночной тьмы, среди деревьев, и видел, как она шла.

— Ты пришла рано, как обещала, — раздался из темноты голос. — Все в порядке?

— Все.

Он тихонько затворил калитку и направил луч фонарика на темную землю, высвечивая лепестки цветов, которые еще не закрыли на ночь свои чашечки. Они шли молча, поодаль друг от друга.

— Ты ничего не повредил себе утром, когда толкал это кресло?

— Нет, конечно!

— А воспаление легких оставило какие-нибудь последствия?

— Ничего страшного. Сердце стало пошаливать, и легкие не такие эластичные. Но это дело обыкновенное.

— Значит, тебе нельзя делать тяжелой работы?

— Изредка можно.

Конни опять погрузилась в сердитое молчание.

— Ты ненавидишь Клиффорда? — наконец проговорила она.

— Ненавижу? Нет, конечно. С какой стати питать такие вредные чувства? Я хорошо знаю этот тип. На таких людей не надо обращать внимания.

— А что это за тип?

— Тебе он лучше известен, чем мне. Это — моложавый, немного женственный мужчина, начисто лишенный мужского естества.

— А что это значит?

— То и значит. Секса для них не существует.

Конни задумалась.

— По-твоему, все дело в этом? — спросила она с легким раздражением.

— Если у мужчины нет мозгов, он дурак, если нет сердца — злодей, если нет желчи — тряпка. Если же мужчина не способен взорваться, как туго закрученная пружина, мы говорим — в нем нет мужского естества. Это не мужчина, а пай-мальчик.

Конни опять задумалась.

— Выходит, Клиффорд — пай-мальчик?

— Да, и к тому же несносен, как-все мужчины этого типа.

— А ты, конечно, не пай-мальчик?

— Не совсем.

Наконец вдали засветился огонек. Конни остановилась.

— У тебя огонь? — спросила она.

— Я всегда оставляю свет, когда ухожу.

Дальше пошли рядом, не касаясь друг друга. Чего ради она идет к нему, не переставала спрашивать себя Конни.

Он открыл дверь, они вошли, и он сейчас же запер дверь на задвижку. «Как в тюрьме», — мелькнуло в голове у Конни. Чайник на огне выводил свою песню, стол был уже накрыт.

Она села в жесткое кресло у очага, наслаждаясь теплом после ночной прохлады.

— Я сниму туфли, они насквозь мокрые, — сказала она и поставила ноги в чулках на решетку, начищенную до блеска. Меллорс принес из кладовки хлеб; масло и копченые языки. Конни скоро согрелась, сняла пальто, он повесил его на дверь.

— Что будешь пить: какао, кофе или чай? — спросил он.

— Ничего не буду, — ответила она, взглянув на чашки, стоявшие на столе. — А ты что-нибудь съешь.

— Я тоже не хочу. Вот собаку пора кормить.

Он без смущения затопал по кирпичному полу

и положил в миску еды. Собака тревожно взглянула на него и отвернулась.

— Что морду воротишь? Это твоя еда. Ни с чем, матушка, права будешь, съешь.

Он поставил миску на коврик у лестницы, а сам сел на стул, стоявший у стенки, и стал снимать гетры с ботинками. Но собака не стала есть, подошла к нему, села и, задрав морду, жалобно уставилась на него.

Он медленно расстегивал пряжки на гетрах. Собака еще ближе подвинулась к нему.

— Что с тобой? Ты нервничаешь, потому что в доме чужой? Но это просто женщина. Так что иди и трескай, что дали.

Он погладил собаку по голове, и она потерлась мордой о его колено. Он медленно, мягко подергал длинное шелковистое ухо.

— Иди! — приказал он. — Иди и ешь свой ужин. Иди!

Он придвинул стул, на котором сидел, к коврику, где стояла миска; собака не спеша подошла к ней и стала есть.

— Ты любишь собак? — спросила Конни.

— Не сказал бы. Слишком они ручные, слишком привязчивы.

Наконец он стянул гетры и стал расшнуровы-

вать тяжелые ботинки. Конни отвернулась от огня. Как убого обставлена комната! И только одно украшение — увеличенная фотография молодой четы на стене; по-видимому, он с женой, лицо у молодой-женщины вздорное и самоуверенное.

— Это ты? — спросила Конни.

Он повернулся чуть не на девяносто градусов и взглянул на фотографию, висевшую у него над головой.

— Да! Это мы перед свадьбой. Мне здесь двадцать один год.

Он смотрел на фотографию пустыми глазами.

— Тебе она нравится? — спросила Конни.

— Нравится? Конечно нет! Мне она никогда не нравилась. Жена настояла, чтобы мы сфотографировались вот так, вместе.

И он принялся опять за свои ботинки.

— Если она тебе не нравится, зачем ты ее здесь держишь? Отдал бы жене.

— Она взяла из дома все, что хотела, — сказал он, неожиданно улыбнувшись. — А это оставила.

— Тогда почему ты ее не снимешь? Как воспоминание?

— Нет. Я никогда на нее не гляжу. Я даже забыл, что она здесь висит. Она здесь с первого дня, как

мы сюда въехали.

— А почему бы ее не сжечь?

Он опять повернулся и взглянул на фотографию. Она была в чудовищной коричневой с золотом рамке. С нее смотрел гладко выбритый, напряженный, очень молодой парень в довольно высоком воротнике, а рядом — пухлая, с задиристым лицом девушка, с взбитыми завитыми волосами, в темной атласной блузке.

— Неплохая мысль, — сказал он.

Стащив, наконец, ботинки, он надел шлепанцы, затем встал на стул и снял фотографию. Под ней на бледно-зеленых обоях осталось более яркое пятно.

— Пыль можно не вытирать, — сказал он, поставив фотографию к стене.

Принес из моечной молоток с клещами. И, сев на тот же стул, принялся отдирать бумагу с другой стороны рамки, вынул гвоздики, удерживающие заднюю планку; работал он аккуратно, со спокойной сосредоточенностью, так характерной для него.

И наконец-то, сняв планку, извлек самое фотографию.

— Вот каким я тогда был, — проговорил он, вглядываясь с изумлением в забытый снимок. —

Молодой пастор-тихоня и бой-баба.

— Дай, я посмотрю.

На фотографии он был весь чистенький, гладко выбритый, опрятный. Один из тех чистеньких молодых людей, каких было много лет двадцать назад. Но и тогда, свидетельствовала фотография, глаза у него смотрели живо и бесстрашно. А женщина была не просто «бой-баба»; несмотря на тяжелый подбородок, в ней была своя женская привлекательность.

— Такие вещи нельзя хранить, — сказала Конни.

— Так вообще сниматься нельзя.

Поломав о колено паспарту вместе с фотографией на мелкие кусочки, он аккуратно положил их на огонь, проговорив при этом: «Как бы не загасить».

Стекло с задней планкой по-хозяйски отнес наверх. Затем несколькими ударами молотка разбил раму, усеяв пол осколками гипса. Все не спеша собрал и отнес в моечную.

— Завтра сожгу, — сказал он, вернувшись. — А то сейчас задохнемся.

Наведя порядок, он опять сел.

— Ты любил жену? — спросила Конни.

— Любил? А ты любила сэра Клиффорда?

Но Конни не дала себя сбить.

— Она тебе нравилась?

— Нравилась? — усмехнулся он.

— Может, она тебе и сейчас нравится?

— И сейчас? — он посмотрел на нее, подняв брови. — Я даже подумать о ней не могу, — тихо проговорил он.

— Почему?

Но он только помотал головой.

— Тогда почему вы не разведетесь? Она ведь может в один прекрасный день вернуться.

Он остро взглянул на нее.

— Она обходит меня за тысячу миль. Она ненавидит меня сильнее, чем я ее.

— Вот увидишь, она еще вернется к тебе.

— Никогда. С этим кончено. Меня от одного ее вида с души воротит.

— Ты еще с ней столкнешься! По закону вы муж и жена, да?

— Да.

— Ну вот. Значит, она вернется. И тебе придется взять ее обратно.

Он пристально поглядел на нее. Потом как-то странно тряхнул головой.

— Ты, наверное, права. Даже возвращаться сюда было глупо. Но тогда все ополчилось против

меня. И деваться мне было некуда. Нашему брату порой лихо приходится. Да, ты права. Надо было давно развестись. Вот разведусь и буду опять свободен. Но как я ненавижу все эти суды, судейских крючков. А без них развода не получить.

Он стиснул зубы так, что заходили желваки. А Конни слушала и радовалась в душе.

— Я, пожалуй, выпью чашку чая, — сказала она.

Он встал заварить чай. Но лицо его не смягчилось.

Уже сидя за столом, она спросила его:

— Почему ты на ней женился? Она совсем простолюдинка. Миссис Болтон рассказывала мне про нее. Она никогда не могла понять, что ты в ней нашел.

Он опять пристально посмотрел на нее и сказал:

— Я тебе объясню. Первая любовь у меня была в шестнадцать лет. Она была дочкой учителя из Оллертона, очень хорошенькая, даже красивая. Я кончил в Шеффилде среднюю школу и был подающим надежды юношей. Знал немного немецкий, французский. И, разумеется, витал в небесах. А эта, романтическая душа, терпеть не могла обыденности. Она читала мне стихи, учила любить

их, любить книги, словом, старалась сделать из меня человека. Я читал, размышлял с большим рвением, и все благодаря ей. Я тогда служил клерком в одной из контор Баттерли. Худой, бледный юноша, в голове которого постоянно бродил хмель прочитанного. О чем только мы с ней не говорили. В какие дебри не забирались. Только и слышалось — Персеполь, Тимбукту. Другую такую литературную пару не сыскать было во всех десяти графствах. Я боготворил ее, курил ей фимиам. И она обожала меня. Но был у нас и камень преткновения — как ты можешь догадаться, это был секс. Вернее, секса совсем не было. Я тощал все сильнее и все сильнее кипятился. Наконец, я сказал, что мы должны стать любовниками. И я ее, по обыкновению, уговорил. Мы стали любовниками. Я был на седьмом небе, а ей это было не надо. Она просто ничего не хотела. Она обожала меня, восхищалась мной, любила разговаривать со мной, целоваться; и это все. Остальное ей было не нужно. И таких женщин, как она, много. А мне как раз нужно было остальное. Начались ссоры. Я был неумолим и покинул ее. После этого у меня была другая женщина, учительница; о ней злословили, что она путалась с женатым мужчиной и довела его почти до безумия. Это

была пухлая белокожая красотка, старше меня, и к тому же недурно играла на скрипке. И скажу тебе, эта женщина была сам дьявол. Она любила в любви все, кроме секса. Она льнула ко мне, нежничала, осыпала всевозможными ласками, но стоило делу дойти до главного, она стискивала зубы и от нее шли волны ненависти. Я старался перебороть ее, но чувствовал, что ее ненависть буквально замораживает меня. Так что все опять кончилось плачевно. Мне было очень скверно. Я хотел, чтобы со мной была женщина, которая любила бы меня и все остальное.

И тут появилась Берта Куттс. Когда я был маленьким, Куттсы жили рядом с нами, так что я хорошо их знал. Люди они были совсем простые. Ну вот. Берта выросла и уехала в Бирмингем, нашла себе какое-то место. Она утверждала, что компаньонки, но у нас шушукались, что Берта поступила служанкой или еще кем-то в номера. Как бы то ни было, как раз в то время, когда я был по уши сыт учительницей — мне шел тогда двадцать второй год, — Берта вернулась из Бирмингема, вся расфуфыренная, жеманная и довольно-таки соблазнительная. А я был к этому времени на грани самоубийства. Бросил свою работу в Баттерли: я считал, что своим тщедушным

сложением я обязан сидячей работе клерка. Вернулся в Тивершолл и нанялся старшим кузнецом, подковывал шахтных лошадей. Мой отец был коваль, и я часто помогал ему. Я любил эту работу, любил лошадей, и все кое-как наладилось. Я как бы забыл правильный литературный язык. И опять заговорил языком простого народа. Правда, книги я по-прежнему любил. Так я и кузнечил. У меня была своя двуколка, запряженная пони, и я был сам себе хозяин. Отец после смерти оставил мне триста фунтов. И я стал гулять с Бертой. Я был рад, что она из низов. Я хотел жить с простой женщиной. И сам хотел опроститься. Ну вот, так она и стала моей женой, и сначала все шло хорошо. Мои прежние «чистые» женщины делали все, чтобы истребить во мне «мужское естество». С Бертой же в этом отношении все было в порядке. Она хотела быть со мной и не выпендривалась. Я был очень доволен. Наконец-то я получил женщину, которая хотела со мной спать. И я с ней не помнил себя. Мне кажется, что она немного презирала меня за это и еще за то, что иногда я даже приносил ей в постель завтрак. Она-то не очень утруждала себя заботами обо мне: когда я приходил с работы, обеда не было, а если я бывал недоволен, она налетала на меня, как фурия, — я

отвечал ей тем же. Однажды она запустила в меня чашкой, я схватил ее за шиворот и чуть не вытряхнул из нее душу. Дальше — хуже. Скоро она перестала подпускать меня к себе. Скандалила, ругалась. А как почувствует, что страсть моя улетучилась, начнет подъезжать ко мне со всякими нежностями, пока не получит свое. Я никогда не мог устоять. И она никогда не кончала вместе со мной. Никогда. Выжидала. Если я оттягивал дело на полчаса, она тянула еще дольше. А когда я кончал, тут она начинала разводить пары, вопила, извивалась и буквально кусала меня своим телом, пока наконец и сама не подходила к финишу в состоянии чуть не беспамятства. А потом говорила: «Ох, как хорошо!» Постепенно я стал уставать от этого, а она становилась все упрямее. Конец у нее наступал все позже, и к тому же тело ее становилось все жестче, грубее; мне порой казалось, что меня терзает клювом какая-то свирепая птица. Господи, считается, что женщина внутри нежная, как цветок. Но поверь, у некоторых мерзавок между ногами костяной клюв, и они рвут тебя на куски, так что становится тошно. И думают только, как ублажить самое себя! Только себя.

Вот говорят о мужском эгоизме. Но поверь,

мужскому эгоизму далеко до слепого женского эгоизма. Берта ничего не могла с собой поделать. Я говорил с ней об этом, объяснял, что для меня это невыносимо. И она даже пыталась исправиться. Пыталась лежать тихо, предоставив мне самому завершить дело. Но из этого ничего не выходило. Мои старания никогда не достигали цели, она ничего не чувствовала. Она должна была действовать сама, сама молоть свои кофе. С ней как бы случалось буйное помешательство, она должна была спустить всех собак и рвать мою плоть. Говорят, так бывает со старыми проститутками. Это был эгоизм самого низкого пошиба, своеволие безумца или женщины-алкоголички. В конце концов я просто не мог больше ее выносить. Мы стали спать врозь, она сама это предложила во время одной из вспышек ненависти. Ей все мерещилось, что я подчиняю ее себе. Вот она и решила завести себе отдельную спальню. А скоро и я перестал пускать ее к себе. Я просто не мог больше выносить ее.

Я ненавидел ее, а она ненавидела меня. Господи, как она ненавидела, особенно когда носила этого бедного ребенка. Я часто думаю, она и зачала-то его из ненависти ко мне. Словом, когда ребенок родился, мы с ней расстались. Тут нача-

лась война, меня призвали. А вернувшись домой, я узнал, что она живет с каким-то парнем из «Отвальной».

Он замолчал, в лице его не было ни кровинки.

— А что представляет собой этот парень из «Отвальной»? — спросила Конни.

— Амбал, килограммов девяносто. Он все больше молчит, а она его честит на чем свет стоит. И оба пьют.

— Боже мой! Что будет, если она вернется!

— В самом деле. Выходит, надо бежать отсюда, исчезнуть.

Оба замолчали, фотография в очаге стала серым пеплом.

— Значит, когда ты получил, чего хотел, тебе это показалось слишком много? — заключила Конни.

— Значит, так… И все-таки, если выбирать, я бы предпочел ее фригидным разновидностям — моей первой чистой любви и второй — лилии с ядовитым ароматом, да и прочим тоже.

— А что собой представляют прочие?

— Прочие? А прочих не было. Мой опыт говорит мне: женщины в большинстве своем любят мужчин, но не любят секс. Они вынуждены мириться с сексом как с одним из непременных условий

любви. Предпочитают старомодный вариант: женщина лежит и не шелохнется, а ты делаешь свое дело. В конце концов они ничего не имеют против этого, ведь они любят своего партнера. Но плотская любовь для них не существует, она оскорбляет их добродетель. И многие мужчины на это согласны. Я же этого не выношу. Женщины похитрее стараются скрыть безразличие. Они притворяются, что умирают от страсти, что они испытывают неземное блаженство. Но это чистый обман. Они просто делают вид. Есть и еще один сорт женщин, те любят все — объятия, поцелуи, последнее содрогание, но чувственность у них разлита по всему телу. Такие женщины предпочитают все способы любви естественному. Они умеют вызвать заключительный аккорд, когда мужчина находится совсем не там, где ему в этот миг положено быть. Бывают очень тугие женщины, их дьявольски трудно довести до финиша. Иной раз они сами себя доводят, как моя жена.

И еще есть женщины, у которых внутри мертво, и они знают это. Каких только женщин нет! Или вот женщины-лесбиянки. Выбрасывают мужчину перед самым концом и начинают елозить бедрами до завершения. Удивительно, как много в женщинах лесбиянского, хотя они сами этого

и не сознают.

— Тебя это раздражает?

— Я бы всех лесбиянок убил. Когда я с женщиной, которая в сущности лесбиянка, я вою в душе и готов убить ее.

— И что же ты делаешь?

— Бегу от нее со скоростью света.

— Ты полагаешь, что женщины-лесбиянки хуже, чем мужчины-педерасты?

— Разумеется, хуже. Потому что они причиняют более сильные страдания. Впрочем, если говорить честно, не знаю, кто лучше, кто хуже. Но когда я имею дело с лесбиянкой, неважно, сознающей свой дефект или не сознающей, я прихожу в бешенство и не хочу больше видеть ни одной женщины. Я готов всю жизнь довольствоваться собственным обществом, только бы не ронять своего мужского достоинства.

Он сидел хмурый, бледный как полотно.

— И ты очень огорчился, когда появилась я?

— И огорчился и обрадовался.

— И что ты чувствуешь сейчас?

— Меня страшат всякие осложнения: ссоры, взаимные обвинения, нелепые ситуации. Все это непременно будет. Кровь у меня в такие минуты холодеет, накатывает тоска. Когда же кровь иг-

рает, я чувствую, что счастлив, даже на седьмом небе. Но боюсь, я уже начал становиться мизантропом. Я изверился в любви. Мне казалось, что нет больше на земле женщин, кроме негритянок, с которыми возможен естественный половой акт. Но мы все-таки белые люди, и негритянки для нас точно вымазаны смолой.

— Ну, а теперь? Ты рад, что у тебя есть я?

— Конечно рад. Когда забываю обо всех остальных женщинах. А забыть их очень трудно. Поэтому мне хочется залезть под стол и там умереть.

— Почему под стол?

— Почему? — Он рассмеялся. — Чтобы спрятаться ото всех, наверное. Знаешь, как делают дети.

— Какой же у тебя тяжелый опыт отношений с женщинами!

— Видишь ли, я не умею тешить себя самообманом. Многие мужчины умеют. Они согласны мириться с ложью, с любым маскарадом. Меня же самообман никогда не спасал. Я всегда знал, чего хочу от женщины, и, если не получал этого, никогда не говорил, что получаю.

— А теперь ты это получаешь?

— Похоже, что да.

— Тогда почему ты такой бледный и злой?

— По маковку полон воспоминаниями. И, воз-

можно, боюсь самого себя.

Конни сидела молча. Время уже близилось к полуночи.

— А ты правда считаешь, что это очень важно — мужчина и женщина?

— Да, для меня очень. Для меня в этом смысл жизни. В любви к женщине, в естественных с ней отношениях.

— Ну, а когда у тебя их нет, что ты делаешь?

— Обхожусь без них.

Конни опять подумала и спросила:

— А ты считаешь, что сам ты всегда правильно ведешь себя с женщинами?

— Нет, конечно! В том, что случилось с моей женой, виноват я. В значительной степени виноват: это я испортил ее. И еще я очень недоверчив. Ты должна это помнить. Чтобы я до конца поверил женщине — даже не знаю, что нужно. Так что, может, я и сам не стою доверия. Я просто не верю женщинам, и все. Боюсь притворства.

Конни искоса посмотрела на него.

— Но ты ведь доверяешь своему телу, своей плоти? — сказала она.

— Увы, доверяю. От этого все мои беды. Именно поэтому мой ум так недоверчив.

— Ну и пусть недоверчив. Какое это имеет

значение?

Укладываясь поудобнее на подстилке, Флосси тяжело вздохнула. Огонь в очаге догорел, оставив тлеть подернутые золой угли.

— Мы с тобой два израненных воина, — сказала Конни.

— Ты тоже изранена? — рассмеялся он. — И вот мы опять лезем в драку.

— Да! И мне по-настоящему страшно.

— Еще бы!

Он встал, поставил ее туфли сушиться, вытер свои и подвинул их ближе к очагу, утром он смажет их жиром. Взял кочергу и выгреб обгоревшие остатки рамки.

— Мне даже угли от этой рамки противны, — сказал он.

Затем принес хворосту, положил на пол к завтрашнему утру. И вышел прогулять собаку.

— Я бы тоже хотела выйти ненадолго, — сказала Конни, когда он вернулся.

Она вышла одна в темноту. Высоко в небе горели звезды. В ночном воздухе сильно пахло цветами. Ее мокрые туфли промокли еще сильнее. Но она чувствовала отъединенность от всех — и от него.

Ночь была свежая. Она зябко поежилась и вер-

нулась в дом.

— Холодно, — сказала она, дернув плечами.

Он подбросил на угли хворосту, принес еще, и в очаге, весело треща, занялось пламя. Его желтые пляшущие языки, согрели не только их щеки, но и души.

— Выбрось все из головы, — сказала Конни.

Егерь сидел молча, неподвижно. Взяв в ладони его руку, она прибавила:

— Постарайся.

— У-гу, — вздохнул он, чуть скривив рот в улыбке.

Конни тихо подошла и скользнула ему на колени, поближе к огню.

— Забудь все, — шепнула она ему. — Забудь.

Он крепко прижал ее к себе; так они сидели молча, чувствуя наплывающее из очага тепло. Лепестки пламени казались Конни цветком забвения. Легкая сладостная тяжесть ее теплого тела кружила ему голову. Кровь снова начала бурлить, пробуждая безрассудные, неуправляемые силы.

— А может, эти женщины и хотели быть с тобой, любить тебя по-настоящему, да просто у них не получалось. Может, их вины-то и нет, — сказала Конни.

— Да, это верно. Я знаю. Я и сам был тогда как змея с перебитым хребтом.

Конни вдруг крепко прижалась к нему. Ей не хотелось начинать все сначала, но что-то все время подзуживало ее.

— Теперь все по-другому, — проговорила она. — Ты ведь больше не чувствуешь себя как змея с перебитым хребтом?

— Я не знаю, что чувствую. Знаю только, впереди у нас черные дни.

— Нет, нет! Что ты говоришь! — запротестовала она.

— Близятся черные дни — для нас и вообще для всех, — повторил он свое мрачное пророчество.

— Ничего подобного! Как ты смеешь это говорить!

Егерь молчал. Но она чуяла в его душе черную пустоту отчаяния. Оно было смертью для всех желаний, смертью для самой любви. Это отчаяние подобно бездонной воронке, которая затягивает в себя душевные силы, всего человека.

— Ты так холодно говоришь о любви, — посетовала она. — Так, словно для тебя важно только свое удовольствие, свое удовлетворение.

Конни очень разволновалась.

— Ничего подобного, — ответил он. — Я всегда

думал и о женщине. Я не получал ни удовольствия, ни удовлетворения, если женщина не получала того же вместе со мной. А этого ни разу не было. Для полного счастья нужно одновременное удовлетворение двоих.

— Но ты никогда не верил своим женщинам. Ты даже мне не веришь.

— Я не знаю, что значит верить женщине.

— В этом твоя беда.

Она все еще сидела, свернувшись калачиком у него на коленях. Но настроение у него было тяжелое, отсутствующее, ее как бы здесь и не было. И все, что она говорила, лишь отталкивало его от нее.

— Но все-таки во что же ты веришь? — настаивала Конни.

— Не знаю.

— Значит, ни во что, как и все другие мужчины — мои знакомые, — сказала Конни.

Опять оба замолчали. Сделав над собой усилие, он все-таки решился открыть ей душу.

— Нет, я, конечно, во что-то верю. Я верю в сердечное тепло. Верю, что нет настоящей любви без сердечного тепла. Я уверен, если мужчина обладает женщиной и в душе обоих нежность, все будет хорошо. А вот если любить с холодным

сердцем — это идиотизм, это смерть.

— Но ты ведь чувствуешь ко мне нежность? Ты не просто так меня любишь?

— Я не хочу больше любить. Мое сердце холоднее остывшей картошки.

— Ах, ах, — поцеловала она его и шутливо прибавила: — sautees?[19]

Он рассмеялся.

— Я не преувеличиваю, — сказал он, выпрямившись на стуле. — Полцарства за нежность! А женщинам надо не это. Даже тебе — чего уж греха таить. Ты любишь острую любовную игру, но сердце у тебя остается холодным, хоть ты и делаешь вид, что на седьмом небе от счастья. Где твоя нежность ко мне? Ты относишься ко мне с опаской. Как кошка к собаке. Повторяю, любви нужна нежность. Тебе нравится близость с мужчиной, не спорю. Но ты возводишь эту близость во что-то мистическое, сверхценное. Только затем, чтобы польстить своему тщеславию. Собственное тщеславие важнее для тебя во сто крат любого мужчины, твоей близости с ним.

— Но я то же самое могу сказать о тебе. Твой эгоизм безграничен.

---

[19] notes: 19
поджарим *(фр.)*

— Да? Ты так думаешь? — сказал он, заерзав на стуле, будто хотел встать. — Давай тогда расстанемся. Я скорее умру, чем буду еще раз обладать женщиной, у которой вместо сердца ледышка.

Она соскользнула с его колен, и он встал.

— А ты думаешь, мне это очень приятно?

— Думаю, что нет, — ответил он. — Посему идика ты спать наверх. А я буду спать здесь.

Конни посмотрела на него. Он был не просто бледным, он был белый как снег, брови нахмурены, далекий, как северный полюс: мужчины все одинаковы.

— Но я не могу вернуться домой раньше утра, — сказала она.

— И не надо. Иди наверх. Уже четверть первого.

— Не пойду, — сказала она.

— Тогда мне придется уйти из дома, — сказал он и начал натягивать ботинок. Конни оторопело глядела на него.

— Подожди, — едва выговорила она. — Скажи, что с нами происходит?

Он продолжал нагнувшись зашнуровывать ботинок. Бежали секунды. У Конни потемнело в глазах, она стояла как в беспамятстве, глядя на него невидящими глазами.

Затянувшееся молчание становилось невыносимым. Он поднял голову. Конни стояла, как потерянная, с широко открытыми глазами. И его точно ветром подхватило: он вскочил, хромая, подбежал к ней, как был, в одном ботинке, схватил на руки и крепко прижал к себе, хотя все внутри у него исходило болью. Он держал ее на руках, а она все смотрела на него…

Рука его скользнула ей под платье и ощутила гладкую теплую кожу.

— Ласонька моя, — шептал он, — ласонька. Зачем нам ругаться? Я люблю тебя, такую гладенькую, шелковую. Только не перечь мне больше. Мы всегда будем вместе.

Конни подняла голову и посмотрела на него.

— Не расстраивайся, — сказала она тихо. — Какой от этого толк? Ты правда хочешь быть со мной? — Она взглянула ему в глаза открыто и твердо.

Он перестал гладить ее, отвернулся. И замер, как будто окаменел. Потом заглянул ей в самые зрачки и, чуть насмешливо улыбнувшись, сказал:

— Давай скрепим нашу любовь клятвой!

— Скрепим, — ответила она, и глаза ее вдруг увлажнились.

— Знаешь старинную клятву: гроб, могила, три креста, не разлюбим никогда.

Он опять улыбнулся, в глазах у него плясали шутливые искорки, от недавнего уныния не осталось и следа.

Она тихо плакала, он опустил ее на коврик у очага и прямо на полу овладел ею. И сразу у обоих растопилось сердце. Тут же заторопились наверх в спальню: становилось прохладно, да и они изрядно помучили друг друга. Конни легла и всем телом прильнула к нему, чувствуя себя маленькой, защищенной, и оба сейчас же заснули добрым, покойным сном. Они спали не шелохнувшись до первого луча, вспыхнувшего над лесом.

Он проснулся первым, в комнате мягкий полусвет, занавески задернуты. В лесу оголтело щебечут дрозды. Утро обещает быть прекрасным. Пора вставать — уже половина шестого. Как крепко ему спалось! Занимается новый день. Его женщина, нежная, любящая, — спит, свернувшись калачиком. Он коснулся ее рукой, и она раскрыла синие, изумленные глаза, улыбаясь еще в полусне его лицу.

— Ты уже встал? — спросила она.

Он глядел ей в глаза. Улыбался и целовал ее.

Вдруг она быстро поднялась и села.

— Только подумать, что я у тебя, — сказала она.

Оглядела чисто побеленную крошечную спальню, скошенный потолок, слуховое окно, занавешенное белыми шторами. Комната была совсем пустая, если не считать маленького покрашенного желтым комода, стула и не очень широкой белой кровати, в которой она спала с ним эту ночь.

— Только подумать, мы с тобой здесь вместе, — сказала она, глядя на него сверху. Он лежал, любуясь ею, поглаживая ее груди сквозь тонкую ткань сорочки. Когда он спокоен и ласков, лицо у него такое красивое, совсем мальчишеское. И глаза такие теплые. А уж Конни радовала юностью и свежестью распустившегося цветка.

— Я разденусь, — сказала она, схватив в горсть тонкую батистовую ткань и потянув через голову. Она сидела в постели, обнажив удлиненные золотистые груди. Ему доставляло удовольствие покачивать их, как колокольчики.

— И ты сними свою пижаму, — сказала она.

— Э-э, нет.

— Да! Да! Сними, — приказала она.

И он снял старенькую ситцевую пижамную

куртку, штаны. За исключением ладоней, запястий, лица и шеи кожа его везде была молочно-белой; сильное, мускулистое тело изящно. Он опять показался ей ошеломляюще красивым, как в тот день, когда она нечаянно подглядела его умывание.

Золотые лучи ударили в задернутую занавеску. Конни подумала — солнце спешит приветствовать их.

— Отдерни, пожалуйста, шторы, — попросила она. — Слышишь, как поют птицы. Впусти скорее к нам солнышко.

Он соскочил с постели, нагой, тонкий, белотелый, и пошел к окну, немного нагнулся, отдернул шторы и выглянул наружу. Спина была изящная, белая, маленькие ягодицы красивы скупой мужской красотой, шея, тонкая и сильная, загорела до красноты.

В этом изящном мальчишеском теле скрыта была внутренняя сила, не нуждавшаяся во внешнем проявлении.

— Но ты очень красив! — сказала Конни. — Такая чистота, изящество! Иди ко мне, — протянула она к нему руки.

Он стыдился повернуться к ней. Поднял с пола рубашку и, прикрыв наготу, пошел к ней.

— Нет! — потребовала Конни, все еще протягивая к нему тонкие красивые руки. — Я хочу тебя видеть!

Рубашка упала на пол, он стоял спокойно, устремив на нее взгляд. Солнце, ворвавшееся в низкое оконце, озарило его бедра, поджатый живот и темный, налитый горячей кровью фаллос, торчащий из облачка рыжих вьющихся волос. Она испуганно содрогнулась.

— Как странно, — проговорила она медленно. — Как странно он торчит там. Такой большой! Такой темный и самоуверенный. Значит, вот он какой.

Мужчина скользнул взглядом вдоль своего тонкого белокожего тела и засмеялся. Волосы на груди у него были темные, почти черные. В низу живота ярко рыжели.

— И такой гордый, — шептала она смятенно. — Такой высокомерный. Неудивительно, что мужчины всегда держатся свысока! Но он красив. И независим. Немного жутко, но очень красиво! И он стремится ко мне! — Конни прикусила нижнюю губу в волнении и страхе.

Мужчина молча глядел на свою тяжелую неподвижную плоть.

— Эй, парень, — сказал он наконец тихо. — Ты

в своем праве. Можешь задирать голову, сколько хочешь. Ты сам по себе, я сам по себе, верно, Джон Томас? Вишь, выискался господин. Больно норовист, похлеще меня, и лишнего не лалакает. Ну что, Джон Томас? Хочешь ее? Хочешь свою леди Джейн? Опять ты меня задумал угробить. И еще улыбается! Ну, скажи ей: «Отворяйте ворота, к вам едет — государь!» Ах, скромник, ах, негодник. Ласоньку он захотел. Ну, скажи леди Джейн: хочу твою ласоньку. Джон Томас и леди Джейн — чем не пара!

— Не дразни его, — сказала Конни, подползла к краю кровати, обняла его стройные, матовые бедра и притянула их к себе, так что груди коснулись его напрягшейся плоти, и слизнула появившуюся каплю.

— Ложись, — велел он. — Ложись и пусти меня к себе.

Он торопился, а когда все кончилось, женщина опять обнажила мужчину — еще раз взглянуть на загадку фаллоса.

— Смотри, какой он маленький и мягкий, Маленький, нераспустившийся бутон жизни. И все равно он красив. Такой независимый, такой странный! И такой невинный. А ведь он был так глубоко во мне. Ты не должен обижать его, ни в

коем случае. Он ведь и мой тоже. Не только твой. Он мой, да! Такой невинный, такой красивый, — шептала Конни.

Мужчина засмеялся.

— Блаженны узы, связавшие сердца родством любви.

— Да, конечно, — кивнула Конни. — Даже когда он такой мягкий, маленький, я чувствую, что до конца жизни привязана к нему. И такие славные у тебя тут волосы! Совсем, совсем другие.

— Это шевелюра Джона Томаса, не Моя. Эге! — воскликнул мужчина, потянувшись чуть не до боли во всем теле. — Да ты никак опять за свое? А ведь корнями-то ты врос в мою душу. Другой раз просто не знаю, что с тобой и делать. Он ведь себе на уме, никак ему не потрафишь. Вместе тесно, а врозь скучно.

— Теперь понятно, почему мужчины его боятся! — сказала Конни. — В нем явно есть что-то грозное.

По телу мужчины пробежала дрожь: сознание опять раздвоилось. Он был бессилен противиться неизбежному; а мышца его стала набухать, твердеть, расти, согласно извечному странному обыкновению. Женщина, наблюдая его, затрепетала.

— Бери его! Бери! Он твой! — велел мужчина.

Ее забила дрожь, сознание отключилось. Он вошел в нее, и ее затопили нежные волны острого, неописуемого наслаждения, разлившегося по всему телу. Блаженство все росло и, наконец, завершилось последней ослепляющей вспышкой.

Он услыхал далекие гудки «Отвальной»: семь часов утра, понедельник. Поежившись, зарылся головой в ее грудь, чтобы не слышать гудков.

А она даже не слышала гудка. Она лежала тихо, душа ее этим светлым утром отмылась до прозрачности.

— Тебе, наверное, пора вставать? — спросил он.

— Сколько времени?

— Только что прогудело семь.

— Да, наверное, пора, — сказала она недовольно: терпеть не могла внешнего принуждения.

Он сел и тупо уставился в окно.

— Ты ведь меня любишь? — спросила она спокойно.

Он поглядел на нее.

— Не знаешь, что ли? Чего же спрашивать, — с легким раздражением ответил он.

— Я хочу, чтоб ты не отпускал меня, — сказала она. — Оставил меня.

Глаза его застило теплой мягкой мглой, отогнавшей мысли.

— Прямо сейчас?

— Сейчас, в своем сердце. А потом я приду к тебе насовсем, и это будет скоро.

Он сидел обнаженный на постели, повесив голову; не способный соображать.

— Ты что, не хочешь этого? — спросила она.

— Хочу.

Он посмотрел на нее тем же затуманенным взглядом, в котором горело пламя иного сознания, почти сна.

— Не лезь сейчас ко мне с вопросами. Дай мне опамятоваться. Ты очень нравишься мне. Ты вот тут лежишь, и я тебя люблю. Как не любить бабу с такой хорошей ласонькой. Я люблю тебя, твои ноги, фигуру. Твою женственность. Люблю всеми своими потрохами. Но не береди мне пока душу. Не спрашивай ни о чем. Пусть пока все есть, как есть. Спрашивать будешь после. Дай мне прийти в себя.

С этими словами он стал нежно поглаживать ее мягкие каштановые волосы, под животом, а сам сидел на постели — нагой, полный покоя, лицо неподвижно — некая материальная абстракция, наподобие лица Будды. Он сидел, замерев, ослеп-

ленный пламенем иного сознания, держа ладонь на ее теле и ожидая возвращения сознания будничного.

Немного спустя он встал, натянул рубаху, быстро оделся, не произнеся ни слова, еще раз взглянул на нее — она лежала на постели, золотистая в лучах солнца, как роза Gloire de Dijon[20], — и быстро ушел. Она слышала, как он внизу отпирает дверь.

А она все лежала, размышляя, что же с ней происходит: ей очень очень трудно уйти, оторваться от него. Снизу донесся голос: «Половина восьмого!» Она вздохнула и встала с постели. Маленькая-голая комнатка, ничего в ней нет, кроме комода и не очень широкой кровати. Но половицы отмыты дочиста. А в углу у окна полка с книгами, некоторые взяты из библиотеки. Она посмотрела, что он читает: книги о большевистской России, путешествия, книга об атоме и электронах, еще одна о составе земного ядра и причинах землетрясения, несколько романов и три книги об Индии. Так, значит, он все-таки читает.

Солнце озаряло ее обнаженное тело. Она по-

---

[20] notes: 20
слава Дижона *(фр.)*

дошла к окну, возле дома бесцельно слонялась Флосси. Куст орешника окутан зеленой дымкой, под ним темно-зеленые пролески. Утро было чистое, ясное, с ветки на ветку порхали птицы, оглашая воздух торжественным пением. Если бы она могла здесь остаться! Если бы только не было того ужасного мира дыма и стали! Если бы он мог подарить ей какой-то новый, особый мир.

Она спустилась вниз по узкой, крутой деревянной лестнице. И все равно было бы славно жить в этом маленьком домике — только бы он был в другом особом мире.

Он уже умылся, от него веяло чистотой и свежестью, в очаге потрескивал огонь.

— Ты будешь есть? — спросил он.

— Нет. Вот если бы ты одолжил мне расческу?

Она пошла за ним в моечную и причесалась, глядясь в зеркало величиной в ладонь. Пора идти назад, в Рагби.

Она стояла в маленьком палисаднике, глядя на подернутые росой цветы, на серую клумбу гвоздик, уже набравших бутоны.

— Хорошо бы весь остальной мир исчез, — сказала Конни, — и мы бы с тобой жили здесь вдвоем.

— Не исчезнет, — ответил он.

Они шли молча по веселому росистому лесу, отрешенные от всего и вся.

Ей было тяжко возвращаться в Рагби-холл.

— Я хочу как можно скорее прийти к тебе насовсем. И мы будем жить вместе, — сказала она на прощание.

Он улыбнулся, ничего не ответив.

Она вернулась домой тихо, никем не замеченная, и поднялась к себе в комнату.

15

На подносе лежало письмо от Хильды.

«Отец будет в Лондоне на этой неделе, — писала она. — Я за тобой заеду в четверг 17 июня. Будь готова к этому дню. И мы тут же отправимся. Я не хочу задерживаться в Рагби. Это ужасное место. Скорее всего, я переночую в Ретфорде у Колменов. В четверг жди меня к обеду. Выедем сразу после чая и переночуем, наверное, в Грэнтеме. Нет смысла сидеть весь вечер с Клиффордом. Вряд ли он доволен твоим отъездом, так что мой визит не доставит ему удовольствия».

Ну вот! Опять она пешка на шахматной доске.

Клиффорд был действительно недоволен ее предстоящим отъездом, и только по одной причине: ему будет без нее не так покойно. Конни была для него неким символом: она дома, и Он мог с легкой душой заниматься делами. Клиффорд много времени уделял сейчас своим шахтам и боролся с почти безнадежными проблемами: как экономнее добывать уголь и кому его продавать. Конечно, лучше всего перерабатывать его дома, чтобы избавиться, наконец, от мучитель-

ных поисков покупателя. Можно производить электрическую энергию, для нее, наверное, легче найти рынок сбыта, но превращать уголь в другой вид топлива оказалось делом сложным и дорогостоящим. Чтобы поддерживать производство, нужно развивать все новые виды производства. Какое-то сумасшествие!

Да, сумасшествие, и только сумасшедшие могут преуспевать в этой индустриальной гонке. Но ведь он тоже был немного сумасшедшим. Во всяком случае так думала Конни. Его одержимость угольными проблемами, его нескончаемые прожекты представлялись ей явным свидетельством его безумия; именно безумие она считала источником его изобретательского вдохновения. Он делился с ней обширными планами, а она слушала его в изумлении, не прерывая. Когда поток слов иссякал, он включал радио и превращался в глухонемого, но было очевидно, что все его прожекты сидят в нем, точно туго закрученная пружина, и ждут своего часа.

По вечерам они с миссис Болтон пристрастились играть в двадцать одно по шести пенсов. Эта армейская азартная игра была для него еще одним способом ухода от действительности — интоксикацией безумия или безумием инток-

сикации, как угодно. Конни не могла этого видеть и уходила спать, а Клиффорд и миссис Болтон с необъяснимым азартом резались в карты до двух или даже до трех утра. Миссис Болтон оказалась на редкость азартным игроком: подстегивали ее постоянные проигрыши.

Как-то она сказала Конни:

— Этой ночью я проиграла сэру Клиффорду двадцать три шиллинга.

— И он у вас взял эти деньги? — спросила, не веря своим ушам, Конни.

— Конечно, взял, ваша милость. Долг чести!

Конни дала обоим хорошую выволочку. В результате Клиффорд пожаловал своей неизменной партнерше еще сто фунтов в год, и она теперь могла проигрывать с легкой душой. А Конни пришла к выводу — в Клиффорде человек отмирает не по дням, а по часам.

Наконец она решилась сообщить ему о дне отъезда, который назначила в письме Хильда.

— Семнадцатого! — воскликнул он. — А когда ты будешь обратно?

— Самое позднее — двадцатого июля.

— Значит, двадцатого июля. Хорошо.

Он смотрел на нее странным пустым взглядом, не то с доверчивостью ребенка, не то с бесплод-

ной хитростью старика.

— Ты меня не обманешь? — спросил он.

— Что?

— Ну вот ты сейчас уедешь. А обратно вернешься?

— Конечно. Без всякого сомнения, вернусь.

— Ну и прекрасно. Значит, двадцатого июля! — И опять туманно посмотрел на нее.

Как ни странно, он хотел, чтобы она уехала, завела там короткую интрижку, пусть и забеременела. Но он и опасался этой поездки.

А Конни помышляла лишь об одном — как бы совсем уйти от него. Решительный шаг будет сделан, когда все для того созреет — обстоятельства, Клиффорд, она сама.

Копни сидела в сторожке егеря и говорила с ним о поездке в Венецию.

— Вернусь и скажу Клиффорду, что ухожу. И мы с тобой уедем. Им совсем не обязательно знать, что я ушла к тебе. Мы можем уехать в другую страну, ведь правда? В Африку или Австралию, да?

Ей очень нравился ее план.

— Ты когда-нибудь жила в колониях? — спросил он.

— Нет, а ты?

— Я жил в Индии, Южной Африке, Египте.

— А почему бы нам не поехать в Южную Африку?

— Можно и туда.

— Ты не хочешь туда?

— Мне безразлично. Безразлично, куда ехать, что делать.

— Но ты там не будешь счастлив? Почему? Мы не будем жить бедно. У меня есть своих шестьсот фунтов в год. Я уже выяснила. Это немного, но нам ведь хватит?

— Для меня это целый капитал.

— Ах, как будет чудесно!

— Но я должен сперва развестись и ты тоже. Иначе будут осложнения.

Да, им было о чем подумать.

В другой раз Конни расспрашивала его о прошлом. Они были в егерской, за окном шел дождь, громыхало.

— А когда ты был офицером и джентльменом, ты был счастлив?

— Счастлив? Конечно. Я обожал моего полковника.

— Ты его очень любил?

— Да.

— И он любил тебя?

— Да. По-своему любил.

— Расскажи мне о нем побольше.

— Что о нем рассказывать? Он прошел в армии все ступеньки от рядового до полковника. Он любил армию. Не женился. Был старше меня на двадцать лет. Таких умных, образованных людей в армии единицы. Нрав у него был горячий, верно. Но офицер он был толковый. Сколько я помню, для меня он всегда был непререкаемым авторитетом. Я подчинялся ему во всем. И никогда не жалел об этом.

— Ты очень тяжело пережил его смерть?

— Я и сам тогда был на грани жизни и смерти. А когда очнулся и узнал, что полковника нет в живых, почувствовал, что какая-то часть моей души умерла. Но в общем-то я всегда знал, что дело кончится смертью. Все кончается смертью, если на то пошло.

Конни слушала в раздумье. Снаружи ударил гром; поистине, разверзлись хляби небесные, а у них в утлом ковчеге тепло и уютно.

— Ты столько всего пережил в прошлом, — вздохнула Конни.

— Да. Мне порой кажется, что я уже раз-другой умирал. Ан нет, сижу сейчас здесь в предвкушении новых несчастий.

Конни напряженно вслушивалась и в его слова,

и в звуки бушующей за окном грозы.

— А когда твой полковник умер, тебе и дальше нравилось быть офицером и джентльменом?

— Нет! Военные в общем мелкий народишко. — Он вдруг рассмеялся и продолжал: — Полковник говорил мне: «Знаешь, парень, англичане среднего класса, прежде чем проглотить кусок, тридцать три раза его разжуют — слишком деликатная у них глотка, в ней и горошина застрянет. Барахло, каких мало. Трясутся от страха, если ботинок у них не так завязан. С душком товар, и всегда они во всем правы. Это меня больше всего убивает. Раболепны, задницы лижут до мозоли на языке. А все равно лучше их нет. Жеманные филистеры, недоделанные мужики».

Конни засмеялась. Дождь за окном еще припустил.

— Он их ненавидел?

— Да нет. Они ему были противны, а это большая разница. И он махнул на них всех рукой. Он говорил: «В наши дни и армия туда же. Военные тоже становятся филистерами с деликатной глоткой». Но таков, видно, путь всего человечества.

— А простой народ, рабочие?

— И эти не исключение. Мужского естества в них нет. Оно уничтожено кинематографом и аэро-

планами. Каждое новое поколение рождается все более жалким: вместо кишок у них резиновые трубки, а ноги руки, лица — жестяные. Люди из жести! Это ведь разновидность большевизма, умертвляющего живую плоть и поклоняющегося механическому прогрессу. Деньги, деньги, деньги! Все нынешние народы с наслаждением убивают в человеке старые добрые чувства, распиная ветхого Адама и Еву. Все они одинаковы. Во всем мире одно и то же: убить человеческое, фунт стерлингов за каждую крайнюю плоть, два фунта за детородный орган. А посмотри, что стало с любовью! Бессмысленные, механические телодвижения. И так везде. Платите им — они лишают человека силы, мужества и красоты. Скоро на земле останутся только жалкие дергающиеся марионетки.

Они сидели в сторожке, лицо его кривила ироническая усмешка. Но и он одним ухом прислушивался к шумящей в лесу грозе. И было ему от этого еще более одиноко.

— Чем же все это кончится? — спросила Конни.

— Все разрешится само собой. Когда всех настоящих мужчин перебьют, останутся одни пай-мальчики, белые, черные, желтые. И ско-

ро они все, как один, сойдут с ума. В здоровом теле — здоровый дух. А здоровья без мужского естества не бывает. Сойдут они, значит, с ума и произведут над собой великое аутодафе, — ты ведь знаешь, как это переводится: акт веры. Вот они и совершат вселенский акт веры. Одним словом, прикончат друг дружку.

— Убьют?

— Да, радость моя. Если мы будем развиваться в этом направлении такими же темпами, у нас очень скоро на острове не останется и десяти тысяч людей. Ты бы видела, с каким сладострастием они истребляют себе подобных.

Раскаты грома постепенно становились тише.

— Как хорошо! — сказала она.

— Великолепно! Предвидеть гибель человечества и появление на земле после долгой ночи нового homo sapiens — что может быть великолепнее. Если мы пойдем этим путем, если абсолютно все — интеллектуалы, художники, политики, промышленники, рабочие будут и дальше с тем же пылом убивать в себе здоровые человеческие чувства, истреблять последние крохи интуиции, последние инстинкты, если все это будет нарастать, как сейчас, в геометрической прогрессии, тогда конец, прощай, человечество! Земля тебе

пухом! Змей заглотит себя, оставив вселенский хаос, великий, но не безнадежный. Великолепно! Когда в Рагби-холле завоют одичалые псы, а по улицам Тивершолла поскачут одичалые шахтные лошаденки, вот тогда ты и воскликнешь: «Как хорошо!» «Te Deum laudamus»[21].

Конни рассмеялась, на этот раз не очень весело.

— Тогда ты должен радоваться, ведь все они большевики, — сказала она. — Что их жалеть, пусть на всех парах мчатся к своей гибели.

— А я и радуюсь. И не хочу им препятствовать. Ведь если бы и захотел, то не смог бы.

— А почему тогда ты такой злой?

— Я не злой. Если мой петушок и я сам кукарекаем в последний раз, так тому, значит, и быть.

— Но у тебя может родиться ребенок!

Он опустил голову.

— О-хо-хо! Родить на свет дитя в наши дни — неправильно и жестоко.

— Нет! Не говори так, не смей! — взмолилась она. — Я почти уверена, что у меня будет маленький. Скажи, что ты очень рад, — сказала Конни, положив на его руку свою.

---

[21] notes: 21

«Тебя, Бога, хвалим» — название и начало благодарственной католической молитвы *(лат.)*

— Меня радует твоя радость, — сказал он. — Но я считаю это предательством по отношению к неродившемуся существу.

— Что ты говоришь! — задохнулась она от возмущения. — Тогда, выходит, ты и не любишь меня по-настоящему. Если так думать, какая тут может быть страсть!

Он опять замолчал, помрачнел. Было слышно только, как за окном хлещет дождь.

— Ты не совсем искренен, — прошептала она. — Не совсем. Тебя мучает что-то еще.

Конни вдруг поняла, что его злит ее близкий отъезд, что она едет в Венецию по своей охоте. И эта мысль немного примирила ее с ним. Она подняла его рубашку и поцеловала пупок. Потом прижалась щекой к его животу и обняла одной рукой его теплые чресла. Они были одни посреди потопа.

— Ну скажи, что ты хочешь маленького, что ты ждешь его, — тихонько приговаривала она, сильнее прижимаясь к нему. — Ну, скажи, что хочешь!

— Да, наверное, — произнес он наконец. По телу его пробежала дрожь, он весь расслабился, и Конни поняла — верх берет его второе сознание.

— Знаешь, я иногда думаю, — продолжал он, —

а что, если обратиться к шахтерам? Они плохо работают, мало получают. Пойду я к ним и скажу: «Что вы все бредите деньгами? Если подумать — человеку ведь нужно совсем немного. Не гробьте вы себя ради денег».

Она мягко потерлась щекой о его живот, и ладонь ее скользнула ниже. Мужская плоть его подала признаки своей странной жизни. А дождь за окном не просто лил, а бесновался.

— Я бы им сказал, — продолжал егерь, — давайте перестанем горбить спины ради презренного металла. Вы ведь кормите не только себя, но и целую армию нахлебников. Вас обрекли на этот тяжкий труд. Вы получаете за него гроши, хозяева — тыщи. Давайте прекратим это. Не будем шуметь, изрыгать проклятия. Потихоньку, помаленьку укротим этого зверя — промышленность и вернемся к естественной жизни, Денег ведь нужно совсем мало. Мне, вам, хозяину — всем. И даже королю. Поверьте, совсем, совсем пустяки. Надо только решиться. И сбросить с себя эти путы. — Он подумал немного и продолжал: — И еще бы я им сказал: посмотрите на Джо. Как легко он движется. Смотрите, как легок его шаг, как он весел, общителен, умен! И как он красив! Теперь взгляните на Джона. Он неуклюж, безобразен,

потому что он никогда не думал о свободе. А потом обратите взгляд на самих себя: одно плечо выше, ноги скрючены, ступни как колоды! Что же вы сами с собой творите, что творит с вами эта дьявольская работа! Вы же губите себя. Пустить на ветер свою жизнь? Было бы ради чего. Разденьтесь и посмотрите на себя. Вы должны быть здоровы и прекрасны. А вы наполовину мертвы, уродливы. Вот что я бы сказал им. И я бы одел их в совсем другие одежды: ярко-красные штаны в обтяжку и узкие, короткие белые камзолы. Человек, у которого стройные, обтянутые красным ноги, через месяц станет другим. Он снова станет мужчиной, настоящим мужчиной. Женщины пусть одеваются как хотят. Потому что — вообрази себе: все мужчины щеголяют в белых камзолах, алые панталоны обтягивают красивые бедра и стройные ноги. Какая женщина не задумается тут о своей привлекательности? И опять они станут прекрасным полом. А что сейчас? Мужчины-то почти выродились. Хорошо бы года через два все кругом снести и построить для тивершолльцев прекрасные светлые здания. Край снова станет привольный и чистый. И детей будет меньше, потому что мир уже и так перенаселен. Я вовсе не стремлюсь в проповедники: я просто бы их

раздел донага и сказал: «Да полюбуйтесь же вы на себя! Вот что значит гробить себя ради денег. Вы ведь лезете в забой только ради них. Взгляните на Тивершолл! Как он уродлив. Ничего удивительного: его строили для тех, кому все застят деньги. Поглядите на своих девушек! Они не замечают вас, вы не видите их. И все потому, что вы все променяли досуг на каторжный труд. Вы не умеете говорить, не умеете двигаться, есть, не знаете толком, как обходиться с женщинами. Вы просто нежить, вот что вы такое…»

Воцарилось долгое молчание. Конни слушала его вполуха занятая своим делом. Она втыкала в его волосы на лобке собранные по дороге незабудки. Гроза за окном поутихла, стало прохладнее.

— А знаешь, — прервала Конни молчание, — на тебе растут четыре вида волос. На груди — почти совсем черные, на голове гораздо светлее, усы у тебя жесткие, темно-рыжие, а волосы любви внизу — как маленький кустик золотистой омелы. Они самые красивые.

Он посмотрел вниз — среди ярко-рыжих волос голубели звезд очки незабудок.

— Да! Вот, оказывается, где место незабудкам! Тебя что, совсем не беспокоит будущее?

Конни взглянула на него.

— Очень беспокоит.

— Видишь ли, когда я думаю, что весь мир обречен на гибель благодаря собственному идиотизму, то колонии не кажутся мне такими уж далекими. И Луна не кажется. С нее, наверное, хорошо видна наша бедная Земля — грязная, запакощенная человеком, самое несчастное из всех небесных тел. У меня от этих мыслей такое чувство, будто я наелся желчи и она разъедает мне внутренности… И ведь никуда не денешься, всюду лезет в глаза этот кошмар. К своему стыду должен сказать, что, когда во мне оживает второе сознание, все это куда-то уходит, забывается. Ладно, это так, к слову. Позор, что сделали с людьми в это последнее столетие; их превратили в муравьев, у них отняли мужское достоинство, отняли право на счастливую жизнь. Я бы стер с лица земли все машины и механизмы; раз и навсегда покончил с индустриальной эрой, с этой роковой ошибкой человечества. Но поскольку я не в силах с этим покончить, да и ни в чьих это силах, я хочу отрясти прах со своих ног, удалиться от мира и зажить своей жизнью, если это возможно. В чем я очень сомневаюсь.

Гром больше не гремел, но дождь, утихнувший было, полил с новой силой, сопровождаемый

последними далекими вспышками и отдаленным рокотанием. Конни не сиделось на месте. Он говорил так долго и явно себе, а не ей. Он весь отдался отчаянию, а она ненавидела отчаяние. Она была счастлива. Конни понимала — он только сейчас до конца осознал ее отъезд и потому впал в меланхолию. И она немножко гордилась этим.

Конни встала, открыла дверь и посмотрела на тяжелую, как стальную, стену дождя. И в ней вдруг проснулось желание выскочить в дождь, прочь из этой лачуги. От стала быстро стягивать чулки, платье, он глядел на нее, раскрыв рот. Ее небольшие острые груди, как у звериной самки, шевелились и вздрагивали в такт ее движениям. В зеленоватом свете комнаты тело ее казалось цвета слоновой кости. Надев боты, она выбежала в дождь, по-дикому хохотнув и выбросив вперед руки. Она бежала, белея сквозь потоки дождя, танцуя ритмический танец, которому выучилась много лет назад в Дрездене. Странная мертвенно-бледная фигура падала, поднималась, гнулась, подставляя дождю то полные блестящие бедра, то белый живот, то крутые ягодицы, снова и снова повторяя дикий, неописуемый реверанс.

Он натянуто засмеялся и тоже сбросил с себя одежду. Нет, это уж, пожалуй, слишком. Вздрог-

нув нагим телом, он выскочил под секущий косой, дождь. Флосси бежала впереди, заливаясь громким лаем. Конни обернулась, намокшие волосы облепили ей голову, лицо пылало, синие глаза возбужденно сияли. И она побежала дальше, делая странные резкие движения; свернула на тропу, подстегиваемая мокрыми ветками; и сквозь кусты замелькала чудесная женская трепещущая нагота. Она почти добежала до верховой тропы, когда он догнал ее и обхватил обнаженной рукой ее мягкое, мокрое тело. Она вскрикнула, остановилась и как впечаталась в его тело. Он крепко прижимал ее к себе, и всю ее тотчас охватило огнем. Ливень не унимался, и скоро от них повалил пар. Он взял в пригоршни обе ее тяжелые ягодицы и еще сильнее прижал к себе — дрожащий, неподвижный под струями дождя. Затем вдруг запрокинул ее и опустился вместе с ней наземь. Он овладел ею в шумящей тишине дождя — быстро и бешено, как дикий зверь.

Вскочил на ноги, вытер залитые дождем глаза. Приказал: «Скорее домой!» — и оба побежали обратно в сторожку. Он бежал легко, резво, не любил мокнуть под дождем. А она не спешила, собирала незабудки, смолевки, колокольчики

— пробежит немного, остановится и смотрит, как он убегает от нее.

Задыхаясь, с букетом цветов, она вошла в сторожку; в очаге уже весело потрескивал хворост. Ее острые груди поднимались и опадали; пряди волос прилипли ко лбу, шее; лицо стало пунцовым, по телу катились, поблескивая, струйки воды. Запыхавшаяся, с облепленной волосами неожиданно маленькой головкой, широко раскрытыми глазами, мокрыми наивными ягодицами — она казалась ему смешным незнакомым существом.

Он взял старую простыню, вытер ее всю, а она стояла, подчиняясь ему, как малое дитя. Затем, заперев дверь, вытерся сам. Огонь в очаге разгорался. Она взяла другой конец простыни и стала вытирать голову.

— Мы вытираемся одним полотенцем, — сказал он, — плохая примета, поссоримся.

Она секунду смотрела на него, растрепанные волосы торчали у нее во все стороны.

— Нет, — возразила она. — Не поссоримся. Это не полотенце, а простыня.

И оба продолжали вытирать каждый свои волосы.

Все еще тяжело дыша от хорошей пробежки, завернутые до пояса в солдатские одеяла, они

сидели рядышком на полене перед огнем и отдыхали. Конни было неприятно прикосновение к телу грубой шерсти. Но простыня была вся мокрая.

Она сбросила одеяло и опустилась на колени перед очагом, держа голову поближе к огню и встряхивая волосами, чтобы скорее просушились. А он смотрел, как красиво закругляются у нее бедра — их вид весь день завораживал его. Как плавно, роскошно переходят они в тяжелые ягодицы. А между ними сокрытые в интимном тепле самые сокровенные ее отверстия.

Он погладил ладонью ее задик, погладил медленно, с толком, ощущая каждый изгиб, каждую округлость.

— Какой добрый у тебя задик, — сказал он на своем ласковом диалекте. — У тебя он самый красивый. Вот баба какой должна быть. Не то что нынешние плоскожопые девки, смотришь и не отличишь — девка это или парень. А у тебя не попка, а печка — ладная, круглая, теплая. Мужик от такой балдеет.

Он говорил это, а сам гладил ее круглые ягодицы, пока не побежал от них к его ладоням горячий ток. Один раз, другой коснулся он пальцами двух самых интимных отверстий ее тела, точно полос-

нул огненной кисточкой.

— Как хорошо, что ты и писаешь и какаешь. Мне не нужна баба, которая ни о чем таком и слыхом не слыхала.

Конни не могла удержаться и прыснула, а он невозмутимо продолжал:

— Да, ты всамделишная, хотя и немножко сучка. Вот чем ты писаешь, вот чем какаешь; я трогаю и то и другое и очень тебя за это люблю. Понимаешь, почему люблю? У тебя настоящая, ладная бабская попа. Такой весь мир держится. Ей нечего стыдиться, вот так.

Он крепче прижал ладонь к ее секретным местечкам, точно дружески приветствовал их.

— Мне очень нравится, — сказал он. — Очень. Если бы я прожил всего пять минут и все это время гладил тебя вот так, я бы считал, что прожил целую жизнь! К черту весь этот индустриальный бред. Вот она — моя жизнь.

Она повернулась, забралась к нему на колени, прижалась и шепнула:

— Поцелуй меня!

Она знала: их обоих не отпускает мысль, что они скоро расстанутся, и загрустила.

Конни сидела у него на коленях, головой прижавшись к его груди, свободно раскинув ма-

тово-блестящие ноги; танцующее в очаге пламя высвечивало то ее руку, то его лицо. Опустив голову, он любовался складками ее тела, неровно освещенного огнем, руном ее мягких каштановых волос, темнеющих внизу живота. Он протянул к столу руку, взял принесенный ею букетик, с которого на нее посыпались капли дождя.

— Цветам приходится терпеть любую погоду, — сказал он. — У них ведь нет дома.

— Даже хижины, — прошептала она.

Уверенными пальцами он воткнул несколько незабудок в треугольник каштановых волос.

— Ну вот, — сказал он. — Незабудки на месте.

Она взглянула на мелкие голубоватые цветочки внизу живота.

— Какая прелесть, — вырвалось у нее.

— Как сама жизнь, — отозвался он. И воткнул рядом розовый бутон смолевки. — А это я. Как Моисей в камышах. И ты теперь меня не забудешь.

— Ты ведь не сердишься, что я уезжаю? — грустно проговорила она, глядя ему в лицо.

Оно было непроницаемо, тяжелые брови насуплены. Ничего-то в нем не прочитаешь.

— Охота пуще неволи, — сказал он.

— Я не поеду, если ты не хочешь, — прижалась она к нему.

Оба замолчали, он протянул руку и бросил еще полено в огонь. Вспыхнувшее пламя озарило его хмурое, за семью печатями лицо. Она ждала его ответа, но он так и не раскрыл рта.

— Знаешь, я думаю, что это начало разрыва с Клиффордом. Я правда хочу ребенка. И это даст мне возможность, понимаешь… — она запнулась.

— Навязать им некий обман, — закончил он.

— Да, помимо всего прочего. А ты хочешь, чтобы они знали правду?

— Мне все равно, что они будут думать.

— А мне не все равно! Я не хочу, чтобы они меня мучили своей холодной иронией. Это так ужасно. Во всяком случае, пока я буду еще жить в Рагби-холле. Когда я совсем уеду, пусть думают что хотят.

Он опять замолчал.

— Сэр Клиффорд ожидает, что ты вернешься к нему из Венеции?

— Да, поэтому я должна вернуться, — сказала она.

— А рожать ты будешь тоже в Рагби?

Конни обняла его за шею.

— Придется, если ты не увезешь меня оттуда, — сказала она.

— Куда увезу?

— Куда-нибудь. Куда хочешь. Только подальше от Рагби.

— Когда?

— Когда я вернусь.

— Какой тогда смысл возвращаться? Зачем делать дважды одно и то же? — сказал он.

— Я должна вернуться. Я обещала. Дала слово. Да к тому же, я ведь вернусь сюда, к тебе.

— К егерю твоего мужа?

— Это для меня не имеет значения.

— Не имеет? — Он немного подумал. — А когда же ты все-таки решишь совсем уйти? Когда точно?

— Пока не знаю. Вот вернусь из Венеции. И вместе решим.

— Что решим?

— Я все скажу Клиффорду. Я должна ему сказать.

— Скажешь?

И опять он как набрал в рот воды. Конни крепко обняла его.

— Не осложняй мне все дело, — попросила она.

— Что не осложнять?

— Мою поездку в Венецию и все дальнейшее.

Легкая, чуть насмешливая улыбка скользнула

по его лицу.

— Я ничего не осложняю, — сказал он. — Я просто хочу понять, что действительно тобой движет. По-видимому, ты сама не понимаешь себя. Ты хотела бы потянуть время, уехать и все еще раз обдумать на стороне. Я не виню тебя. Думаю, что ты поступаешь мудро. Возможно, ты предпочтешь остаться хозяйкой Рагби. Нет, я не виню тебя. Мне нечего тебе предложить. У меня нет Рагби. Ты знаешь, что я могу тебе дать. Я думаю, ты права! И я вовсе не горю желанием навязать тебе свою жизнь. Не хочу быть у тебя на содержании. Есть ведь еще эта сторона.

«Он мучает меня, — подумала Конни, — чтобы поквитаться».

— Но ты ведь любишь меня? — спросила она.

— А ты?

— Ты же знаешь, что люблю. Это очевидно.

— Что верно, то верно. Так когда ты хочешь соединиться со мной?

— Я же сказала — вернусь, и мы все, все устроим. Ну что ты меня терзаешь! Вот теперь мне надо успокоиться и привести в порядок мысли.

— Прекрасно! Успокаивайся и приводи что там у тебя в порядок.

Конни немножко обиделась.

— Но ты веришь мне? — спросила она.

— Безусловно!

Ей послышалась в его голосе явная насмешка.

— Тогда ответь мне, только честно, — твердо сказала она. — Ты считаешь, что мне лучше не ездить в Венецию?

— Я считаю, что тебе надо ехать в Венецию, — ответил он своим холодным, чуть насмешливым тоном.

— Ты знаешь, что я еду в тот четверг?

— Знаю.

Конни опять задумалась. Потом сказала:

— Когда я вернусь, нам будут яснее наши отношения, верно?

— Разумеется.

И опять непонятное молчание.

— Я советовался с юристом о разводе, — на этот раз начал он явно через силу.

— Правда? И что он сказал? — встрепенулась Конни.

— Он сказал, что надо было гораздо раньше возбудить дело. А теперь могут возникнуть трудности. Но поскольку я служил в армии, он думает, что я получу развод. Если только, конечно, узнав о начатых шагах, она опять не свалится мне на голову.

— А она должна об этом знать?

— А как же. Ей пошлют официальное уведомление.

— Какая тоска — все эти формальности! Меня то же ждет с Клиффордом.

Опять молчание.

— И конечно, — сказал он, — мне придется месяцев шесть-восемь вести высоконравственную жизнь. Пока ты в Венеции, соблазн будет недели две-три отсутствовать.

— А я для тебя соблазн? — сказала она, гладя его лицо. — Я так рада, что я для тебя соблазн. Давай больше не будем думать о неприятном. Когда ты начинаешь думать, мне становится страшно: ты просто кладешь меня на обе лопатки. Давай не будем ни о чем думать. В разлуке у нас будет много времени для думания. В этом смысл моей поездки. Между прочим, мне знаешь что пришло в голову — до отъезда провести с тобой еще одну ночь. У тебя в доме. Можно я приду к тебе в четверг вечером?

— В тот день, когда за тобой приедет сестра?

— Да. Она сказала, мы должны выехать часов в пять. Ну, мы и выедем. Она переночует ту ночь в какой-нибудь гостинице, а я с тобой.

— Тогда придется ей все сказать?

— Конечно. Да я уже почти призналась ей. Мне надо все хорошенько обсудить с Хильдой. Она мне всегда во всем помогала. Она очень умная.

— Значит, вы выедете из Рагби в Лондон часов в пять. Каким путем вы поедете?

— Через Ноттингем и Грэнтем.

— Сестра где-нибудь высадит тебя, и ты пойдешь обратно? Или подъедешь на чем-нибудь? Мне кажется, это большой риск.

— Почему? Хильда и подвезет меня обратно. Мы остановимся в Мэнсфилде, и вечером она привезет меня сюда. А утром заберет. Все очень просто.

— А если кто из людей тебя увидит?

— Я надену темные очки и вуалетку.

Он опять немного подумал.

— Ну что ж, — сказал он, — хочешь, как всегда, себя побаловать.

— Но разве тебе от этого будет плохо?

— Не будет, конечно, — сказал он нахмурившись. — Куй железо, пока горячо, как говорится.

— А знаешь, что я еще придумала? — вдруг выпалила она. — Меня осенило сию минуту. Ты возведен в рыцарское достоинство. И теперь ты «Рыцарь пламенеющего пестика»[22].

---

[22] notes: 22

Название пьесы Флетчера, драматурга и поэта, младшего современника Шекспира.

— Ха! Ну а ты? Леди пламенеющей ступки.

— Вот здорово! — воскликнула она.

— Выходит, Джон Томас теперь сэр Джон. Под стать своей леди Джейн.

— Ура! Джон Томас посвящен в рыцари. Я вся в цветах, и сэра Джона тоже надо осыпать цветами!

И Конни воткнула две розовые смолевки в облако золотистых волос внизу его живота.

— Вот! — сказала она. — Очаровательно. Просто очаровательно, сэр Джон. Будешь помнить свою леди Джейн.

Затем украсила незабудками темные волосы над сосками и поцеловала его соски.

— Ишь, сделала из меня алтарь, — рассмеялся он, и цветы с его груди так и посыпались.

— Подожди, — сказал он и пошел открыть дверь. Флосси, лежавшая на пороге, поднялась и посмотрела на него.

— Лежи, лежи, это я! — сказал он.

Дождь перестал. Всюду был разлит влажный, тяжелый, полный весенних ароматов покой. Заметно вечерело.

Он вышел и двинулся в сторону, противоположную верховой тропе. Конни провожала взглядом его тонкую белую фигуру, и он показался ей при-

зраком, привидением, уходящим от нее, готовым раствориться в воздухе.

Вот его фигуру поглотил лес, и сердце у нее екнуло. Она стояла в двери сторожки, завернувшись в одеяло, вглядываясь во влажную, неподвижную тишину.

А он уже возвращался легкой пружинистой походкой. Она немного побаивалась его, он представлялся ей неким мифическим существом. Подойдя ближе, он взглянул ей прямо в глаза, но она еще не умела читать его взгляд.

Чего только он не набрал в лесу: водосбор, смолевки, пучок свежескошенной травы, еще нераспустившуюся жимолость, дубовую ветку в нежных листочках. Веткой он убрал ей грудь, в волосы воткнул несколько колокольчиков, в пупок розовую смолевку, а темный треугольник под животом украсил незабудками и ясменником.

— Царица во всей своей славе! — рассмеялся он. — Леди Джейн празднует свадьбу с Джоном Томасом.

И принялся украшать себя. Обвил вьюнком свою мышцу, сунул в пупок колокольчик гиацинта. Конни, затаив дыхание, следила за его странной игрой. Но потом и сама включилась в нее, воткнула ему в усы смолевку, и она смешно

закачалась под носом.

— Джон Томас женится на леди Джейн, — сказал он. — А Оливер с Констанцией пусть делают что хотят. Может, все-таки…

Он сделал торжественный жест и вдруг чихнул, стряхнув цветы из-под носа и из пупка. И снова чихнул.

— Может, что? — спросила Конни.

— Что? — он удивленно взглянул на нее.

— Может — что? Ну, говори же, что? Что ты хотел сказать?

— А что я хотел сказать?

Он начисто забыл конец оборванной фразы. И это осталось для Конни одним из самых больших разочарований в жизни.

Над деревьями вспыхнул последний солнечный луч.

— Солнце! — сказал он. — Помнишь, когда ты пришла? Время, ваша милость, время! Что без крыльев, а летит — не догонишь? Неуловимое время!

Он потянулся за своей рубашкой.

— Скажи до свидания Джону Томасу.

Он в крепких путах вьюнков. Сейчас его вряд ли назовешь: «Рыцарь пламенеющего пестика».

И он стал натягивать через голову фланелевую

рубашку.

— Самый опасный миг для мужчины, — сказал он, высунув из ворота голову, — когда он натягивает рубашку. Это все равно, что лезть головой в мешок. Вот почему я люблю американские рубашки. Их надеваешь как пиджак.

Конни все стояла и смотрела на него. Затем он натянул короткие кальсоны и застегнул на животе.

— Поглядите на Джейн! — воскликнул он. — Осыпана цветами! А кто будет осыпать ее цветами через год? Я или кто другой? «Прощай, мой колокольчик, и помни обо мне!» Терпеть не могу эту песню. Напоминает мне начало войны.

Он сел и стал натягивать носки. Конни все еще не двигалась места. Он положил ладонь ей на бедро.

— Милая маленькая леди Джейн! — сказал он. — Может, в Венеции ты встретишь мужчину, который украсит тебя жасмином и гранатовым цветом! Бедная маленькая леди Джейн.

— Не говори глупости, — сказала Конни. — Ты говоришь это, чтобы сделать мне больно.

Он опустил голову. Потом сказал на своем диалекте:

— Может, и так… Ну да ладно. Сказано и забыто.

А ты давай одевайся и ступай в свои хоромы, богатые да просторные. Вышел срок сэру Джону и маленькой Джейн. Надевайте свой пеньюар, леди Чаттерли! А то ведь поди без пеньюара-то в одних цветочках не сразу и признают. Вот я сейчас возьму и раздену тебя, бесхвостая трясогузка.

Он вынул колокольчики из влажных еще волос, поцеловал их, убрал ветки с грудей и поцеловал груди. Незабудок, однако, не тронул.

— Пусть они тут и останутся. Вот ты и опять голая, ласонька моя, леди Джейн. А теперь одевайся, тебе пора поспешать отсюда. Не то леди Чаттерли опоздает к ужину. И будет ей, моей голубушке, хорошая взбучка.

Конни всегда терялась, когда он переходил на свой диалект. Она молча оделась и заспешила домой, чувствуя, что провинилась.

Он пошел проводить ее до верховой тропы. По дороге заглянул к фазанятам: вид у них был довольный, точно никакой грозы не было. Свернули на тропу и нос к носу столкнулись с побледневшей, испуганной миссис Болтон.

— О, ваша милость, — запричитала она, — мы думали, с вами что приключилось.

— Что со мной могло приключиться?

Миссис Болтон посмотрела в лицо мужчины

и не узнала его, такой любовью оно светилось. Глаза чуть насмешливо улыбались, впрочем, он всегда смеялся в неловкую минуту, но была в них и явная приветливость.

— Добрый вечер, миссис Болтон! Я больше не нужен вашей милости? Позвольте мне откланяться. До свидания, ваша милость. До свидания, миссис Болтон!

Егерь козырнул и пошел обратно.

16

Дома Конни ожидала пытка перекрестного допроса.

Клиффорд выехал из дому часов в пять, вернулся перед самой грозой. Ее милости дома не было. И никто не знал, куда она делась. Миссис Болтон предположила, что она вышла прогуляться в лес. В лес? В такую грозу? Клиффорд взвинтил себя почти до нервического припадка. Вздрагивал при каждой вспышке молнии и белел как полотно от каждого раската грома. Он глядел в окно на потоки проливного дождя с таким ужасом, будто пришел конец света. Нервы у него расходились все сильнее.

Миссис Болтон пыталась успокоить его.

— Ее милость укрылась в сторожке. Не беспокойтесь, с ней ничего не случилось.

— Я не хочу, чтобы она гуляла по лесу в такую грозу. Я вообще не хочу, чтобы она одна уходила в лес! Ее нет уже больше двух часов. Когда она вышла из дома?

— За несколько минут до вашего возвращения.

— Но я не встретил ее в парке. Один Бог знает,

где она теперь и что с ней случилось.

— Да ничего с ней не случилось. Вот увидите, гроза пройдет и она явится. Не может же она идти домой по такому дождю.

Но гроза унялась, а ее милость не появилась. Время шло, вспыхнули последние лучи, а, ее все не было. Наконец солнце село, сгустились тени, ударил первый гонг, зовущий к обеду.

— Это невыносимо, — бушевал Клиффорд. — Надо послать Филда с Беттсом на поиски.

— Не делайте этого! — воскликнула миссис Болтон. — Они еще подумают про самоубийство. Пойдут всякие разговоры... Я лучше сама пойду посмотрю, не в сторожке ли она. Я уверена, что найду ее.

После недолгих уговоров Клиффорд отпустил ее.

Так вот Конни и встретилась с миссис Болтон, бледной, спотыкающейся, одиноко бредущей по лесу.

— Не сердитесь, что я пошла искать вас, ваша милость. Сэр Клиффорд на грани истерики. Он уверил себя, что вас либо поразила молния, либо убило рухнувшее дерево. И решил послать Филда с Беттсом на поиски вашего тела. Я и подумала, лучше уж мне пойти. А то какой бы поднялся

переполох, — говорила, волнуясь, миссис Болтон. Она видела и в лице Конни тот же свет, ту же отрешенность, которые рождает только любовь. И чувствовала, что Конни недовольна ею, даже раздражена.

— Хорошо, — сказала Конни, не прибавив больше ни слова.

Две женщины молча шли по умытому грозой лесу, слушая, как падают тяжелые капли, взрываясь хлопушками. Когда вошли в парк, Конни ускорила шаг, и миссис Болтон, пыхтя, поплелась сзади — она стала заметно тучнеть.

— Как глупо со стороны Клиффорда поднимать такой шум, — наконец сказала она в сердцах скорее самой себе, чем миссис Болтон.

— Вы же знаете, ваша милость, что такое мужчины. Они любят взвинтить себя. Но как только он увидит вас в целости-сохранности, он тут же и успокоится.

Конни очень досадовала, что миссис Болтон разгадала ее тайну. В этом не было никакого сомнения.

— Нет, это возмутительно! — Она неожиданно остановилась. — Послать за мной шпионить! — Конни глядела на миссис Болтон пылающими глазами.

— О, ваша милость! Не говорите так. Он действительно послал бы Филда с Беттсом, и они сразу пошли бы в сторожку. А я даже и не знаю толком, где она находится.

Лицо Конни стало пунцовым — она поняла намек миссис Болтон. Но в таком состоянии не могла лгать. Не могла притвориться, что между ней и егерем ничего нет. Она поглядела на стоящую перед ней женщину — голова опущена, лукавства в глазах не видно. Но, конечно, оно там есть. Ладно, в таких делах женщина женщине чаще всего союзник.

— Так тому и быть, — сказала она. — В конце концов меня это мало волнует.

— Полноте, ваша милость! Ничего страшного не случилось. Вы спрятались от грозы в хижине. Вот и все.

Вошли в дом. Конни сразу устремилась в комнату Клиффорда, клокоча яростью; ее бесило все — Клиффорд, его выпученные глаза, бледное, дергающееся лицо.

— Я должна сказать, у тебя нет причин посылать слуг на мои поиски, — выговаривала она ему резко.

— Боже правый! — возопил он — Где ты была, женщина! Тебя не было дома несколько часов,

несколько! Гулять в такую грозу! Какого дьявола тебя понесло в этот чертов лес? Что это тебе взбрело в голову? Гроза уже давно прошла, давно. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Да от этого можно сойти с ума. Где ты была? Что ты, черт возьми, все это время делала?

— И не подумаю ничего объяснять, — сказала она и, сняв шляпку, тряхнула волосами.

Он глядел на нее выкатившимися глазами, белки глаз налились желтизной. Ему были вредны приступы такого гнева, миссис Болтон потом мучилась с ним несколько дней. И Конни вдруг устыдилась.

— Ну что это ты, в самом деле, — сказала она мягче, — можно подумать, я была Бог весть где. Я просто сидела в сторожке, разожгла в очаге огонь; лил дождь, а я была счастлива.

Она лгала легко. Зачем еще больше гневить его, какой смысл? Он поглядел на нее с подозрением.

— Посмотри на свои волосы! — все еще кипятился он. — Посмотри на себя!

— Да, — сказала она. — Я бегала нагая под дождем.

Клиффорд лишился дара речи от изумления.

— Ты сошла с ума, — наконец вымолвил он.

— А что такого! Разве плохо принять в лесу

дождевой душ?

— Чем же ты вытиралась?

— Старым полотенцем. Нашла в сторожке. Волосы посушила над огнем.

Он все продолжал ошалело глядеть на нее.

— А если бы кто вошел?

— Кто мог бы войти?

— Да кто угодно. Хотя бы и Меллорс. Он, случайно, не заглянул туда? По вечерам он бывает в сторожке.

— Заглянул. Только позже, когда гроза кончилась. Дал фазанятам корму.

Она говорила с поразительной непринужденностью. Миссис Болтон слушала ее в соседней комнате и восхищалась. Подумать только, как естественно может держать себя женщина в такой ситуации.

— А если бы он увидел, как ты носишься голая под дождем, точно сбежала из сумасшедшего дома? Что бы тогда было?

— Он до смерти перепугался бы и дал деру.

Клиффорд все не мог опамятоваться. Что делалось у него в подсознании, он так никогда потом и не разобрал. Сейчас же на ум не шла ни одна здравая мысль. Он просто принял объяснения Конни, принял, как рыба заглатывает крючок. Он

восхищался ею, не мог не восхищаться. Она была такая красивая, румяная, свежая и вся светилась любовью.

— Будет большая удача, — сказал он, смягчаясь, — если ты не сляжешь с сильной простудой.

— А я ведь не простужаюсь, — сказала Конни, вспомнив слова другого мужчины: «Не попка, а печка, ладная, круглая, теплая». Ей так захотелось сказать Клиффорду — вот что она услышала во время этой божественной грозы. Но все-таки лучше попридержать язык. И вести себя, как подобает обиженной королеве. И Конни отправилась наверх переодеваться.

Клиффорд решил вечером быть с Конни ласковее. Он читал сейчас одно из новейших научно-религиозных сочинений. В Клиффорде была псевдорелигиозная жилка: он, как и все эгоцентрики, тревожился о будущем своего эго. Клиффорд уже давно взял за правило беседовать с Конни о читаемых книгах. Беседы в их жизни были насущным делом, чуть ли не биологической потребностью. И Клиффорд готовился к ним, как к сложным биохимическим опытам.

— Что бы ты сказала на это? — спросил Клиффорд, потянувшись за книгой. — Будь позади нас еще несколько эонов эволюции, тебе бы

не пришлось остужать под дождем свое пышущее здоровьем тело. Вот слушай: «Вселенная предстает перед нами двояко — физически она истощается, духовно же воспаряет».

Конни молчала, ожидая продолжения. А Клиффорд ожидал отклика на первый же постулат. Помолчав немного, Конни вопросительно взглянула на мужа.

— Значит, духовно Вселенная воспаряет, — наконец сказала она. — А что, же остается внизу? Там, где у нее мягкое место?

— Господи! Не ищи ты в сказанном больше того, что там есть, — проговорил он с легкой досадой. — «Воспаряет» здесь, по-видимому, антоним «истощается».

— То есть духовно Вселенная разбухает?

— Я спрашиваю тебя серьезно: как по-твоему, есть что-нибудь в этой фразе?

— А физически, значит, она истощается? — сказала Конни, опять взглянув на него. — Но, по-моему, ты явно полнеешь. И я далека от истощения. А разве солнце уменьшилось в размерах за последнее тысячелетие? И, наверное, Ева предложила Адаму яблоко, которое было не больше наших красных пепинов? Ты не согласен?

— Нет, ты послушай, что он говорит дальше:

«Таким образом, Вселенная очень медленно, неуловимо для глаза в нашем временном измерении, стремится к новым творческим энергетическим состояниям, так что наш физический мир, такой, каким мы его знаем сегодня, в конце концов станет некоей пульсацией, почти не отличимой от небытия».

Конни слушала, едва сдерживая смех. В ответ напрашивалось столько всяких непристойностей. Но она только сказала:

— Что это за чепуха! Как будто крошечным самовлюбленным сознанием автора можно постигнуть сверхдлительные космические процессы. Это может значить только одно. Автор — какой-нибудь физический урод, потому и хочет, чтобы материальный мир постигла катастрофа. Какое беспардонное нахальство!

— Да ты послушай дальше. Негоже прерывать великого человека на полуслове. «Нынешний тип миропорядка возник в невообразимом прошлом и погибнет в невообразимом будущем. Останется неистощимое множество абстрактных форм плюс творческий импульс, вечно меняющийся и вечно готовый к творению, побуждаемый собственными порождениями и Богом, от чьей мудрости зависят все упорядоченные формы».

Каково закручено!

Конни слушала и не могла справиться с раздражением.

— Господи, какая чушь! — не выдержала она. — Вот уж кто духовно разбух! Невообразимости, нынешний тип миропорядка, неистощимое множество абстрактных форм, вечно меняющийся творческий импульс и Бог вперемежку с упорядоченными формами. Но ведь это просто идиотизм.

— Должен признать, несколько туманный подбор сущностей. Смесь, так сказать, различных газов, — проговорил Клиффорд. — И все-таки мне кажется, что-то в этой идее есть — «Вселенная духовно воспаряет, а физически истощается».

— Да? Ну и пусть воспаряет. Лишь бы здесь внизу физически со мной ничего не случилось.

— Тебе так нравится твое физическое тело? — спросил он.

— Я люблю его. — И опять в ее памяти прозвучали слова: «Не попка, а печка, ладная, круглая, теплая».

— Странное заявление, ведь общепризнано, что тело — это оковы для духа. Хотя женщинам заказаны высшие радости ума.

— Высшие радости? — переспросила она, взгля-

нув прямо ему в глаза. — И это тарабарщина, по-твоему, может доставить уму высшую радость? Нет уж, уволь меня от таких радостей. Оставь мне мое тело. Я уверена, жизнь тела, если оно действительно пробудилось к жизни, куда реальнее, чем жизнь ума. Но вокруг нас ходит столько мертвецов, у которых жив один мозг.

Клиффорд слушал ее и не верил своим ушам.

— Но жизнь ради тела — животная жизнь.

— Она в тысячу раз лучше, чем жизнь профессиональных мертвецов. К сожалению, человеческое тело только начинает пробуждаться. Древние греки были прекрасной вспышкой. Но Платон и Аристотель нанесли ему смертельный удар. А Иисус довершил дело. Но теперь человеческое тело опять воспрянуло к жизни. Оно, действительно, выходит на свет из могильного склепа. Любовь скоро восторжествует на земле. И настанет царство живых людей.

— И ты выступаешь как провозвестница новой жизни. Согласен, тебя ждет отдых, море, Венеция, но, пожалуйста, не надо так откровенно ликовать. Это неприлично. Поверь мне. Бог, кто бы он ни был, медленно, очень медленно, но упраздняет внутренности, пищеварительную систему в человеческом существе, выпестывая в нем более

возвышенное, более духовное существо.

— Почему я должна верить тебе, Клиффорд, когда я чувствую, что Бог, кто бы он ни был, проснулся, наконец, в моем теле и так радостно трепещет там, как первый луч зари.

— Вот именно! И что произвело в тебе эту разительную перемену? Твоя обнаженная пляска под дождем, игра в вакханку? Это что, жажда чувственных радостей, предвкушение Венеции?

— И то и другое! По-твоему, это ужасно, что я загодя предаюсь восторгу?

— Я бы сказал, ужасно так откровенно его обнаруживать.

— Ну что ж, тогда я буду скрывать свои чувства.

— Пожалуйста, не утруждайся! Ты почти заразила меня своим настроением. Мне вдруг показалось, что это я еду.

— Так давай поедем вместе.

— Это мы уже с тобой обсудили. К тому же, если уж совсем честно, твой восторг в значительной мере объясняется еще и другим: завтра ты скажешь «прости», правда на время, всему, что видишь здесь изо дня в день многие годы. В этом заключается особая сладость: «Прощай, все и вся!» Но всякое расставание в одном месте

сулит встречи в другом. А новая встреча — всегда новое бремя.

— Вот уж не собираюсь взваливать на себя никакого бремени.

— Не заносись, когда боги слушают…

— А я и не заношусь, — резко оборвала Конни.

Но поездка все-таки манила ее; какое счастье обрести давно утраченную свободу, хотя бы и ненадолго. Она ничего не могла с собой поделать. В ту ночь Клиффорд так и не смог заснуть: до самого утра играли они с миссис Болтон в карты, пока сиделка чуть не свалилась со стула.

И вот наконец наступил день приезда Хильды, Конни условилась с Меллорсом, что, если судьба напоследок улыбнется им, она повесит на окне зеленую шаль. Если дело сорвется — красную.

Миссис Болтон помогла Конни укладываться.

— Ваша милость будет так счастлива перемене обстановки.

— Наверное. А вам не обременительно одной ухаживать за сэром Клиффордом?

— Конечно нет! Я с ним прекрасно управляюсь. Ведь я могу оказать ему помощь буквально во всем. Вам не кажется, что его самочувствие заметно улучшилось?

— Действительно, улучшилось. Вы сделали

чудо.

— Нет, правда? Мужчины ведь все одинаковы. Как малые дети, их надо хвалить, ублажать, им надо поддакивать. Они всегда должны чувствовать, что за ними последнее слово. Вы согласны со мной, ваша милость?

— Боюсь, что в этой области у меня слишком маленький опыт.

Оторвавшись от сборов, Конни взглянула на миссис Болтон и вдруг спросила:

— А ваш муж? Вы его умели ублажить?

Миссис Болтон тоже отвлеклась на секунду.

— Да, конечно, — сказала она. — Умела. И хотя он видел все мои хитрости, я всегда делала что хотела.

— И он никогда не командовал вами?

— Почти никогда. Изредка, правда, мелькнет у него в глазах что-то такое, а уж я знаю — пререкословить нельзя. Но обычно он покорялся. И никогда не командовал. Но и я не командовала. Знала, когда уступить, и уступала. Хотя иногда мне это было и нелегко.

— Ну, а если бы вы не уступили? Что тогда было бы?

— Не знаю, мы никогда не ссорились. Даже если он бывал и не прав, но начинал артачиться,

я всегда ему уступала. Я очень им дорожила. Есть женщины, которые всегда хотят настоять на своем, я таким не завидую. Если любишь мужчину, уступи, когда он уперся; прав ли он, нет ли — уступи. Это в супружеской жизни первое правило. А вот мой Тед, случалось, уступал мне, когда я уж точно была не права. Видно, тоже дорожил мной. Так что в общем то на то и получалось.

— И вы так же обращаетесь со своими пациентами? — спросила Конни.

— Пациенты — другое дело. Тут ведь любви-то нет. Но я знаю, что им на пользу, и соответственно веду себя. А когда любишь, совсем другое дело. Правда, любовь к одному мужчине научает, как обходиться со всеми другими. Но это, конечно, совсем не то. И вообще, я не верю, что можно любить второй раз.

Эти слова напугали Конни.

— Вы думаете, любят только один раз?

— Или вообще ни разу. Сколько женщин ни разу не любили, даже не знают, что это такое. А сколько мужчин не знает! Но когда я встречаю настоящую любовь, я всегда стою за нее горой.

— А как вы думаете, мужчины легко обижаются?

— Да, если вы задели их гордость. Но ведь и с

женщинами то же самое. Правда, гордость гордости — рознь.

Конни призадумалась, опять стало точить сомнение, правильно ли она делает, что едет. В сущности, она бросает мужчину, пусть ненадолго. И он понимает это. Вот почему и ведет себя так неловко и так обидно.

Но что поделаешь! Человек в плену у постоянно меняющихся обстоятельств. И не ей с ними бороться.

Хильда приехала утром в четверг в юрком двухместном автомобильчике с привязанным сзади багажом. Она выглядела, как всегда, по-девичьи скромно, и, как всегда, в ней чувствовалась неукротимая воля. Эта женщина была наделена адской силой воли, в чем пришлось неоднократно убедиться ее супругу. Сейчас они находились на одной из стадий развода. Она даже согласилась на кое-какие шаги, чтобы облегчить судебную процедуру, хотя любовника как такового у нее не было. Она решила на время выбыть из этой игры полов. Хильда была счастлива обретенной независимости; у нее было двое детей, и она задалась целью воспитать их «надлежащим образом» — что бы это ни значило.

Констанции было позволено взять с собой

небольшой чемодан. Большой чемодан с вещами она отправила отцу, ехавшему поездом. В Венецию, по его мнению, нет смысла ехать летом в автомобиле. В июле на дорогах Италии пыльно и жарко. И он решил добираться до Венеции самым покойным и удобным образом — в спальном вагоне. Сэр Малькольм был уже в Лондоне и ожидал дочерей. Всю материальную часть путешествия Хильда взяла на себя. Сестры сидели наверху и разговаривали.

— Видишь ли, Хильда, — с легкой нервозностью говорила Конни. — Я хочу эту ночь провести недалеко отсюда. Не здесь, а поблизости.

Хильда сверлила сестру серыми стальными глазами. Вид у нее был безмятежный, но как часто она при этом внутренне кипела от злости!

— Где это поблизости? — тихо спросила Хильда.

— Ты же знаешь, я люблю одного человека.

— Догадываюсь.

— Ну вот, он живет рядом. Я хотела бы эту последнюю ночь провести с ним. Я должна, понимаешь! Я обещала.

Конни явно проявляла настойчивость.

Не ответив ни слова, Хильда опустила свою голову Минервы. И опять вскинула.

— Ты скажешь мне, кто он? — спросила она.

— Это наш егерь, — запинаясь проговорила Конни и, как пристыженная школьница, залилась краской.

— Конни! — Хильда в негодовании слегка вздернула носик — движение, унаследованное от матери.

— Да, понимаю. Но он очень красивый. И он умеет быть нежным, — сказала Конни, как бы оправдывая его.

Хильда — яркая, рыжеволосая Афина — склонила голову и задумалась. Она была, мягко говоря, в ярости. Но не решалась этого показать, Конни могла мгновенно впасть в буйство — неуправляема, вся в отца.

Верно, Хильда не любит Клиффорда, его холодную самоуверенность — мнит себя Бог знает кем. Она считала, что он эксплуатирует Конни бесстыдно и безжалостно, и втайне надеялась, что сестра рано или поздно уйдет от него. Но, принадлежа к шотландскому среднему классу, приверженному устоям, она не могла допустить такого позора для себя и семьи. Наконец она подняла глаза на Конни.

— Ты очень пожалеешь об этом.

— Никогда, — крикнула Конни, краснея. — Он

— исключение. Я очень люблю его. Он необыкновенный любовник.

Хильда опять задумалась.

— Ты очень скоро разочаруешься в нем, — сказала она. — И тебе будет стыдно.

— Не будет! Я надеюсь родить от него ребенка.

— Конни! — сказала, как кулаком грохнула, Хильда, побелев от ярости.

— Да, рожу, если забеременею. И буду счастлива и горда иметь от него ребенка.

Сейчас с ней говорить бесполезно, решила Хильда.

— А Клиффорд что-нибудь подозревает?

— Нет, с чего бы ему подозревать?

— Не сомневаюсь, что ты дала ему не один повод для подозрения.

— Ничего подобного.

— Твоя затея мне кажется бессмысленной глупостью. Где этот егерь живет?

— В коттедже, за лесом.

— Он холост?

— Нет. Но жена ушла от него.

— Сколько ему лет?

— Не знаю. Он старше меня.

С каждым ответом Хильда ярилась все больше — точь-в-точь их мать. Она была на грани взрыва,

но привычно это скрывала.

— Я бы на твоем месте отказалась от этого безумного плана, — сказала она внешне невозмутимо.

— Не могу. Я должна провести с ним эту ночь, или я вообще не поеду в Венецию.

Хильда, опять различила интонации отца и сдалась исключительно из дипломатических соображений. Даже согласилась поехать в Мэнсфилд, там пообедать, а потом, как стемнеет, отвезти Конни обратно к ее егерю. И приехать за ней рано утром. Сама она переночует в Мэнсфилде, это всего полчаса езды. Но внутри она вся кипела от ярости. Она еще припомнит сестре это ее упрямство — так нарушить все планы!

И Конни вывесила за окно зеленую шаль.

Гневаясь на сестру, Хильда потеплела к Клиффорду. У этого человека хоть есть мозги. А то, что отсутствует мужская способность, так это прекрасно — меньше оснований для ссор. Сама Хильда решила больше не иметь дел с мужчинами; как партнеры по сексу они мелкие, омерзительные эгоисты. Конни повезло, она избавлена от многого такого, что приходится терпеть бедным женщинам. Она не ценит своего счастья.

И Клиффорд пришел вдруг к выводу, что Хильда, что ни говори, очень неглупая женщина и могла бы составить счастье мужчины, стремящегося отличиться ну хотя бы на политическом поприще. В ней нет всех этих глупостей, которых хоть отбавляй в сестре. Конни почти ребенок. Приходится многое ей прощать, она еще, в сущности, несмышленыш.

Чай пили в гостиной раньше, чем обычно, в распахнутые двери лился солнечный свет, все были взволнованы.

— До свидания, Конни, моя девочка! Скорее возвращайся домой.

— До свидания, Клиффорд! Я долго там не пробуду. — Конни испытывала к мужу почти нежность.

— До свидания, Хильда. Присматривай за Конни. За ней нужен глаз да глаз.

— Буду смотреть в оба глаза. Одну никуда не пущу.

— Ну, теперь я спокоен.

— До свидания, миссис Болтон! Я уверена, вы будете преданно ухаживать за сэром Клиффордом.

— Приложу все силы.

— И пишите мне, если будет что новое, пишите о сэре Клиффорде, о его самочувствии.

— Конечно, конечно, ваша милость, напишу. Развлекайтесь, веселитесь и возвращайтесь скорее, чтобы и нас здесь радовать.

Все замахали, автомобиль покатил. Конни обернулась: Клиффорд сидел на веранде в своем кресле. Все-таки он ей муж. Рагби-холл — ее дом, так распорядилась судьба.

Миссис Чемберс раскрыла ворота и пожелала ей счастливого пути. Автомобиль выехал из темной рощи, сменившей парк, и покатил по шоссе, по которому в этот час домой тянулись шахтеры. Скоро свернули на Кроссхилльский большак, ведущий в Мэнсфилд. Конни надела темные очки. Слева, значительно ниже бежала железная дорога. Опять свернули и проехали над ней по мосту.

— А вот проселок к его дому, — махнула рукой Конни.

Хильда взглянула на него без особого восторга.

— Очень жаль, что мы должны задержаться, — сказала она. — Мы бы к девяти были уже на Пэлл-Мэлле.

— Прости, пожалуйста, — отозвалась из-под огромных очков Конни.

В Мэнсфилд въехали очень скоро. Когда-то это был старинный романтический городок, теперь на него было больно смотреть. Хильда останови-

лась в гостинице, указанной в автомобильном справочнике, и сняла номер. Все кругом было так серо, уныло, что Хильда удрученно молчала. Зато Конни трещала без умолку, надо же рассказать сестре о возлюбленном.

— Он! У него что, нет имени? Я от тебя только и слышу — «он» да «он», — сказала Хильда.

— Я никогда не называю его по имени, и он меня, что, конечно, странно, если подумать. Мы, правда, называем друг дружку леди Джейн и Джон Томас. Но вообще-то его зовут Оливер Меллорс.

— И тебе будет очень приятно называться миссис Оливер Меллорс вместо леди Чаттерли?

— Я буду счастлива.

Нет, Конни неисправима. Но если Меллорс служил в Индии лейтенантом лет пять-шесть, то, по крайней мере, его можно будет вывозить в общество. По-видимому, у него есть характер. И Хильда стала понемногу смягчаться.

— В конце концов он тебе надоест, — сказала она. — И тебе будет стыдно за эту связь. Нельзя опускаться до простолюдина.

— Ты ведь такая социалистка, Хильда. Ты всегда была на стороне рабочего класса.

— Да, была, во время кризиса. Но именно пото-

му я и знаю, что нельзя связывать свою жизнь с их жизнью. Вовсе не из снобизма, просто ритмы жизни у нас разные.

Хильда жила среди политических интеллектуалов, и потому твердолобость ее была непробиваема.

Скучный до одурения вечер в гостинице все не кончался. Наконец, пригласили к обеду, отменно скверному. После обеда Конни запихала в сумочку кое-какие вещи и еще раз причесалась.

— А знаешь, Хильда, — сказала она, — любовь — это так чудесно, ты чувствуешь, что живешь, что причастна к акту творения.

Это было почти бахвальство с ее стороны.

— Уверена, что и комар рассуждает так же, — заметила Хильда.

— Ты думаешь, он так рассуждает? Значит, он тоже бывает счастлив!

Вечер был на удивление ясный и все никак не кончался. Казалось, светло будет всю ночь. С застывшим, как маска, лицом негодующая Хильда снова завела автомобиль, и сестры двинулись обратно, выбрав на этот раз другой путь, через Болсовер.

В темных очках, в скрывающей пол-лица шляпе Конни сидела рядом с сестрой и в пику ей

рассыпалась в похвалах возлюбленному. Она всегда будет рядом с ним и в горе и в радости.

Миновав Кроссхилл, включили фары; внизу прочертил светящуюся полосу поезд, создав иллюзию ночи. Хильда съехала на проселок перед самым мостом. Резко убавив скорость, свернула с шоссе на заросшую травой колею, осветив ее фарами. Конни выглянула в окно, разглядела недалеко впереди неясную фигуру и открыла дверцу.

— Вот мы и приехали, — сказала она негромко.

Но Хильда, выключив фары, дала задний ход, решив сразу же развернуться.

— На мосту никого? — спросила она.

— Да, можете ехать, — откликнулся мужской голос.

Хильда доехала до моста, развернулась, проехала немного вперед по шоссе, задним ходом выехала на проселок, сминая траву и папоротник, остановилась под большим вязом. И включила сразу все фары. Конни вышла из машины. Мужчина стоял под деревом.

— Ты долго здесь стоишь? — спросила Конни.

— Не очень.

Стали ждать, когда выйдет Хильда. Но Хильда захлопнула дверцу и не двигалась.

— Это моя сестра, Хильда. Да иди же сюда, скажешь ей несколько слов, Хильда! Познакомься, это мистер Меллорс.

Егерь приподнял шляпу, но с места не тронулся.

— Хильда, пойдем с нами, ненадолго, — пригласила сестру Конни. — Это недалеко.

— А как быть с машиной?

— Можешь оставить ее на проселке. Здесь так делают. Ключи ведь у тебя есть.

Хильда в нерешительности молчала. Потом посмотрела назад, в темень проселка.

— Можно встать за тем кустом?

— Конечно.

Она медленно вырулила за куст, чтобы машину не было видно с дороги, заперла дверцу и подошла к Конни. Ночь была тихая. Живая изгородь, дикая, запущенная, чернела слева и справа от неезженного проселка, воздух насыщен свежими ночными запахами, темень — хоть глаз выколи. Егерь шел впереди, за ним Конни, цепочку замыкала Хильда, все молчали. Там, где были корни, он включал фонарик, освещая неровности белым пучком света; над верхушками дубов ухала сова, неслышно кружила под ногами Флосси. Никто не произнес ни слова, говорить было не о чем.

Наконец засветился желтый огонек в окне его дома, и сердце у Конни заколотилось. Ей было немного страшно. К дому так и подошли цепочкой.

Он отпер дверь и провел их в теплую, но маленькую и почти пустую комнату. В очаге на решетке пунцовые угли продолжали гореть невысоким пламенем. На столе, накрытом белой скатертью, — приятная неожиданность — стояли две тарелки и два стакана. Хильда тряхнула головой и оглядела пустую невеселую комнату. Потом, собравшись с духом, перевела взгляд на мужчину.

Он был не очень высок, худ и показался ей красивым. Держался спокойно и отчужденно. И, по-видимому, не желал без нужды вступать в разговор.

— Садись, пожалуйста, Хильда, — пригласила сестру-Конни.

— Садитесь, — сказал он. — Хотите чаю, а может, пива? Пиво холодное.

— Пива! — скомандовала Конни.

— Я бы тоже, пожалуй, выпила немного пива, — с деланной застенчивостью проговорила Хильда.

Меллорс глянул на нее и прищурился. Взял синий кувшин и пошел в моечную. Когда вернулся

с пивом, лицо его опять сменило выражение.

Конни села у двери, а Хильда на его стул, стоявший у стены как раз против окна.

— Это его стул, — шепнула Конни. И Хильда вскочила со стула как ужаленная.

— Сидите, чего встали-то! Коли приглянулось — сидите. Мы здесь тоже не лыком шиты, приличие понимаем, — сказал он, сохраняя полнейшее самообладание.

Он взял стакан и налил Хильде первой.

— А уж сигарет, извиняйте, нет, — продолжал он. — Не держим, да я, чаю, у вас и свои есть. Я-то сам не смолю. Что-нибудь покушать? — обратился он к Конни. — А то я мигом. Ты ведь до еды охотница. — Он говорил на языке простонародья с невозмутимостью хозяина харчевни.

— А что у тебя есть? — спросила Конни.

— Вареный окорок, сыр, маринованные каштаны — что глянется.

— Ладно: поем немного, — согласилась Конни. — А ты, Хильда?

Хильда пристально поглядела на него.

— Почему вы говорите на этом солдатском жаргоне? — мягко спросила она.

— Это не солдатский, это здешний, сельский.

И он усмехнулся ей своей слабой, отрешенной

усмешкой.

— Все равно, пусть сельский. Зачем это вам? Вы ведь сначала говорили на чистом литературном языке.

— А почему бы и нет, раз мне такая блажь пришла. А уж вы не препятствуйте. Охота пуще неволи.

— Звучит неестественно, — заметила Хильда.

— Кому как. Здесь в Тивершолле звучит неестественно ваш говор.

И он опять взглянул на нее со странной, нарочитой отчужденностью, как будто хотел сказать: «А вам, собственно, какое до меня дело?»

И с этим потопал в кухню за едой.

Сестры сидели, не проронив ни слова. Он вернулся с еще одной тарелкой, ножом и вилкой.

— Если вас не покоробит, я, пожалуй, сниму куртку. Привычка — вторая натура.

Он снял куртку, повесил на крючок и сел за стол в одной рубашке из тонкой цвета сливок фланели.

— Начинайте! Не дожидайтесь особого приглашения, — сказал он, нарезал хлеб и замер без движения.

Хильда почувствовала в нем, как когда-то Конни, покойную, отрешенную силу. Она видела его

узкие, чувственные, легкие руки, расслабленно лежащие на столе, и сказала себе: нет, он не простолюдин, отнюдь, он ломает комедию.

— И все же, — сказала она, беря кусок сыра, — с нами вы могли бы говорить на правильном языке, а не на своем диалекте. Это уж точно было бы более естественно.

Он посмотрел на нее и вдруг ощутил, что в Хильде скрыта неженская воля.

— Вы так думаете? — перешел он на правильный язык. — Значит, вы полагаете, что наш с вами разговор может быть естественным? Ведь говорить-то мы будем одно, а думать другое. У вас на уме вроде того, что хорошо бы он провалился ко всем чертям к возвращению сестры. И у меня что-нибудь столь же для вас лестное. И это будет естественный разговор?

— Конечно, — ответила Хильда. — Хорошие манеры всегда естественны.

— Так сказать, вторая натура, — рассмеялся он. — Нет, с меня довольно хороших манер. Я чуть от них не спятил.

Хильда была сбита с толку и возмущена. В конце концов, должен же он понимать, что ему оказана честь. А он не только не понимает, но этим кривлянием, высокомерием дает понять,

что это им оказана честь. Какая наглость. Бедная Конни! Какая слепота! Ее заманили в капкан!

Ели все трое молча. Хильда нет-нет и бросит на него взгляд: умеет ли он вести себя за столом. И ей пришлось признать: врожденные манеры егеря куда более изящны, чем ее собственные. К тому же он обладал чисто английской чопорностью и аккуратностью. Да, с ним трудно будет тягаться. Но над ней ему верха не одержать.

— Вы считаете, что игра стоит свеч? — спросила она.

— Какая игра?

— А вот эта, с моей сестрой.

На лице его опять мелькнула ироническая усмешка.

— А вы лучше ее спросите, — и посмотрел на Конни. — Ты ведь, девонька, сюда ходишь по доброй воле? Я ведь, чай, не нужу тебя?

Конни поглядела на сестру.

— Прошу тебя, Хильда, не цепляйся к нему.

— А я и не цепляюсь. Но ведь кто-то должен думать о будущем. Жизнь должна идти разумно. Нельзя превращать ее в хаос.

Опять воцарилось молчание.

— Разумно! — нарушил он тишину. — А что это значит? У вас, что ли, она идет разумно? Вы, я

слыхал, разводитесь. Это, по-вашему, разумно? Не разум это, а строптивость. Столько-то понимаю. Ну и чего вы добьетесь? Начнете стареть, строптивость-то и выйдет боком. Только дай волю строптивой женщине, горя не оберешься. Слава те Господи, не я ваш муж.

— Кто вам дал право так со мной разговаривать? — возмутилась Хильда.

— А вам кто дал право указывать людям, как жить? Всяк живет по своему разумению.

— Дорогой мой, неужели вы думаете, что я забочусь о вас? — сбавила тон Хильда.

— А то о ком же? Зря лукавите. Я ведь вам без пяти минут родственник.

— До этого еще далеко, смею вас уверить.

— Не за горами, и я вас смею уверить. У меня иное понятие о разумном течении жизни, противоположное вашему. И оно куда как лучше. Ваша сестра приходит ко мне за своей долей ласки, и она ее получает. Она была у меня в постели, а вы с вашим разумением нет, Господь миловал. — Помолчав немного, он продолжал: — Если жизнь нежданно-негаданно подносит мне золотое яблочко на серебряном блюдечке, я с благодарностью принимаю его. Эта бабонька может дать мужчине огромное счастье. Не то что

вы. А жаль, вы ведь тоже могли бы быть золотым яблочком, а не позлащенным скорпионом. Да не в те руки попали.

Он глядел на нее оценивающе, улыбаясь странной играющей улыбкой.

— Мужчин вроде вас следует изолировать от общества по причине их эгоизма, грубости и похотливости.

— Ах, мадам! Да это счастье, что в мире еще остались такие мужчины, как я. Между прочим, ваше озлобление не случайно. Вы расплачиваетесь за строптивость одиночеством, а оно озлобляет душу.

Хильда встала и пошла к двери. Он тоже встал и снял с крючка куртку.

— Я могу прекрасно найти дорогу без вас, — сказала она.

— Не сомневаюсь.

И вот они идут обратно, опять смешной, молчащей цепочкой. Опять ухает сова, и егерь думает, что надо бы ее убить…

Автомобиль стоял за кустом в целости и сохранности. Хильда села в него и включила газ. Двое снаружи стояли молча.

— Я хотела одно сказать, — донеслось из машины, — боюсь, очень скоро вы оба разочаруетесь

друг в друге.

— Что одному яд, другому — сладость, — отозвался из темноты егерь. — Для меня это не только сладость, для меня это жизнь.

Вспыхнули фары.

— Не опаздывай утром, Конни.

— Не опоздаю, спокойной ночи!

Автомобиль медленно въехал на шоссе, покатил в ночь, и скоро все опять стало тихо.

Конни застенчиво взяла его за руку, и они пошли по проселку обратно. Он молчал. Конни дернула его за руку и остановила.

— Поцелуй меня, — прошептала она.

— Подожди, дай приду в себя, — сказал он.

Это ее рассмешило. Она все еще держала его за руку, и они быстро шли вперед. Оба молчали. Конни была счастлива: Хильда ведь могла настоять на своем и увезти ее. От этой мысли она даже вздрогнула. Он непроницаемо молчал.

Когда вошли в дом, Конни чуть не запрыгала от радости, что Хильды нет.

— Но ты ужасно разговаривал с Хильдой.

— Ее надо было шлепать в детстве.

— Зачем? Она такая славная.

Ничего не ответив, он стал убирать со стола, двигаясь без лишней суеты, по привычке.

Внутренне он злился, но не на нее. Конни это чувствовала. Злость очень шла ему: он был в такие минуты особенно красив, независим и даже блестящ. Конни смотрела на него, и коленки у нее становились ватные.

А он все не обращал на нее внимания. Пока не сел и не стал расшнуровывать ботинки. Тут он взглянул на нее исподлобья, все еще не по-доброму, и сказал, кивнув головой в сторону горевшей на столе свечи:

— Возьми свечу и ступай наверх.

Она повиновалась и пошла наверх в спальню, а он не мог оторвать глаз от крутого изгиба ее бедер.

Это была фантастическая ночь; ей было поначалу немного страшно и даже неприятно; но скоро она снова погрузилась в слепящую пучину чувственного наслаждения, запредельного, более острого, чем обычные ласки, но минутами и более желанного. Чуть испуганно она позволила ему делать с собой все; безрассудная, бесстыдная чувственность как пожаром охватила все ее существо, сорвала все покровы, сделала ее другой женщиной. Это была не любовь, это был пир сладострастия, страсть, испепеляющая душу дотла. Выжигающая стыд, самый древний, самый

глубокий, таящийся в самых сокровенных глубинах души и тела. Ей стоило труда подчиниться ему, отказаться от самой себя, своей воли. Стать пассивной, податливой, как рабыня — рабыня страсти. Страсть лизала ее языками пламени, пожирала ее, и, когда огонь забушевал у нее в груди и во чреве, она почувствовала, что умирает от острого и чистого, как булат, блаженства.

В юности она не раз задавалась вопросом, что значат слова Абеляра об их с Элоизой любви. Он писал, что за один год любви они прошли все ступени, все изгибы страсти. Одно и то же всегда — тысячу лет назад, десять тысяч лет назад, на греческих вазах — всюду! Эксцессы страсти, выжигающие ложный стыд, выплавляющие из самой грязной руды чистейший металл. Всегда было, есть и пребудет вовеки.

В ту короткую летнюю ночь Конни столько узнала. Испытав такое, женщине полагалось бы умереть си стыда. На самом деле умер стыд, органический стыд — обратная сторона физического страха. Этот стыд-страх гнездится в тайных закоулках тела, и выжечь его может только страсть. Конни познала себя до самых темных глубин души. Добралась до скальной породы своего существа, преступила все запреты, и стыд исчез.

Она ликовала. Из груди у нее рвалась хвалебная песнь. Вот, значит, как оно должно быть. Вот что такое жизнь.

Этот мужчина был сущий дьявол! Какой сильной надо быть, чтобы противостоять ему. Не так-то просто взять последний бастион естественного стыда, запрятанного в джунглях тела. Только фаллос мог это свершить. И как мощно он вторгся в нее.

Как она страшилась его и потому ненавидела. И как на самом-то деле желала. Теперь она все поняла. В глубине сознания она давно ждала этого фаллического праздника, тайно мечтала о нем, боялась — ей это не суждено. И вот свершилось: мужчина делит с ней ее последнюю наготу. И стыд в ней умер.

Как лгут поэты, и не только они! Читая их, можно подумать, что человеку нужны одни сантименты. А ведь главная-то потребность — пронзительный, внушающий ужас эрос. Встретить мужчину, который отважился на такое и потом не мучился раскаянием, страхом расплаты, угрызениями совести, — это ли не счастье! Ведь если бы потом он не мог поднять глаз от стыда, заражая стыдом и ее, надо было бы умереть. Какая жалость, что большинство мужчин

в любви претенциозны и чуть стыдливы. Таков был Клиффорд. Такой Микаэлис. Высшие радости ума… Что от них женщине? Да и мужчине тоже, если подумать. От одних этих радостей ум становится вялым, претенциозным. Нужен чистый эрос, тогда и ум оттачивается и яснеет. Огненный эрос, а не нагоняющая сон тягомотина.

Господи, как редко встречаются настоящие мужчины! Все они — псиной породы, бегают, нюхают и совокупляются. Боже мой, встретить мужчину, который бы не боялся и не стыдился! Конни взглянула на него — спит, как дикий зверь на приволье, отъединившись от всех. Она свернулась клубочком и прильнула к нему, чтобы подольше не расставаться.

Он проснулся первый, и сон сразу слетел и с нее. Он сидел в постели и любовался ею. Она видела в его глазах отражение своей наготы. И это полное знание ее тела, прочитанное в глазах мужчины, опять возбудило ее. О, как славно, как сладко ощущать в себе, еще не очнувшейся ото сна, тяжелую разлитую страсть.

— Пора вставать? — спросила она.

— Половина седьмого.

Ей надо быть у моста в конце проселка в восемь. Всегда, всегда эти преследующие тебя внешние

обстоятельства!

— Я пойду приготовлю завтрак и принесу сюда, хорошо?

— Да, конечно!

Флосси тихонько поскуливала внизу. Он встал, сбросил пижаму и вытерся полотенцем. Когда человек отважен и полон жизни, нет существа прекраснее его, думала Конни, молча глядя на егеря.

— Отдерни, пожалуйста, занавески, — попросила она.

Солнечные лучи уже играли на свежей утренней зелени, неподалеку синел весенний лес. Она села в постели, глядя сонными глазами в окно, обнаженными руками сжав груди. Он одевался. Она сквозь полудрему мечтала о своей жизни с ним; просто о жизни.

Он уходил от нее, бежал от ее опасной и вместе пугливой наготы.

— А моя сорочка совсем куда-то исчезла? — спросила она.

Он сунул руку в недра постели и вытянул кусок тонкого шелка.

— То-то я чувствовал, мою лодыжку что-то обвило.

Сорочка была разорвана почти пополам.

— Ничего. Она часть этой постели. Я ее оставлю здесь, — сказала Конни.

— Оставь. Я буду класть ее ночью между ног, для компании. На ней, надеюсь, нет имени или метки.

— Она накинула на себя порванную сорочку и сидела, сонно глядя в окно. Окно было распахнуто, в комнату вливался свежий утренний воздух, наполненный щебетанием. Птицы носились за окном туда и сюда. Из дома вышла погулять Флосси. Занималось утро.

Внизу егерь разводил огонь, качал воду, хлопал задней дверью. Вот снизу донесся запах жареного бекона, и наконец он вошел с огромным черным подносом в руках, едва прошедшим в дверь. Он опустил поднос на постель и стал разливать чай. Конни, кое-как прикрытая порванной сорочкой, с жадностью набросилась на еду. Он сидел на единственном стуле, держа тарелку на коленях.

— Ах, как замечательно! — сказала Конни. — Как замечательно завтракать вдвоем.

Он ел молча, мысленно отсчитывая последние минуты, летевшие так быстро. Конни это чувствовала.

— Как бы мне хотелось остаться здесь у тебя насовсем, и чтобы Рагби-холл унесся за милли-

он миль отсюда. На самом-то деле я уезжаю от всего, что он олицетворяет. Ты ведь понимаешь это. Да?

— Да.

— Ты обещаешь, что мы будем жить вместе, одной жизнью, ты и я? Обещаешь?

— Да, когда сможем.

— А мы сможем, правда? — Она потянулась, пролила чай и схватила его за руку.

— Правда, — сказал он, вытирая пролитый чай.

— Теперь нам уже нельзя жить врозь, да? — умоляюще проговорила она.

Он поглядел на нее, улыбнувшись своей мимолетной улыбкой.

— Нельзя, — ответил он. — Только тебе выходить уже через двадцать пять минут.

— Через двадцать пять минут? — воскликнула она. Вдруг он предупреждающе поднял палец и встал.

Флосси коротко зарычала, затем послышался громкий предупреждающий лай.

Ни слова не говоря, он поставил тарелку на поднос и пошел вниз. Констанция слышала, как он отворил дверь и пошел, по садовой дорожке. Оттуда донесся велосипедный звонок.

— Доброе утро, мистер Меллорс! Вам заказное письмо!

— Заказное? Карандаш есть?

— Есть.

Голоса смолкли.

— Из Канады, — опять сказал незнакомый голос.

— Вон откуда! От приятеля. Он живет в Британской Колумбии[23].

— Наверное, шлет вам капитал.

— Скорее всего, просит чего-нибудь.

Опять молчание.

— Какой прекрасный будет день!

— Да.

— Ну, пока.

— Пока.

Немного спустя егерь опять поднялся в спальню.

— Почтальон, — с досадой проговорил он.

— Так рано, — заметила она.

— Деревенский обычай. Он всегда бывает здесь в семь, если есть почта.

— Твой приятель правда шлет тебе капитал?

— Да нет, несколько фотографий и газетные

---

[23] notes: 23
Провинция на юго-западе Канады.

вырезки о Британской Колумбии.

— Ты хочешь туда уехать?

— А чем Канада хуже какого-нибудь другого места?

— Ничем. Я уверена, там будет очень хорошо.

Но он был явно раздосадован появлением почтальона.

— Эти чертовы велосипедисты. Застанут врасплох — глазом не успеешь моргнуть. Надеюсь, он ничего подозрительного не заметил.

— А что тут можно заметить?.

— Скорее вставай и одевайся. А я пойду схожу на разведку.

Конни посмотрела, как он идет по проселку с ружьем и собакой. Потом спустилась вниз, умылась; когда он вернулся, она была совсем готова, успела сложить в шелковую сумочку кое-какую мелочь.

Он запер дверь, и они пошли, но не проселком, а через лес. Из осторожности.

— Ты не думаешь, что человек годы живет ради одной такой ночи? — сказала ему Конни.

— Но об этих-то годах приходится думать, — резко возразил он.

Они шагали по заросшей травой стежке, он впереди, она сзади, храня молчание.

— Но мы, ведь будем жить вместе, одной жизнью? — не унималась Конни.

— Будем, — ответил он, не оборачиваясь. — Когда придет срок. А пока ты едешь одна в Венецию или еще куда-то там!

Она шла за ним молча, сердце у нее ныло. Еще несколько минут, и она правда уедет.

Наконец он остановился.

— Я сверну сюда, — сказал он, махнув рукой вправо, — а ты подожди здесь.

Конни бросилась к нему, обняла за шею и прижалась всем телом.

— Ты не разлюбишь меня? — прошептала она. — Мне было так хорошо этой ночью. Пожалуйста, побереги для меня свою нежность.

Он поцеловал ее, прижал на миг. Вздохнул, снова поцеловал.

— Пойду посмотрю, подъехал ли автомобиль.

Он пошел прямо через заросли папоротника и ежевики, оставляя за собой в траве след. Минуты через две-три он вернулся.

— Машины еще нет, — сказал он. — А на дороге я заметил телегу булочника.

Вид у него был озабоченный и даже чуть встревоженный.

— Тихо!

Они ясно услышали гудок автомобиля, едущего по мосту.

Она двинулась через папоротники по его следу, чувствуя в душе похоронную тоску, и скоро подошла к высокой зеленой изгороди из тесно растущих падубов. Егерь немного отстал.

— Иди сюда! Здесь можно пройти, — сказал он, показывая на узкий проем в кустарнике.

Конни посмотрела на него глазами, полными слез. Он поцеловал ее и подтолкнул вперед. Она продралась через кустарник, ничего не видя перед собой, потом перескочила через забор, оступилась, попав ногой в небольшую канавку, и вышла на проселок. Хильда как раз в эту минуту раздраженно выходила из машины.

— Ах, ты уже здесь, — сказала она. — А где он?

— Остался там.

Садясь в машину со своей маленькой сумочкой, Конни обливалась слезами. Хильда протянула ей автомобильный шлем с темными очками.

— Надевай, — сказала она.

Конни надела шлем, натянула длинное дорожное пальто и села — очкастое, марсианское, неузнаваемое существо. Хильда с суровым, деловым видом включила газ, и машина покатила. Подпрыгивая на Неровностях, выехали на дорогу

и — прощай, Рагби! Констанция обернулась, но дорога была пустая. Вперед! Вперед! Слезы катились по ее щекам. Расставание произошло так внезапно, так наспех.

— Слава Богу, ты на какое-то время оторвешься от него, — сказала Хильда, сворачивая в объезд Кроссхилла.

17

— Понимаешь, Хильда, — начала Конни разговор после обеда, когда они подъезжали к Лондону, — ты никогда не знала ни настоящей нежности, ни настоящей страсти; а если бы ты когда-нибудь испытала это, ты бы сейчас рассуждала иначе.

— Ради всего святого, перестань хвастаться своим эротическим опытом, — ответила Хильда. — Я еще ни разу не встречала мужчину, который был бы способен на близкую дружбу с женщиной, был бы способен безраздельно отдать ей всего себя. Меня не прельщает их эгоистическая нежность и похоть. Я никогда не соглашусь быть для них игрушкой в постели, их chair a plaisir[24]. Я хотела полной близости и не получила ее.

Конни задумалась над словами сестры. Полная близость. По-видимому, это значит — полная откровенность с твоей стороны и полная откровенность со стороны мужчины. Но ведь это такая скука. И все эти убийственные копания друг в друге. Какая-то болезнь.

---

[24] notes: 24
забавой *(фр.)*

— Мне кажется, ты слишком рассудочна в отношениях с мужчинами, — сказала она сестре.

— Возможно, зато натура у меня не рабская, — возразила Хильда.

— А может, в каком-то смысле и рабская. Ты — раба собственного представления о себе.

После этой неслыханной дерзости Хильда какое-то время вела машину молча. Что стала себе позволять эта паршивка Конни!

— По крайней мере, я раба своего представления о себе, а не мужниной прислуги, — мстительно сказала она. Ее раздражение вылилось в откровенную грубость.

— Ты несправедлива, — тихо ответила Конни.

Прежде она всегда и во всем подчинялась старшей сестре. И вот теперь, хотя душа у нее исходила слезами, в ней росло радостное чувство освобождения. Да, для нее начиналась новая жизнь, в которой не будет места этому проклятию — женскому тиранству. Как все-таки злы и несносны бывают женщины!

Констанция рада была пожить с отцом. Она всегда была его любимицей. Они с Хильдой остановились в маленькой гостинице недалеко от Пэлл-Мэлла. Сэр Малькольм — в своем клубе. Но вечером он вывез их в оперу, и они прекрасно

провели время.

Он все еще был красив и крепок, но немножко побаивался нового поколения, подрастающего рядом с ним. Его вторая жена осталась в Шотландии, она была значительно моложе и богаче его. И он старался как можно чаще устраивать себе холостяцкие каникулы вдали от дома, как бывало и с первой женой.

Конни сидела в опере с отцом. Он был умеренно грузноват, его плотные ляжки были все такие же сильные и ладные, ляжки здорового человека, который не отказывал себе в чувственных удовольствиях. Его добродушный эгоизм, неодолимая потребность в независимости, не ведающее раскаяния сластолюбие — все это, по мнению Конни, символически выражалось в его плотных ляжках. Такой вот мужчина ее отец, начинающий, к сожалению, стареть. Стареть, потому что в его ладных, крепких мужских ногах начисто отсутствовала легкая чуткая быстрота — главный признак неистребимой молодости: и если уж она есть, она с годами не проходит.

Конни вдруг обратила внимание на ноги других людей. Они показались ей важнее, чем лица, которые были по большей части маски. Как мало на свете чутких проворных ног. Она пробежа-

ла взглядом по сидящим в партере мужчинам. Огромные тяжелые ляжки, затянутые в черную мягкую ткань, тощие костистые жерди в черном похоронном облачении, или вот еще — стройные молодые ноги, в которых отсутствует всякий смысл, — ни нежности, ни чувственности, ни проворства — ни то ни се, обычные ноги для ходьбы. Нет в них и женолюбивой крепости отцовских ног. До чего все замордованы, ни проблеска жизни.

А вот женщины не замордованы. Не ноги у большинства, а колонны. Чудовищны до того, что убей их обладательницу, и тебя оправдают. Вперемешку с ними то жалкие худые спицы, то изящные штучки в шелковых чулках, но неживые. Кошмар — миллионы бессмысленных ног бессмысленно снуют вокруг во всех направлениях.

Лондон Конни не радовал. Люди в нем казались пустыми, как призраки. Лица не светились счастьем, как бы красивы и оживленны ни были. Все было мертво, неинтересно. А Конни с присущей женщинам слепой жаждой счастья всюду искала перышки этой синей птицы.

В Париже хоть немного повеяло чувственностью. Но какой измученной, усталой, поблекшей.

Поблекшей от недостатка нежности. О, Париж был полон грусти. Один из самых грустных городов, измученный современной механической чувственностью, усталый от вечной погони за деньгами. Деньги, деньги! Усталый даже от собственного тщеславия и брюзжания, усталый до смерти, но не научившийся еще по примеру американцев или лондонцев скрывать усталость под маской механических побрякушек. Ах, все эти фланирующие франты, манящие взгляды записных красоток, все эти едоки дорогих обедов. Какие они все усталые от недостатка нежности — даримой и получаемой. Самоуверенные, иногда и красивые парижанки кое-чем владеют из арсенала страсти: в этом они, пожалуй, превзошли механизированных английских сестер. Но нежность им и во сне не снилась. Сухие, вечно взнузданные собственной волевой рукой, они тоже устали, тоже пресытились. Человеческий обезьянник дряхлеет. Возможно, накапливает в себе разрушительные яды. Какая-то всеобщая анархия! Вспомнился Клиффорд с его консервативной анархией. Возможно, он скоро утратит свой консерватизм. И запишется в радикальные анархисты.

Конни поеживалась от страха перед окружаю-

щим миром. Изредка блеснут живые, полные счастья глаза — на Бульварах, в Булонском лесу или в Люксембургских садах. Но Париж был переполнен американцами и англичанами; странными американцами в удивительной военной форме и обычными скучнейшими англичанами, которые за границей просто безнадежны.

Она с радостью простилась с Парижем. Вдруг стало очень жарко, и Хильда поехала через Швейцарию, перевал Бреннер, через Доломитовые Альпы, а там до Венеции рукой подать. Хильда обожала водить машину, распоряжаться и вообще «править бал». Конни это вполне устраивало.

Путешествие действительно удалось. Только Конни не переставала себя спрашивать: почему ее по-настоящему ничто не радует, не вызывает восторга? Как ужасно, что меняющийся ландшафт совсем не интересен. Не интересен, и все. Это довольно-таки огорчительно. Она, как Святой Бернард, плыла по озеру в Люцерне и не видела вокруг себя ни гор, ни зеленой воды. Ее перестали трогать красивые виды. Зачем нужно таращить на них глаза? Зачем? Она, во всяком случае, не собирается.

Она ни от чего не пришла в восторг ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Тироле, ни в Италии.

Просто проехала мимо. Все эти пейзажи, картины как мираж, еще менее реальны, чем Рагби. Менее реальны, чем это ужасное поместье Чаттерли. Так что она не очень-то огорчится, если никогда больше не увидит ни Франции, ни Швейцарии, ни Италии. Пусть себе прозябают. Рагби был для нее большей реальностью.

Что до людей, они везде более или менее одинаковы. Они все хотят выманить у тебя как можно больше денег. Туристы же, разумеется, жаждут развлечений, зрелищ. Вроде выжимания крови из камня. Бедные горы, бедный пейзаж! Из них снова и снова выжимают кровь, чтобы потешить туристов. Интересно, какой из подавленных инстинктов стоит за этим вечным поиском развлечений?

Нет! — сказала себе Конни. Лучше уж оставаться в Рагби, там хоть можно гулять, наслаждаться покоем, не пялиться на красоты, не играть без устали какую-то роль. Ведь роль жаждущего развлечений туриста унизительна до отчаяния. Полная профанация всего.

Ей хотелось вернуться в Рагби, даже к Клиффорду, к бедному увечному Клиффорду. Он хотя бы не был идиотом, как эти толпы восторженных китайских болванчиков.

Но подспудно в ее душе жил образ другого мужчины. Нет, она не должна допустить, чтобы их связь прервалась, не должна; иначе она погибнет окончательно и бесповоротно в обществе богатых подонков, этих резвящихся, развлекающих себя боровов. Еще одна сверхмодная болезнь.

Машину они оставили в гараже в Местре и поплыли в Венецию на обычном пароходике. Был чудесный летний день, поверхность мелководной лагуны морщило слабой зыбью. Залитая солнцем Венеция, ее тыльная сторона, витала в далеком мареве.

На причале они пересели в гондолу и дали гондольеру адрес. Это был обычный гондольер в белой с голубым блузе, не очень красивый, заурядный.

— Вилла Эсмеральда? Да, конечно, знаю. Меня нанимал один джентльмен с этой виллы. Но это очень далеко.

Гондольер был порывист в движениях и смахивал на мальчишку. Он греб с азартом, ведя гондолу по темным боковым каналам, стиснутым осклизлыми зеленоватыми стенами, через самые бедные кварталы, где высоко над головой сушилось на веревках белье и пахло то слабее, то резче сточными отходами.

Но вот наконец гондола вплыла в один из главных каналов, прямых и светлых, идущих к Большому каналу под прямым углом. Слева и справа тротуары, по которым гуляет праздная толпа, над водой перекинуты мостики. Сестры сидели под небольшим навесом, за ними возвышалась гибкая фигура гондольера.

— Синьорины долго пробудут на вилле Эсмеральда? — спросил он, отирая белым с голубым платком пот.

— Дней двадцать. Мы обе замужем, — ответила Хильда своим странным вкрадчивым голосом, отчего ее итальянский прозвучал еще сильнее на иностранный лад.

— Двадцать дней! — воскликнул гондольер. И после недолгого молчания продолжал: — Синьоры не хотят нанять гондолу на то время, пока они здесь? Поденно или на неделю.

Конни с Хильдой стали думать. В Венеции предпочтительно иметь свою гондолу, как в других местах автомобиль.

— А на вилле есть что-нибудь? Лодки хотя бы?

— Есть моторный катер и одна гондола. Но…

Это «но» означало — но они будут не ваши.

— А сколько это стоит?

— Тридцать шиллингов в день, или десять фун-

тов в неделю.

— Это обычная цена? — спросила Хильда.

— Гораздо ниже. Обычная цена…

Сестры немного подумали.

— Хорошо, — сказала Хильда. — Приезжайте завтра утром, обо всем договоримся. Как вас звать?

— Джованни, — ответил он и затем спросил, в какое время приехать и кого ждать. У Хильды не было с собой визитных карточек. И Конни дала свою. Он быстро пробежал ее синими горячими глазами южанина, потом еще раз взглянул.

— Ах! — просиял он. — Миледи, да?

— Миледи Констанца, — сказала Конни.

— Миледи Констанца, — повторил он, кивнул и спрятал карточку куда-то себе в блузу.

Вилла Эсмеральда была и правда далеко, на самом берегу лагуны, смотрела в сторону Кьоджи. Дом был не очень старый, уютный, веранды выходили прямо на море, внизу большой сад с тенистыми деревьями, отгороженный от вод лагуны.

Хозяин виллы был грузный грубоватого вида шотландец, который нажил в Италии перед войной большое состояние, а во время войны за ультрапатриотизм ему был пожалован титул.

Жена его была тощая, бледная, язвительная особа, не имеющая собственных денег и при этом имеющая несчастье то и дело улаживать весьма низкопробные интрижки мужа. Грубый нрав сэра Александра особенно проявлялся в обращении с прислугой, но зимой с ним случился легкий удар, и он стал заметно мягче.

Компания подобралась разношерстная и довольно скучная. Кроме сэра Малькольма и его двух дочерей было еще семеро гостей: шотландская пара также с двумя дочерями, молодая итальянская графиня-вдова, молодой грузинский князь и английский священник средних лет, перенесший воспаление легких и для поправления здоровья находившийся при сэре Александре в качестве духовного лица. Грузинский князь, писаный красавец, не имел за душой ни гроша, зато прекрасно водил автомобиль — чего же больше! Графиня, маленькая мягкая кошечка, была явно себе на уме. Простоватый с виду священник, имевший приход в Баксе, его семья — жена и двое детей — остались дома. Семейство Гатри — мать, отец и две дочери — принадлежало к солидным эдинбургским буржуа. И развлекалось оно на старый, добрый, солидный лад, замахиваясь на все и не рискуя ничем.

Конни с Хильдой сразу же исключили из списка грузинского князя. Гатри были одного с ними круга, но очень скучны, к тому же дочерям пора замуж. Священник человек неплохой, только уж слишком подобострастен. Сэр Александр после недавнего удара стал тяжеловат на подъем, но присутствие стольких красивых женщин все еще волновало его. Леди Купер, спокойная, с кошачьей повадкой, ко всем женщинам без исключения относилась с ледяной подозрительностью — это вошло ей в плоть и кровь. Она была не прочь сказать мелкую гадость, что выдавало ее истинное отношение к человечеству. Она тоже была высокомерна с прислугой, но никогда не повышала тона, отметила Конни. Надо отдать должное леди Купер, она была умной женой. В этом замкнутом мирке сэр Александр со своим плотным, якобы добродушным брюшком, убийственно плоскими шутками — «юморошеством», как говорила Хильда, чувствовал себя некоронованным правителем.

Сэра Малькольма в Венеции потянуло к мольберту. Ухватив то здесь, то там венецианский вид, так не похожий на шотландские красоты, он спешил запечатлеть его на холсте. По утрам он обычно уплывал с огромным холстом на свою

«площадку». Немного позже отплывала в сердце Венеции со своими альбомами и красками леди Купер. Она была заядлой акварелисткой, стены ее дома пестрели розовыми дворцами, темными каналами, качающимися мостиками, средневековыми фасадами и прочей венецианской экзотикой. Еще позже семейство Гатри, грузинский князь, графиня, сэр Александр, а иногда и священник, мистер Линд, отправлялись в Лидо, купались, загорали и возвращались к ленчу в половине второго.

Домашние сборища были поразительно скучны. Но сестры от этого не страдали. Их день-деньской не было дома. Отец возил их на выставки, и они смотрели бесконечные мили наводящих уныние полотен. Он брал их к своим дружкам на виллу Люккезе, сидел с ними теплыми вечерами на площади за столиком у Флориана, он водил их в театр на пьесы Гольдони. Были иллюминированные праздники на воде, танцы. Венеция была курортом курортов. Пляжи Лидо с тысячами тел, голых, ошпаренных солнцем или прикрытых пижамами, вызывали в воображении берег с тюленями, выползающими из воды для спаривания. Слишком много людей на площади, конечностей и торсов на пляжах Лидо, слишком много гондол,

моторных лодок, пароходов; слишком много голубей, мороженого, коктейлей, лакеев, ожидающих чаевые, слишком разноязычная толпа; обилие солнца, особых венецианских запахов, корзин клубники, шелковых шалей, огромных ломтей арбузов цвета сырой говядины на лотках; слишком много развлечений — слишком, невпроворот много!

Конни с Хильдой гуляли в легких открытых платьях, они знали здесь многих, многие знали их. Неожиданно возник из небытия Микаэлис.

— Привет! Где остановились? Идем есть мороженое! Едем куда-нибудь в моей гондоле!

Даже Микаэлис сумел здесь загореть. Но и то сказать — эта масса человеческой плоти не загорала, а пеклась на венецианском солнце.

Была все-таки в этом своя приятность. Почти развлечение. Но если говорить честно, эти коктейли, мороженое, бултыхание в теплой воде, горячий песок, горячее солнце, джаз, под который трешься живот о живот с мужчиной жаркими вечерами, — все это был настоящий дурман, сродни наркотикам. В этом как раз все и нуждались: ласковая вода — наркотик; солнце — наркотик; джаз — наркотик; сигареты, коктейли, мороженое, вермут — все это были наркотики. Забыться!

Наслаждений! Наслаждений!

Хильда не гналась за наслаждениями. Она любила наблюдать женщин, философствовать о них. Главный интерес женщины — другая женщина. Как она выглядит? Какого мужчину заарканила? Как он ее развлекает? Мужчины в белой фланели, как большие псы, ждали, когда их погладят, поваляют, почешут, когда можно будет потереться животом с представительницей прекрасного пола.

Хильда любила джаз, любила телом прильнуть к мужчине, позволить ему диктовать движения; она долго скользила с ним по всему пространству танцевальной площадки, а потом вдруг бросала «это животное» и больше не замечала: ведь его взяли всего-навсего напрокат. А бедняжка Конни была несчастна. Она не танцевала под звуки джаза — противно прижиматься к чужому мужчине. А это месиво полуголых тел в Лидс — глупее зрелища не придумаешь. Как еще хватает на всех воды в лагуне! Ей не нравились хозяева — леди Купер и сэр Александр. И она злилась, если кто-нибудь, в том числе и Микаэлис, пытался заявить на нее права.

Лучшими часами в Венеции была их с Хильдой поездка на пустынный, усеянный галькой риф.

Они долго купались там в одиночестве, оставив гондолу во внутренней лагуне рифа.

Джованни взял себе в помощь еще одного гондольера, потому что плыть было далеко, а он и на близком-то расстоянии весь обливался потом. Джованни был хороший гондольер, преданный, честный и начисто лишенный страстей. Итальянцы не знают, что такое страсть, слишком они поверхностны. Итальянец легко вспыхивает, горячится, но сильная, глубокая страсть не в его характере.

Джованни привязался к своим двум «леди» не больше и не меньше, чем к веренице предыдущих клиенток. Он был готов с ними спать, если они пожелают, и втайне надеялся на это. Они ведь могут щедро одарить его, что было бы кстати ввиду близившейся свадьбы. Он рассказал им о своей любви, и они благосклонно внимали ему.

Он думал, что эта дальняя поездка на уединенный пляж означает «бизнес»; под бизнесом он разумел l'amore[25]. Вот и пригласил напарника; путь-то дальний. Да и госпожи две. Две госпожи — два гребца. Безошибочная арифметика. К тому же обе госпожи красавицы. Он справедливо гор-

---

[25] notes: 25
любовь *(итал.)*

дился ими. Платила ему синьора, она же всем и распоряжалась, но он надеялся, что его выберет для l'amore молодая леди. Помимо прочего, она всегда больше платит.

Его приятеля звали Даниеле. Он не был профессиональным гондольером, и в нем отсутствовали черты попрошайки и альфонса. Он был хозяином сандолы, большой лодки, в которой возят фрукты и другую снедь с островов.

Даниеле был красив, высок, хорошо сложен; небольшую круглую голову облепляли мелкие тугие кудряшки, отчего он слегка напоминал льва. В отличие от Джованни, экспансивного, речистого и вечно навеселе, Даниеле все время молчал и греб легко и сильно, точно работал один без напарника. Госпожи были для него только клиентки, отделенные невидимым, непроницаемым барьером. Он ни разу не взглянул на них. Его синие зоркие глаза глядели только вперед.

Это был настоящий мужчина. Он даже немного сердился на Джованни, когда тот, хватив изрядно вина, переставал грести споро и в лад. Это был мужчина того же склада, что и Меллорс, собой не торговал. Конни жалела будущую жену Джованни, легковесного и не знающего меры. А жена Даниеле, представлялось ей, — одна из милых

венецианских женщин, скромная, похожая на цветок, какие все еще встречаются на окраинах этого города-лабиринта.

Какая тоска: мужчина сначала сделал проституткой женщину, а потом и сам стал торговать собой. Вон и Джованни — весь извелся, так хочется ему отдаться женщине. И конечно за деньги!

Конни глядела на далекую Венецию — розовый мираж над водой. Воздвигнутый по воле денег, процветающий по воле денег и мертвый. Деньги, деньги, деньги! Проституция и омертвение души и тела.

Но вот Даниеле же настоящий мужчина, способный хранить верность. На нем не обычная блуза гондольера, а голубой вязаный свитер. Даниеле грубоват, диковат и горд. Его нанял Джованни, в общем-то дрянь-человек, а того, в свою очередь, наняли женщины. Так оно и идет. Когда Иисус отказался от денег дьявола, тот, как еврей-банкир, все равно остался хозяином положения.

Конни вернулась домой, ослепленная голубым зноем лагуны. Дома ее ждало письмо. Клиффорд писал регулярно. Он писал умные литературные письма, хоть сейчас на страницы книги. Поэтому Конни и читала их без особого интереса.

Она была переполнена слепящим светом лагу-

ны, соленым плеском волн, простором, пустотой, отсутствием всего. Только здоровье, здоровье, ослепляющее здоровье. И целительное для души; убаюканная здоровой легкостью тела, душа ее вознеслась над всеми горестями. А главное — ее беременность. Теперь она была в этом уверена. Так что ослепленье солнцем и солью лагуны, купание в море, охота за раковинами, горячая галька и скольжение гондолы — все это дополнилось ощущением зачинавшейся в ней новой жизни, ощущением благостным и ослепляющим.

Она уже пробыла в Венеции две недели и думала еще пробыть столько же, может, немного меньше. Потоки солнца выжгли представление о времени, все недавние события затопило счастье физического здоровья. Она словно парила в ослепительных потоках этого счастья.

Письмо Клиффорда спустило ее с небес на землю. «Между прочим, у нас был небольшой переполох, — писал он. — Пребывавшая в бегах жена нашего егеря Меллорса вдруг явилась к нему домой, но оказалось, что там ее никто не ждал. Он выставил ее вон и запер дверь. Молва утверждает, что этим дело не кончилось. Вернувшись вечером, он обнаружил эту давно уже

не прекрасную леди в своей собственной постели puris naturalibus, т.е. в чем мать родила. Она взломала окно и таким образом проникла в дом. Будучи не в силах выдворить весьма потасканную Венеру, он отступил и, как говорят, укрылся в доме своей матушки в Тивершолле. А в его доме обосновалась Венера из Отвальной, заявляя всем и каждому, что настоящая хозяйка в нем — она. Что до нашего Аполлона, он, по-видимому, переселился в Тивершолл. Я пересказываю все это со слов других, поскольку Меллорс пока еще у меня не был. Узнал я эти местные сплетни от нашей сороки, миссис Болтон. Я бы не стал тебе все это писать. Но миссис Болтон воскликнула: „Ее милость никогда больше не пойдет в лес, если узнает, что может наткнуться на эту ужасную женщину“.

Мне понравилась нарисованная тобой картина — сэр Малькольм вышагивает в воде, его белые волосы раздувает ветром, розовое тело сияет. Я завидую вам, вы наслаждаетесь солнцем, а у нас тут дожди. Не завидую сэру Малькольму, его неистребимой чувственной ненасытности. Возраст, как видно, ему не помеха. Возможно, с годами человек становится все более ненасытным, все более ощущает свою тленность. Только

юность способна верить в бессмертие».

Эта новость, разбившая вдребезги ее отрешенное состояние блаженства, повергла Конни на грань истерики. Так значит, теперь ее будет терзать эта мерзавка! Начинаются ее мучения! А от Меллорса ни строчки. Правда, они уговорились не писать, но хотелось бы все узнать от него самого. В конце концов он — отец ее будущего ребенка. Мог бы и написать!

Но как это ужасно! Как все запуталось! Подлые простолюдины! Как прекрасно жить под венецианским солнцем, среди этой праздности, и как гнусно там, в черной, дождливой Англии. Безоблачное небо, наверное, самая важная на свете вещь.

Конни никому не стала говорить о своей беременности, даже Хильде. Прочитав послание Клиффорда, она села и написала письмо миссис Болтон с просьбой подробно сообщить ей обо всем происшедшем.

На виллу Эсмеральда заехал проездом в Рим давний приятель семьи, художник Дункан Форбс. Он стал третьим в их гондоле, купался с ними на той стороне лагуны, всюду сопровождал их — спокойный, скупой на слова молодой человек, преуспевающий в живописи.

Вскоре Конни получила ответ от миссис Болтон. Та писала: «Вы очень обрадуетесь, ваша милость, увидев сэра Клиффорда. У него цветущий вид, хотя он много и усердно работает. Он полон надежд и планов. И конечно, очень хочет поскорее увидеть вас. Дом без вас опустел, и мы все будем счастливы, когда вы вернетесь. Вы спрашиваете про мистера Меллорса. Не знаю, что именно сэр Клиффорд вам написал. Я могу только сообщить следующее. К нему неожиданно вернулась жена. Он пришел в обед из леса, а она сидит у него на крыльце. Сказала, что вернулась и хочет опять с ним жить, что она его законная жена и не собирается разводиться. (Говорят, что мистер Меллорс начал дело о разводе.) Он отказался с ней разговаривать, в дом ее не пустил, не вошел сам, а повернулся и удалился опять в лес. Когда он вечером вернулся, дом был взломан. Он поднялся наверх взглянуть, не натворила ли она чего. А она лежит голая на его кровати. Он предложил ей денег, но она стала орать, что она его жена и пусть он берет ее обратно. Не знаю, о чем они договорились. Мне это рассказала его мать, она, естественно, очень расстроена. Меллорс сказал, что жить с ней не будет, забрал вещи и отправился к матери, которая живет в верхней

части Тивершолла. Там он переночевал, а наутро пошел в лес, держась от своего дома подальше. В тот день они, кажется, не виделись. На другой день она пошла к своему брату Дану, который живет в Беггарли, ругалась и кричала, что она законная жена, а он водит к себе женщин: она нашла флакончик духов у него в комоде, и в пепельнице окурки сигарет с золотыми кончиками, и не знаю, что еще. А почтальон Фред Кирк сказал, что слышал, как рано утром кто-то разговаривал в спальне Меллорса, и видел автомобиль, оставленный на проселке. Мистер Меллорс теперь живет у матери и ходит в лес через парк, а она, кажется, поселилась у него в доме. Начались всякие пересуды. Тогда мистер Меллорс с Томом Филипсом пошли к нему в дом, вынесли всю мебель, кровать и открутили у насоса ручку: без воды ведь не проживешь. Но в Отвальную Берта не вернулась, а поселилась в Беггарли у миссис Суэйн, потому что жена Дана не пустила ее к себе. Теперь она каждый день ходит к дому миссис Меллорс и караулит его там. Она всем клянется, что он переспал с ней у себя в доме, и ходила уже к адвокату — пусть его заставят платить ей алименты. Она огрубела, расплылась и сильна, как бык. Ходит всюду и болтает о нем всякое, что он

водит к себе женщин; а когда с ней спал, проделывал Бог знает какие гнусности. Ужасно, когда обозленная женщина выворачивает наизнанку свою супружескую жизнь. Она может причинить большую беду. Какой бы мерзавкой она сама ни была, найдутся люди, которые поверят ей, и какая-нибудь грязь все равно пристанет. Просто ужасно, что она рассказывает про мистера Меллорса, какое он чудовище с женщинами. Люди ведь очень охотно верят россказням, особенно таким. Она заявила, что, пока жива, в покое его не оставит. Не могу понять, раз он такой плохой, почему она так хочет вернуться к нему. Правда, ей уже много лет, она ведь старше его, приближается критический возраст. Необразованные истеричные женщины буквально сходят с ума в этот период».

Это был страшный удар для Конни. Жизнь припасла и для нее порцию грязи. Она негодовала на Меллорса за то, что он вовремя не развязался с Бертой Куттс; нет, вернее, за то, что он вообще женился на ней. Может, у него пристрастие к половым извращениям? Она вспомнила последнюю с ним ночь и содрогнулась. Значит, для него все это было в порядке вещей, значит, он был так же близок и с Бертой. Какая мерзость! С ним надо

расстаться, освободиться от него. Нет сомнения, он просто раб низменных страстей.

Ей была отвратительна вся эта история, она почти завидовала девицам Гатри, их глупенькой угловатой невинности. Вот когда пришла боязнь, что люди могут узнать о ее связи с лесничим. Как это унизительно! Она совсем измучилась, она жаждала вернуться в лоно респектабельности, даже вульгарной, мертвящей респектабельности семейства Гатри. А если Клиффорд узнает о ее связи? Боже, какое унижение! Она боялась, смертельно боялась беспощадного суда общества! Ей даже почти захотелось освободиться от ребенка, очиститься от скверны. Короче говоря, ее обуял панический страх.

А флакончик духов — ведь это ее собственная глупость. Она не могла удержаться и надушила два-три платка и рубашки у него в комоде, просто из ребячества. А потом взяла и сунула флакончик Коти «Лесная фиалка» среди его вещей, пусть вспоминает ее. Сигаретные окурки оставила в пепельнице Хильда.

Она не могла удержаться и поделилась, правда частично, своими горестями с Дунканом Форбсом. Она не сказала ему, что была любовницей егеря, сказала только, что он был ей симпатичен.

— Поверьте, — сказал Форбс, — они не успокоятся, пока не доконают парня. Он ведь поднялся на ступеньку выше своего класса, но лицемерие нашего класса оттолкнуло его. И он предпочел одиночество. Таким не прощают. Особенно не прощают прямоту и свободу в сексе. Можно быть по уши в грязи, никто слова не скажет. Грязь даже по-своему привлекательна. Но если при этом ты не чувствуешь за собой вины и отстаиваешь право любить, как хочется, берегись: эти ханжи не успокоятся, пока не сживут тебя со свету. Последнее бессмысленное табу — секс как естественная жизненная потребность. Они сами не пробовали его и не позволяют никому этого баловства. А в чем, в сущности, он виноват? Любил свою жену без оглядки? Так это его право. И она должна была бы этим гордиться. Но даже эта распутная тварь честит его, как может, да еще натравила на него злобствующую толпу. Вот если бы он распустил нюни, покаялся в грехе и стал потихоньку дальше грешить — тогда другое дело. А он что себе позволил? Да, погубят они этого бедолагу.

После этого разговора Конни метнуло в другую сторону. В самом деле, что он такое совершил? Что плохого причинил ей, Конни? Он доставил ей ни с чем не сравнимое наслаждение, он рас-

крепостил ее, пробудил жизненные силы. Дал выход ее горячей природной чувственности. И за все это они готовы растерзать его.

Нет, этого нельзя допустить. Она видела его, как наяву: нагой, белотелый, загорели только лицо и руки, смотрит вниз, обращается к своей плоти, как к отдельному существу, а на лице играет странная мерцающая улыбка. И опять в ее ушах зазвучали слова «не попка, а ладная, круглая, теплая печка». Она вновь ощутила его горячую ладонь на своих бедрах, в самых своих сокровенных местечках, как прощальное благословение. И опять зажегся огонь в ее чреве, опять подогнулись колени, и она сказала себе: «Ну нет, я не пойду против него, не пойду! Мой долг — быть рядом с ним, защитить его. И выстоять вопреки всему. Это он дал мне яркую, полнокровную жизнь. Что я была до него? И я не имею права предавать ни его, ни себя».

Сгоряча она сделала одну оплошность. Послала письмо Айви Болтон, вложив в него записку для егеря. В записке она написала: «Я очень огорчилась, узнав, что вытворяет твоя жена. Не принимай близко к сердцу. Не стоит того. Она просто истеричная женщина. Вся эта история так же внезапно кончится, как началась. Но я очень,

очень переживаю за тебя и только надеюсь, что сам ты не очень расстраиваешься. Истеричная женщина хочет причинить тебе боль. Бог с ней. Я буду дома через десять дней, надеюсь, к моему приезду все наладится».

Вскоре пришло еще одно письмо от Клиффорда. Он был явно чем-то расстроен.

«Я счастлив был узнать, что ты собираешься покинуть Венецию шестнадцатого. Но если тебе там хорошо, не торопись домой. Мы очень скучаем о тебе. Все в Рагби скучают. Но очень важно, чтобы ты в полной мере насытилась „солнцем, солнцем и пижамами“, как говорится в проспекте, рекламирующем Лидо. Так что, пожалуйста, живи там подольше, если Венеция тебя радует, готовься к нашей все-таки весьма ужасной зиме. Даже сегодня идет дождь. Миссис Болтон смотрит за мной со всем усердием и прилежанием. Это удивительный человеческий экземпляр. Чем больше я живу, тем больше поражаюсь, какие странные существа люди. У некоторых, можно подумать, сто ног, как у стоножки, или по крайней мере шесть, как у омара. Человеческое достоинство, которое ожидаешь видеть в ближних своих, напрочь в них отсутствует. И не только в них, но и в какой-то мере во мне самом. Скандальная

история с егерем продолжается и даже растет, как снежный ком. В курсе дел меня держит миссис Болтон. Она напоминает мне рыбу. Пусть рыба нема, сплетню она выдыхает сквозь жабры. Ничто не задерживается в сите ее жабр, и ничто не удивляет ее. У меня такое впечатление, что события жизни других людей — кислород, которым поддерживается горение ее собственной жизни. Она с головой ушла в эту историю с Меллорсом. И когда я неосмотрительно что-нибудь спрошу, она тут же затягивает меня в этот омут. Больше всего ее возмущает — посмотрела бы ты, как талантливо она разыгрывает это возмущение, — жена Меллорса, которую она упорно называет Берта Куттс. Я знаю глубину падения подобных Берт; когда в мои уши перестают литься потоки сплетен и я медленно выплываю из омута и вижу белый свет за окном, я спрашиваю себя — полноте, да есть ли вообще белый свет.

Я полагаю абсолютной истиной ту мысль, что наш мир, который представляется нам верхним слоем, на самом деле — дно глубокого океана; наши деревья — подводная флора, а мы сами странные покрытые чешуей подводные чудовища, питающиеся морской мелочью вроде креветок. Только изредка воспарит душа, про-

бившись сквозь толщу воды в царство эфира, чтобы глотнуть живительного воздуха. Я уверен, то, чем мы дышим, — морская вода, а мужчины и женщины — разновидности глубоководных рыб.

Иногда душа, как птица, выпархивает-в экстазе на свет Божий после длительного разбоя в подводных глубинах. Такова уж видно наша планида — заглотив добычу, всплыть наверх и улететь в чистейшие эфирные сферы, позабыв на время воды древнего Океана.

Когда я говорю с миссис Болтон, я чувствую, как меня тянет все глубже, глубже, на самое дно, где плавают, извиваясь, люди-рыбы. Плотоядные аппетиты понуждают терзать добычу, и снова вверх, вверх из тягучей влаги в разреженный эфир; из жидкости в сухость. Тебе я могу описать весь этот процесс. Но с миссис Болтон я только погружаюсь все глубже и под конец, как ни ужасно, сам путаюсь среди водорослей и бледных придонных чудовищ.

Боюсь, что мы потеряем нашего лесничего. Эта скандальная история с его беглой женой не затихла, а только еще разгорелась. В каких только неописуемых вещах его не обвиняют! И что любопытно, этой женщине, этому омерзительному слизняку, — удалось склонить на свою сторону

большинство шахтерских жен. И деревня сейчас кипит от злобы.

Я слыхал, что Берта Куттс повела осаду дома, где живет сейчас Меллорс, предварительно перевернув вверх дном в нашем Коттедже и лесной сторожке. А на днях она попыталась было отобрать свою дочь; эта маленькая Ева возвращалась из школы домой, мать подошла к ней и взяла за руку. Но вместо того, чтобы поцеловать любящую длань, девчонка сильно укусила ее, за что получила такую затрещину, что скатилась в канаву, откуда была извлечена негодующей бабушкой.

Эта женщина сумела-таки отравить ядовитой слюной все вокруг. Она взахлеб расписывает постельные подробности, которые обычно погребены в недрах семейных спален и свято охраняются супругами. Эксгумировав их после десятилетнего тлена, она устроила своеобразный вернисаж — зрелище поистине чудовищное. Мне рассказали эти подробности Линли и доктор, последнего они немало позабавили. Конечно, ничего особенного в них нет. Человечество всегда испытывало повышенную тягу к необычным эротическим позам: и если мужу по вкусу тешиться с женой, выражаясь словами Бенвенуто Челлини,

«на итальянский манер», что ж, как говорится, дело вкуса. Но я думаю, вряд ли наш лесничий до такой степени искушен. Не сомневаюсь, что Берта Куттс сама и научила его всему. Как бы то ни было, это их личные проблемы, и никому не должно быть до них никакого дела.

Тем не менее, все только об этом и говорят, в том числе и я. Лет десять назад общинное чувство пристойности в зародыше пресекло бы этот скандал. Но этого чувства больше не существует; жены шахтеров поднялись на врага, и языки их неукротимы. Можно подумать, что в последние пять-десять лет все тивершолльские младенцы были зачаты непорочно, а все наши матроны сияют добродетельностью почище самой Жанны д'Арк. Тот факт, что наш достопочтенный егерь, возможно, любит развлекаться по-раблезиански, делает его в глазах тивершолльцев чудищем пострашнее Крипена. Но ведь и тивершолльцы хороши, если верить всему, что о них говорит местная молва.

Но хуже другое: эта подлая Берта не ограничилась тем, что предала огласке собственный опыт и собственные беды. На каждом перекрестке она кричала до хрипоты, что ее муженек держал у себя в доме гарем, и наугад назвала несколько

имен, очернив репутацию вполне достойных женщин. Дело, как видишь, зашло слишком далеко, и пришлось обратиться к блюстителям порядка.

Я пригласил к себе Меллорса, так как эта женщина буквально поселилась в нашем лесу. Он пришел со своим обычным заносчивым видом: «Не троньте меня, и я вас не трону». Тем не менее, я очень подозреваю, что парень чувствует себя, как та собака с привязанной к хвосту жестянкой, хотя, надо сказать, держится он, как будто никакой жестянки нет. Но я слыхал, что, когда он идет по деревне, матери прячут от него детей, будто это сам маркиз де Сад… Вид у него высокомерный, но боюсь, жестянка крепко-накрепко привязана к его хвосту, и он мысленно не раз повторил вслед за доном Родриго из испанской баллады: «Ужален я в то место, чем грешил!».

Я спросил его, сможет ли он дальше охранять лес как положено. Он ответил, что, по его мнению, он своими обязанностями не пренебрегает. Я сказал ему, эта женщина нарушает право владения, что не очень приятно. Он ответил, что у него нет полномочий арестовать ее. Тогда я намекнул на эту скандальную историю. «А-а, — сказал он, — баловались бы побольше со своими бабами,

не стали бы перетряхивать чужую постель». Он сказал это с ноткой горечи: без сомнения, в его словах есть доля правды. Но вместе с тем, они прозвучали непочтительно и неделикатно. Я ему и на это намекнул. В ответ отчетливо брякнула жестянка: «Не в вашем положении, сэр Клиффорд, — сказал он, — корить меня за то, что между ног у меня кое-что есть».

И подобные вещи он говорит всем и каждому, без разбора, что отнюдь не располагает к нему людей. И пастор, и Линли, и Берроуз, все в один голос говорят — с ним надо расстаться.

Я спросил его, верно ли, что он принимал в коттедже замужних женщин, на что он ответил: «А вам какое дело до этого, сэр Клиффорд?» «Я не хотел бы, — ответил я, — чтобы и моего поместья коснулась порча нравов». «На чужой роток не набросишь платок, а тем более на роток тивершоллльских красоток», — сказал он. Я потребовал все-таки, чтобы он сказал мне, честно ли он вел себя, живя на моей земле, и в ответ получил: «А почему бы вам не состряпать сплетню обо мне и моей суке Флосси? И это неплохо на худой конец». Словом, по части наглости с нашим лесничим тягаться трудно.

Тогда я спросил его, легко ли ему будет найти

другую работу. На что он ответил: «Если вы хотите этим сказать, что отказываете мне от места, то не страдайте, мне это проще пареной репы». Так что, видишь, все разрешилось прекрасно, и в конце той недели он отсюда уедет. А пока начал посвящать в тайны своей нехитрой профессии младшего егеря Джо Чемберса. Я сказал, что уплачу ему при расчете еще одно месячное жалованье. Он мне ответил, что ему мои деньги не нужны: он не хочет облегчать мне угрызения совести. Я спросил его, что это значит. «Вы не должны мне ни одного пенни сверх заработанного, — сказал он. — А чужих денег я, разумеется, не беру. Если вы видите, что у меня сзади торчит рубаха, скажите прямо, а не ходите вокруг да около».

На этом пока все кончилось. Женщина куда-то исчезла; мы не знаем куда; если она сунет свой нос в Тивершолл, ее арестуют. А она, я слыхал, до смерти боится полиции, потому что знает ее слишком хорошо. Меллорс уезжает от нас в ту субботу, и все снова вернется на круги своя…

А пока, дорогая Конни, если тебе нравится в Венеции или в Швейцарии, побудь там до начала августа, я буду спокоен, что ты далеко от всей этой грязи. К концу месяца, я надеюсь, все это уже быльем порастет.

Так что, видишь, мы тут глубоководные чудища, а когда омар шлепает по илу, он поднимает муть, которая может забрызгать и невинного. Приходится принимать это философски».

Раздражение Клиффорда, так явственно прозвучавшее в письме, отсутствие сочувствия кому-либо были очень неприятны Конни, но его послание она поняла гораздо лучше, чем полученное вскоре письмо от Меллорса. Вот что он писал:

«Тайное стало явным, кошка выскочила из мешка, а с ней и котята. Ты уже знаешь, что моя жена Берта вернулась в мои любящие объятия и поселилась у меня в доме, где, выражаясь вульгарно, учуяла крысу в виде пузырька Кота. Другую улику она нашла не сразу, а через несколько дней, когда подняла вой по сожженной фотографии. Она нашла в пустой спальне стекло и планку от нее. К несчастью, на планке кто-то нацарапал какую-то виньетку и инициалы К.С.Р. Тогда эти буквы ничего ей не сказали, но вскоре она вломилась в сторожку, нашла там твою книгу — автобиографию актрисы Джудит и на первой странице увидела твое имя — Констанция Стюарт Рид. После этого она несколько дней на каждом перекрестке кричала, что моя

любовница не кто-нибудь, а сама леди Чаттерли. Слухи скоро дошли до пастора, мистера Берроуза и самого сэра Клиффорда. Они возбудили дело против моей верной женушки, которая в тот же день испарилась, поскольку всегда смертельно боялась полиции.

Сэр Клиффорд вызвал меня к себе, я и пошел. Он говорил обиняками, но чувствовалось, что он сильно раздражен. Он спросил между прочим, известно ли мне, что затронута честь ее милости. Я ответил, ему, что никогда не слушаю сплетен и что мне странно слышать эту сплетню из его уст. Он сказал, что это величайшее оскорбление, а я сказал ему, что у меня в моечной на календаре висит королева Мария, стало быть, и она соучастница моих грехов. Но он не оценил моего юмора. Он был так любезен, что назвал меня подонком, разгуливающим по его лесу с расстегнутой ширинкой на бриджах, я не остался в долгу и так же любезно заметил, что ему-то ее расстегивать не для чего. В результате он меня уволил, я уезжаю в субботу на той неделе. «И место его не будет уже знать его»[26].

Я поеду в Лондон и либо остановлюсь у моей

---

[26] notes: 26
Книга Иова, 7:10.

старой хозяйки миссис Инджер, Кобург-сквер, 17, либо она подыщет мне комнату.

Как же это я мог забыть: грехи твои отыщут тебя, если ты женат и имя твоей жены Берта…»

И ни слова о ней. Конни возмутилась. Он мог бы сказать хоть несколько утешительных, ободряющих слов. Но тут же объяснила себе — он дает ей полную свободу, она вольна вернуться обратно в Рагби к Клиффорду. Самая мысль об этом была ей ненавистна. Что за глупое письмо он написал, зачем такая бравада. Он должен был сказать Клиффорду: «Да, она моя любовница, моя госпожа, и я горжусь этим». Смелости не хватило.

Так, значит, ее имя склоняют вместе с его в Тивершолле. Мало приятного. Ну ничего, все это скоро, очень скоро забудется.

Она злилась сложной и запутанной злостью, которая отбивала у нее всякую охоту действовать. Она не знала, что делать, что говорить, и она ничего не делала и ничего не говорила. Продолжала жить в Венеции как жила, уплывала в гондоле с Дунканом Форбсом, купалась, лишь бы летело время. Дункан, который был отчаянно влюблен в нее десять лет назад, теперь опять влюбился. Но она сказала ему, что хочет от мужчин одного — пусть они оставят ее в покое.

И Дункан оставил ее в покое и был очень доволен, что сумел совладать с собой. И все же он предложил ей свою любовь, нежную и странную. Он просто хотел постоянно быть рядом с ней.

— Ты когда-нибудь задумывалась, — сказал он однажды, — как мало на свете людей, которых между собой что-то связывает? Погляди на Даниеле! Он красив, как сын солнца. А каким одиноким выглядит при всей своей красоте. И ведь, держу пари, у него есть жена, дети, и он, наверняка, не собирается уходить от них.

— А ты спроси у него, — сказала Конни.

Дункан спросил. Оказалось, Даниеле действительно женат, у него двое детей, оба мальчики, семи и девяти лет. Но, отвечая, он не проявил никаких чувств.

— Может, именно тот, кто по виду один как перст, и способен на настоящую преданность своей подруге, — заметила Конни. — А все остальные как липучки. Легко приклеиваются к кому попало. Такой Джованни. — И подумав, сказала себе: «Такой и ты, Дункан».

18

В конце концов Конни надо было решиться на что-нибудь. Пожалуй, она покинет Венецию в ближайшую субботу, в тот день, когда он уедет из Рагби, т.е. через шесть дней. Значит, в Лондоне она будет в тот понедельник, и они увидятся. Она написала ему на его лондонский адрес, просила ответить ей в гостиницу «Хартленд» и зайти туда в понедельник в семь часов вечера.

Она испытывала непонятную запутанную злость, все остальные чувства пребывали в оцепенении. Она ни с кем ничем не делилась, даже с Хильдой, и Хильда, обиженная ее непроницаемым молчанием, близко сошлась с одной голландкой; Конни ненавидела болтливую женскую дружбу, а Хильда к тому же любила все разложить по полочкам.

Сэр Малькольм решил ехать с Конни, а Дункан остался с Хильдой, чтобы ей не пришлось ехать обратно одной. Стареющий художник любил путешествовать с комфортом: он заказал купе в Восточном экспрессе, не слушая Конни, которая терпеть не могла эти шикарные поезда, превра-

тившиеся чуть не в бордели. Зато в Париж такой поезд домчит за несколько часов.

Сэр Малькольм всегда возвращался домой с унынием в сердце — так повелось еще со времени первой жены. Но дома ожидался большой прием по случаю охоты на куропаток, и он хотел вернуться загодя. Конни, загорелая и красивая, сидела молча, не замечая пробегающих за окном красот.

— Немножко грустно возвращаться в Рагби, — сказал отец, заметив ее тоскливое выражение.

— Еще не знаю, вернусь ли я в Рагби, — сказала она с пугающей резкостью, глядя в его глаза своими синими расширившимися глазами. В его синих выпуклых глазах мелькнул испуг, как у человека, чья совесть не совсем спокойна.

— Что это вдруг? — спросил он.

— У меня будет ребенок.

Она до сих пор не говорила об этом ни одной живой душе. А сказав, как бы переступила какой-то рубеж.

— Откуда ты знаешь?

— Оттуда и знаю, — улыбнулась Конни.

— Конечно, не от Клиффорда?

— Нет, конечно. Совсем от другого мужчины.

Ей было приятно немного помучить отца.

— Я его знаю?

— Нет. Ты его никогда не видел.

Оба замолчали.

— Какие у тебя планы?

— В том-то и дело, пока никаких.

— А что Клиффорд? С ним это можно как-то уладить?

— Думаю, можно. После нашего последнего разговора он мне сказал, что не возражает против ребенка. Если, конечно, я не буду разглашать тайну рождения.

— Самое разумное, что можно придумать в его положении. Тогда, значит, все в порядке.

— В каком смысле? — Конни заглянула ему прямо в глаза.

Они были большие, синие, как у нее, только смотрели чуть сконфуженно, как смотрит провинившийся мальчишка или скучающий себялюбец, добродушный и вместе ироничный.

— Значит, ты можешь подарить семейству Чаттерли и Рагби-холлу наследника и нового баронета?

Чувственное лицо сэра Малькольма расплылось в довольной улыбке.

— Я этого не хочу.

— Почему? Считаешь, что у тебя есть обязатель-

ства перед другим мужчиной? Хочешь знать мое мнение, дитя мое? Общество держится крепко. Рагби-холл стоит и будет стоять. Наш круг — более или менее надежная штука. И надо, по крайней мере внешне, соблюдать его правила. В частной жизни мы вольны потакать своим чувствам. Но чувства ведь непостоянны. Сегодня тебе нравится этот мужчина, через год — другой. А Рагби-холл незыблем. Не бросайся Рагби-холлом, раз уж он твой. А развлекаться — развлекайся на здоровье. Разумеется, ты можешь уйти от Клиффорда. У тебя есть независимый доход — наша единственная надежная опора. Но он не очень велик. Роди маленького баронета для Рагби-холла. И ты поступишь очень умно.

Сэр Малькольм откинулся в кресле и опять улыбнулся. Конни молчала.

— Надеюсь, ты наконец-то встретила настоящего мужчину, — продолжал сэр Малькольм, чувствуя в крови молодой огонь.

— Да, и в этом все дело. Не так-то много сейчас настоящих мужчин.

— Немного, к сожалению, — согласился отец. — Но надо сказать, что и ему повезло. У тебя с ним нет никаких осложнений?

— Никаких! Он предоставил все решать мне.

— Вот и славно! Благородный молодой человек.

Сэр Малькольм сиял. Конни была его любимица, ему импонировала в ней женщина. Она не то что Хильда, ничего не взяла от матери, или почти ничего. Он всегда недолюбливал Клиффорда и теперь был счастлив и как-то особенно нежен с дочерью, как будто неродившийся младенец был зачат им самим.

Он отвез ее в гостиницу «Хартленд», проводил в номер и отправился к себе в клуб. Конни отказалась провести с ним этот вечер.

В гостинице ее ждало письмо от Меллорса. «Я не могу прийти к тебе в гостиницу. Буду ждать тебя в семь у „Золотого петуха“ на Адам-стрит».

И вот он стоит на улице Лондона — высокий, стройный, в темном из тонкой ткани костюме, совсем не похожий на егеря из Рагби-холла, Его отличало природное достоинство, но в нем не было того вида «от дорогого портного», присущего ее классу. Она, однако, с первого взгляда поняла, что может появиться с ним где угодно. В нем была порода, что ценится выше классовых признаков.

— Вот и ты! Ты прекрасно выглядишь!

— Я — да. Чего нельзя сказать о тебе.

Конни обеспокоенно вгляделась в его лицо.

Похудел, обозначились скулы. Но глаза ласково улыбались, и у нее отлегло от сердца: с ним не надо соблюдать манеры. От него к ней шли волны тепла, и на душе у нее стало покойно, легко и радостно. Чисто женское, обостренное сейчас чутье сказало ей: «С ним я счастлива». Никакая Венеция не могла дать ей этой полноты счастья и умиротворения.

— Тебе было очень плохо? — спросила она, сидя за столом напротив него. Он очень похудел, сейчас это было особенно заметно. Его рука, такая знакомая, лежала на столе покойно, как спящее животное. Ей так хотелось взять и поцеловать ее, но она не смела.

— Люди чудовищны, — сказал он.

— Тебя это очень мучило?

— Очень. И всегда будет мучить. Я знал, глупо мучиться, но ничего не мог поделать.

— Ты чувствовал себя как собака с привязанной к хвосту жестянкой? Это написал Клиффорд.

Он поднял на нее глаза. Жестоко передавать ему слова Клиффорда: гордость его была уязвлена.

— Да, наверное.

Конни еще не знала, в какое бешенство приводят его нанесенные ему оскорбления.

Оба замолчали надолго.

— Ты скучал обо мне? — первой заговорила Конни.

— Я был рад, что ты далеко от всего этого кошмара.

Опять молчание.

— А кто-нибудь поверил про нас с тобой?

— Никто. Даже на миг не могли себе представить.

— А Клиффорд?

— Думаю, тоже не поверил. Просто отмахнулся, не задумываясь. Но, разумеется, видеть ему меня после этого было не очень приятно.

— У меня будет ребенок.

С его лица как губкой стерло все чувства и мысли. Глаза потемнели, на нее точно смотрел ими дух черного пламени.

— Скажи, что ты рад! — Конни безотчетно, потянулась к его руке. Она видела — в его лице на миг отразилось торжество. Но тут же исчезло, подавленное чем-то ей непонятным.

— Это — будущее, — проговорил он.

— Но разве ты не рад? — настаивала она.

— Я не верю в будущее.

— Ты только не волнуйся, это не накладывает на тебя никаких обязательств. Клиффорд будет растить его как своего родного ребенка, он даже

обрадуется.

Конни заметила, как он побледнел, весь как-то съежился. И молчал.

— Мне лучше вернуться к Клиффорду и подарить Рагби-холлу маленького баронета?

Он глядел на нее, бледный, отчужденный. По лицу Пробегала нехорошая усмешка.

— Ты не скажешь, конечно, кто отец ребенка?

— А Клиффорд все равно примет его. Если я захочу.

Он немного подумал и сказал, явно обращаясь к себе:

— В самом деле, а почему бы и нет?

И опять оба как воды в рот набрали — пропасть между ними ширилась.

— Скажи, ты хочешь, чтобы я вернулась к Клиффорду? — спросила Конни.

— А что ты сама хочешь?

— Я хочу жить с тобой, — сказала она просто.

Наперекор ему языки пламени побежали сверху вниз по телу, и он уронил голову. Затем вскинул на нее глаза — в них было то же далекое, отчужденное выражение.

— Подойдет ли тебе эта жизнь? У меня ведь ничего нет, — сказал он.

— У тебя есть то, чего нет у большинства муж-

чин. И ты это знаешь.

— Да, знаю, в каком-то смысле. — Подумав немного, он продолжал: — Обо мне говорили, что характер у меня женственный. Это не так. И не этим объясняется то, что я не хочу убивать птиц, не гонюсь за деньгами и не забочусь о преуспеянии. Я мог бы далеко пойти в армии, но я не люблю армию. Хотя я прекрасно ладил с солдатами. Солдаты любили меня, а когда я сердился, они испытывали что-то подобное священному ужасу. Наша армия мертва, потому что ею командуют тупоголовые идиоты. Я люблю солдат, и они меня любили. Но я не выношу наглое, идиотское высокомерие сильных мира сего. Вот почему я и не преуспеваю. Я ненавижу беззастенчивую власть денег, ненавижу бесстыдное высокомерие правящих классов. Вот видишь, что я могу предложить женщине в этом мире.

— При чем здесь «могу предложить». Это не деловое соглашение. Это любовь. Мы любим друг друга.

— Ты не права. Это не просто любовь. Жизнь — это движение, продвижение вперед. А моя жизнь катится не по той колее, по какой надо. Я знаешь кто — неиспользованный билет. И я не имею права втравливать женщину в мою жизнь.

Во всяком случае, до тех пор, пока моя жизнь как-то не образуется, не обретет цели, какого-то импульса, чтобы нам двоим удержаться на плаву. Мужчина должен быть всерьез занят каким-то делом, если думает связать свою жизнь с женщиной и если это — настоящая женщина. Я не могу быть просто твоим наложником.

— Почему?

— Потому что не могу. И ты такого мужа очень скоро возненавидишь.

— Ты все еще не веришь мне?

Он опять усмехнулся.

— У тебя деньги, положение. Решения принимаешь ты. Я не могу делать в жизни только одно — спать с женой.

— А что еще ты можешь?

— Ты вправе задать этот вопрос. Мое занятие как бы невидимка, но сам-то я все-таки вижу себя еще кем-то. Для меня моя дорога ясна, но другие не видят ее. Так что я могу их понять.

— А если ты будешь жить со мной, твоя дорога перестанет быть ясной?

Он долго думал, пока ответил:

— Возможно.

— А какая она, эта дорога? — тоже подумав, спросила Конни.

— Говорят тебе, она невидима, я не верю в этот мир, в деньги, в преуспеяние, не верю в будущее цивилизации. Если у человечества и есть будущее, то наше нынешнее состояние должно быть коренным образом изменено.

— А каким должно быть это будущее?

— Одному Богу известно. Мне что-то мерещится, но ясно видеть мешает злость. Нет, сейчас я не знаю, каково будущее человечества.

— Хочешь, я тебе скажу? — Конни не сводила глаз с его лица. — Хочешь, я тебе скажу, что есть у тебя, чего нет у других мужчин? И что в конечном итоге определит будущее. Хочешь, скажу?

— Ну, скажи.

— Смелость в чувствах. Вот что отличает тебя ото всех. Ты гладишь мою попу и говоришь, что она прекрасна.

Усмешка опять пробежала по его лицу.

— Вот, оказывается, что!

И снова молчание.

— Пожалуй, ты права, — наконец заговорил он. — Это действительно очень важно. Я это замечал и в отношениях с солдатами. Во время войны я чувствовал каждого солдата почти физически и никогда не подавлял в себе это чувство. Мне приходилось посылать их в ад, но боль их тела

была и моя боль, и я хоть скупо, но сострадал им. Это дар сопричастия, как говорит Будда. Но даже он чуждался телесной сопричастности, простой физической близости. Такая близость должна быть и между мужчинами — суровое мужское тепло, а не идиотское рассусоливание. Я это и называю нежностью. А самая большая телесная близость — между мужчиной и женщиной. И вот этой-то близости мы боимся. Мы живем наполовину, чувствуем наполовину. Пора проснуться, черпать жизнь полной мерой. Это особенно важно для англичан, которые физически так далеки друг от друга. Мы должны быть нежнее, тоньше. Это наша первостепенная нужда.

— Тогда почему же ты боишься меня?

Он долго смотрел на нее.

— Тут все дело в твоих деньгах и в твоем положении, — наконец выговорил он.

— Но разве во мне нет нежности? — спросила она с приглушенной страстью.

Взгляд у него потемнел, устремился в пространство.

— То есть, то нет, как и во мне.

— А ты мог бы поверить просто в нас с тобой? — спросила она с тревогой.

— Наверное, мог бы.

— Мне так хочется, чтобы ты взял меня сейчас на руки и сказал, что ты хочешь маленького, — сказала она после небольшой паузы.

Конни была такая теплая, красивая, зовущая, и он опять потянулся к ней.

— Может, пойдем ко мне, — предложил он. — Хотя это очень рискованно.

Они шли в сторону Кобург-сквер, выбирая боковые улочки. Он снимал мансарду в одном из домов на этой площади. Это была маленькая комната с газовой плитой, на которой он себе готовил, но опрятная и чистая.

Конни все сняла с себя и велела и ему раздеться. Чуть обозначившаяся беременность делала ее особенно привлекательной.

— Я не должен трогать тебя сейчас, — сказал он.

— Должен. Ты должен меня любить. И должен сказать, что никуда меня не отпустишь. Что мы будем всегда вместе. Что ты никому меня не отдашь.

Она легла рядом и крепко прижалась к его голому, худому, сильному телу — единственному своему прибежищу.

— Никуда тебя не пущу, раз ты так хочешь, — сказал он и обнял ее сильно, в обхват.

— И скажи, что ты рад ребенку, — повторила она. — Поцелуй мой живот и скажи — ты рад, что там маленький.

Это было для него гораздо труднее.

— Рожать на свет детей — мне самая эта мысль невыносима. Я не вижу для них будущего.

— Но ведь ты зародил его. Будь ласков с ним — это и есть его будущее. Поцелуй его.

По телу его пробежал трепет, — она была права. «Будь ласков с ним, это и есть его будущее». Но он чувствовал только любовь к этой женщине. Он поцеловал ее живот, чрево, где зрел посеянный им плод.

— Люби, люби меня! — слепо приговаривала она, вскрикивая, как вскрикивала в последнюю секунду любовной близости. И он тихо овладел ею, чувствуя, как от него к ней идет поток нежности и участия.

И он понял: вот что он должен делать — касаться ее нежным прикосновением; и не будут этим унижены ни его гордость, ни его честь, ни мужское достоинство. Лишать ее своей любви, нежности только потому, что она богата, а он гол как сокол, ну нет, его честь и гордость не позволят этого. «Я стою на том, что людям не надо чуждаться телесной близости, что они должны

любить друг друга, — думал он. — Мы ведем войну против денег, машин, вселенского лицемерия. И она мой союзник в этой борьбе. Слава Богу, я нашел женщину, отзывчивую, которая всегда за меня. Слава Богу, она не идиотка и не бой-баба… Нежная и добрая». И как только семя его излилось в нее, душа его соединилась с ее душой в едином акте творения, более важном, чем зачатие.

Конни окончательно решила, что они никогда не расстанутся. Осталось только найти средства и способы, как устроить их жизнь.

— Ты ненавидишь Берту Куттс? — спросила она.

— Пожалуйста, не говори мне о ней.

— Буду говорить. Потому что когда-то ты любил ее. И был с ней близок так же, как со мной. Поэтому ты должен мне все рассказать. Ведь это ужасно — быть в такой близости, а потом возненавидеть. Как это может быть?

— Не знаю. Она все время вела со мной войну, всегда хотела подчинить своей воле, гнусной женской воле; отстаивала свою женскую свободу, которая приводит в конце концов к чудовищной разнузданности. Она дразнила меня своей свободой, как дразнят быка красной тряпкой.

— Но она по сей день привязана к тебе. Может,

она все еще тебя любит.

— Что ты! Она помешалась от ненависти ко мне. Не хочет разводиться, чтобы превратить мою жизнь в ад.

— Но ведь когда-то она любила тебя?

— Никогда! Может, в какие-то минуты ее тянуло ко мне. Но я думаю, что даже это свое чувство она ненавидела. Какой-то миг любила и тут же затаптывала любовь. Вот тогда и начинался кошмар. Ей доставляло особое наслаждение измываться надо мной. И ничто не могло изменить ее. Почти с самого начала ее чувства ко мне были с отрицательным знаком.

— Может, она чувствовала, что ты ее не любишь по-настоящему, и хотела заставить тебя любить?

— Но способ она выбрала для этого чудовищный.

— Но ты ведь действительно ее не любил. И этим причинял ей боль.

— Как я мог ее любить? Я пытался. Но она всегда посылала меня в нокдаун. Давай не будем говорить об этом. Это рок. И она обреченная женщина. Если бы можно было, я бы пристрелил ее в тот раз, как фазана: это бешеная собака в образе женщины. Если бы можно было пристрелить ее и покончить разом с этой мукой! Подобные

действия должны разрешаться законом. Когда женщина не знает удержу своим прихотям, она способна на все. Она становится опасна. И тогда выбора нет: кто-то должен пристрелить ее.

— А если мужчина не знает удержу своим прихотям, его тоже надо пристрелить?

— Да, конечно! Но я должен избавиться от нее. Иначе она снова объявится и доконает меня. Что я хотел сказать — мне надо получить развод, если это возможно. Так что мы должны быть предельно осторожны. Нигде не показываться вместе. Если она нас выследит, я за себя не ручаюсь.

Конни задумалась.

— Значит, нам пока нельзя быть вместе? — спросила она.

— По крайней мере полгода, а может, и больше. Я думаю, что развод закончится в сентябре. Значит, до марта придется соблюдать предельную осторожность.

— А маленький родится в феврале.

— Провалились бы они в тартарары, все эти клиффорды и берты.

— Ты не очень-то к ним милостив.

— Милостив? К ним? Да предание смерти таких, как они, — акт величайшего гуманизма. Ведь их жизнь на самом деле — профанация жизни. Душа

в такой оболочке испытывает адовы мучения. Смерть для нее — избавительница. Я просто должен получить разрешение пристрелить обоих.

— Но ты бы не смог их пристрелить.

— Смог бы. И пристрелил бы с меньшим угрызением совести, чем куницу. Куница красива, и не так много их осталось. А этим имя — легион. На них у меня рука не дрогнет.

— Слава Богу, что ты не можешь решиться на беззаконие.

— Да, не могу, к сожалению.

Конни было о чем подумать. Ясно, что Меллорс хочет бесповоротно избавиться от Берты. И он, конечно, прав: поведение Берты чудовищно. Значит, ей придется жить одной всю зиму до весны. Может, ей удастся за это время развестись с Клиффордом. Но как? На суде обязательно всплывет имя Меллорса. И это поставит крест на разводе. Какая тоска! Неужели нельзя убежать куда-нибудь на край земли, чтобы освободиться от ненавистных уз?

Нельзя. В наши дни любой край земли в пяти минутах от Чаринг-кросс. Радио уничтожило расстояния. Царьки Дагомеи и ламы Тибета слушают передачи из Лондона и Нью-Йорка.

Терпение! Терпение! Мир — огромный, слож-

ный и злокозненный механизм, и, чтобы избежать его сетей, надо вести себя хитро.

Конни решила открыться отцу.

— Понимаешь, — начала она, — он был лесничим у Клиффорда. Но до этого служил в армии офицером в Индии. А потом, как полковник К.Е.Флоренс, решил воевать в одиночку.

Сэр Малькольм, однако, не разделял ее симпатии к беспокойному мистицизму знаменитого полковника. Он предвидел унизительную для себя шумиху; его рыцарскому достоинству более всего претила гордыня самоуничижения.

— Кто он по рождению, этот твой лесничий? — раздраженно спросил он.

— Он родился в Тивершолле, сын шахтера. Но он вполне пристоен.

Титулованный художник начал сердиться.

— Сдается мне, он не лесничий, а золотоискатель. А ты для него золотая жила.

— Нет, папа, это не так. Когда ты его увидишь, ты сразу поймешь. Он — мужчина. Клиффорд давно невзлюбил его за непокорный нрав.

— По-видимому, в нем в кои-то веки заговорил здоровый инстинкт.

Скандальная связь дочери с лесничим, — нет, он не может с этим смириться. Пусть бы связь, он

не ханжа. Но не скандальная.

— Меня этот парень меньше всего волнует. Видно, что он сумел вскружить тебе голову. Но ты подумай, какие пойдут разговоры. Подумай о моей жене, как она это воспримет!

— Я знаю, досужие языки — это ужасно! Особенно если принадлежишь к хорошему обществу. К тому же он жаждет получить развод. И я подумала, может, мы вообще не будем упоминать имени Меллорса. Скажем, что этот ребенок от какого-то другого мужчины.

— От другого мужчины! От кого же?

— Ну, может, от Дункана Форбса. Мы с ним дружим всю жизнь. Он довольно известный художник. И я ему всегда нравилась.

— У-уф, черт побери! Бедняга Дункан! А ему-то от этого какая корысть?

— Не знаю. Но, может, ему это даже понравится.

— Ты думаешь, понравится? Странный же он человек, если так. У тебя с ним что-нибудь было?

— Нет, конечно. Да ему это и не надо. Для него счастье не в обладании, а чтобы я была рядом.

— Господи, что за поколение!

— Больше всего на свете он хочет, чтобы я позировала ему. Но я этого не хочу.

— Бог ему в помощь. Он и без того выглядит довольно-таки жалко.

— Но ты не возражаешь, если о нем будут говорить как об отце?

— Но, Конни, это же обман.

— Знаю. Это ужасно, но что я могу поделать.

— Обманывать, хитрить… Нет, я, видно, зажился на этом свете.

— Ты, конечно, можешь так говорить, если сам никогда не хитрил и не юлил в своей жизни.

— Но у меня это было совсем по-другому, уверяю тебя.

— У всех это по-другому.

Приехала Хильда и тоже взбесилась, услыхав новость. Она тоже не могла спокойно думать о таком позоре — беременности сестры и от кого? От егеря! Какое унижение!

— Но почему бы нам просто не исчезнуть — уехать тихонько от всех, хотя бы в Британскую Колумбию? Тогда никакого скандала не будет.

Нет, это их не спасет. Шила в мешке не утаишь. И если уж Конни собралась куда-то ехать со своим егерем, ей надо выйти за него замуж — так считала Хильда. Сэр Малькольм был иного мнения. Он надеялся, что эта интрижка рано или поздно кончится.

— Хочешь с ним познакомиться? — спросила Конни отца.

Сэр Малькольм не горел таким желанием. Еще меньше жаждал этой встречи бедняга Меллорс. И все-таки встреча состоялась — в приватном кабинете клуба за обеденным столом. Мужчины были одни; познакомившись, они оглядели друг друга с ног до головы.

Сэр Малькольм выпил изрядное количество виски. Меллорс тоже пил, но умеренно. Говорили об Индии — лесничий много о ней знал.

И только когда официант принес кофе и удалился, сэр Малькольм зажег сигару и выразительно сказал:

— Так что вы скажете о моей дочери, молодой человек?

По лицу Меллорса пробежала усмешка.

— А что такое, сэр, с вашей дочерью?

— Вы ей сделали ребенка, не так ли?

— Имел такую честь! — усмехнулся Меллорс.

— Господи помилуй, имел честь! — Сэр Малькольм жирно хохотнул и начал мужской, по-шотландски откровенный разговор. — Так, значит, имел честь? Ну и как, ничего? Наверное, недурно, а?

— Недурно.

— Держу пари — то, что надо. Моя ведь дочь. Яблоко от яблони недалеко падает. Я всегда был хороший кобель. А вот ее мать… Господи, прости нас, грешных! — Он выкатил глаза к небу. — Ты распалил ее, да-да, распалил. Я вижу. Ха-ха! У нее в жилах моя кровь. Поднес спичку к стогу сена. Ха-ха-ха! Должен признаться, я был очень рад. Ей этого не хватало. Она славная девочка, очень славная. И я всегда знал, она будет замечательной бабой, если найдется молодец, который сумеет запалить этот стог сена! Ха-ха-ха! Так ты, говоришь, егерь? А я бы сказал — удачливый браконьер. Ха-ха! Ладно, шутки в сторону, что же мы будем делать?

Разговор продвигался вперед черепашьим шагом. Меллорс был более трезв и старался держаться в рамках приличия, то есть почти все время молчал.

— Ты, значит, егерь, охотник? И то верно. Охотник за красной дичью. А ты знаешь, как баб проверяют? Я тебя научу. Щипни ей зад, и сразу поймешь, на что она годна. Ха-ха! Завидую я тебе, мой мальчик. Тебе сколько лет-то?

— Тридцать девять.

Титулованный джентльмен вскинул глаза.

— Вон уже сколько! Ну что ж, тебе еще развле-

каться добрых лет двадцать. Если судить по виду. Егерь егерем, но кобель ты хороший. В чем, в чем, а в этом я разбираюсь. Не то что эта медуза Клиффорд! Робкая барышня, нет в нем мужской жилы. А ты мне нравишься, мой мальчик. Бойцовый петух. Да, ты боец. Охотник! Ха-ха! Черт возьми, я бы тебе не доверил свой охотничьи угодья! Ну, а если без шуток — что же мы будем делать? Эти чертовы старухи ведь съедят нас.

Если без шуток, договорились они до полного мужского взаимопонимания.

— Послушай, мой мальчик: если тебе нужна моя помощь, ты можешь положиться на меня! Егерь! Клянусь небом, это прекрасно. Мне это по душе. У девочки отважное сердце. Что? В конце концов у нее есть небольшой капиталец. Небольшой, но голодать не придется. И я ей оставлю все, что у меня есть. Девочка этого заслуживает. Бросить вызов этому миру старых баб! Я всю жизнь старался выпутаться из женских юбок, да так и не выпутался. Ты сделан из другого теста, я это вижу. Ты — мужчина.

— Рад слышать. Меня до сих пор называли за глаза — жеребцом.

— А ты что ожидал? Ты и есть жеребец для этих трухлявых старух.

Расстались они сердечно, и весь остаток дня Меллорс внутренне посмеивался.

На другой день все трое — Конни, Хильда и он — обедали в маленьком безымянном ресторанчике.

— Ужасное, ужасное положение, — начала разговор Хильда.

— Мне оно доставило много приятных минут, — улыбнулся Меллорс.

— Вам бы следовало повременить с детьми. Сначала, мне кажется, вы оба должны были развестись, а уж потом брать на себя такую ответственность.

— Господь поторопился раздуть искру, — усмехнулся Меллорс.

— Господь здесь ни при чем. У Конни есть свои деньги, на двоих хватит, но ситуация, согласитесь, невозможная.

— Да ведь вас эта ситуация только самым краешком задевает.

— Что бы вам принадлежать к ее кругу!

— Что бы мне сидеть в вольере зверинца!

Помолчали.

— По-моему, самое лучшее, — опять начала Хильда, — если Конни назовет виновником другого мужчину. Чтобы вы вообще не фигурировали.

— Мне кажется, я фигурирую довольно прочно.

— Я говорю о судебном процессе.

Меллорс вопросительно поглядел на Хильду: Конни так и не решилась посвятить его в этот план с Дунканом.

— Не понимаю.

— У нас есть знакомый, который, возможно, согласится выступить в суде как третье лицо, чтобы ваше имя вообще не упоминалось.

— Другой мужчина?

— Разумеется.

— Но разве у нее есть другой мужчина?

Он удивленно посмотрел на Конни.

— Конечно нет, — поспешила Конни его разуверить. — Это просто старый знакомый. У меня с ним ничего нет и никогда не было.

— Тогда чего ради он будет брать вину на себя? Какой ему от этого прок?

— Среди мужчин еще остались рыцари. Они готовы бескорыстно прийти на помощь женщине, — сказала Хильда.

— Камешек в мой огород? А кто этот рыцарь?

— Один наш знакомый шотландец. Мы дружим с детства. Он художник.

— Дункан Форбс! — догадался Меллорс: Конни рассказывала ему о нем. — И как же вы думаете

организовать доказательства?

— Можно остановиться в одном отеле. Или даже Конни могла бы пожить у него.

— Было бы из-за чего огород городить!

— А что вы предлагаете? — спросила Хильда. — Если ваше имя выплывет, развода вам не видать. А от вашей жены, я слыхала, лучше держаться подальше.

— Все так!

Опять замолчали.

— Мы с Конни могли бы куда-нибудь уехать, — наконец проговорил он.

— Только не с Конни. Клиффорд слишком хорошо известен.

И опять гнетущее молчание.

— Так устроен мир. Если хотите жить вместе, не опасаясь судебного преследования, надо жениться. А чтобы жениться, вы оба должны быть свободны. Так что же вы думаете делать?

После долгого молчания он обратился к Хильде:

— А что вы скажете на этот счет?

— Во-первых, надо узнать, согласится ли Дункан играть роль третьего лица. Затем Конни должна уговорить Клиффорда дать ей развод. А вы должны тем временем благополучно за-

вершить свой бракоразводный процесс. Сейчас же вам надо держаться друг от друга как можно дальше. Не то все погибло.

— Безумный мир!

— А вы сами не безумцы? Да вы еще хуже.

— Что может быть хуже?

— Вы — преступники.

— Надеюсь, я еще смогу пару раз поупражнять свой кинжал, — усмехнулся он и, нахмурившись, опять замолчал. — Ладно, — прервал он молчание. — Я согласен на все. Мир — скопище безмозглых идиотов, а уничтожить его невозможно. С каким наслаждением я бы взорвал его ко всем чертям! Но вы правы, в нашем положении надо спасаться любой ценой.

Он посмотрел на Конни, и она прочла в его глазах усталость, униженность, страдание и гнев.

— Девонька Моя! Мир готов забросать тебя камнями.

— Это ему не удастся, — сказала Конни. Она более снисходительно относилась к миру.

Выслушав сестер, Дункан настоял на встрече с потрясателем устоев; устроили еще один обед, на этот раз на квартире Дункана. Собрались все четверо. Дункан был коренаст, широкоплеч — этакий молчаливый Гамлет, смуглый, с пря-

мыми черными волосами и фантастическим, чисто кельтским самолюбием. На его полотнах ультрамодерн были только трубки, колбы, спирали, расписанные невообразимыми красками; но в них чувствовалась сила и даже чистота линии и цвета; Меллорсу, однако, они показались жестокими и отталкивающими. Он не решался высказать вслух свое мнение — Дункан был до безрассудства предан своему искусству, он поклонялся творениям своей кисти с пылом религиозного фанатика.

Они стояли перед картинами Дункана в его студии. Дункан не спускал небольших карих глаз с лица гостя. Он ждал, что скажет егерь, — мнение сестер ему было известно.

— Эти холсты — чистейшее смертоубийство, — наконец сказал Меллорс.

Художник меньше всего ожидал от егеря такой оценки.

— Кто же здесь убит? — спросила Хильда.

— Я. Эти картины наповал убивают добрые чувства.

Дункан задохнулся он накатившей ненависти. Он уловил в голосе егеря нотки неприятия и даже презрения. Сам он терпеть не мог разговоры о добрых чувствах. Давно пора выбросить на свал-

ку разъедающие душу сантименты.

Меллорс, высокий, худой, осунувшийся, смотрел на картины, и в глазах его плясало ночным мотыльком обидное безразличие.

— Возможно, они убивают глупость, сентиментальную глупость, Дункан насмешливо взглянул на егеря.

— Вы так думаете? А мне сдается, все эти трубки, спирали, рифлености — глупы и претенциозны. Они говорят, по-моему, о жалости художника к самому себе и о его болезненном самолюбии.

Лицо Дункана посерело. Не пристало художнику метать бисер перед невеждой. И он повернул картины к стене.

— Пора, пожалуй, идти в столовую, — сказал он.

И гости молча, удрученно последовали за ним.

После обеда Дункан сказал:

— Я согласен выступить в роли отца ребенка. Но при одном условии: я хочу, чтобы Конни мне позировала. Я несколько лет просил ее об этом. И она всегда отказывалась.

Он произнес эти слова с мрачной непреклонностью инквизитора, объявившего аутодафе.

— Значит, вы даете согласие только на определенных условиях?

— Только на одном условии.

Художник постарался вложить в эти слова все свое презрение. Перестарался и получил ответ:

— Возьмите меня в натурщики для этих сеансов. Для картины «Вулкан и Венера в сетях искусства». Я когда-то был ковалем, до того как стать егерем.

— Благодарю за любезное предложение. Но, знаете ли, фигура Вулкана меня не вдохновляет.

— Даже рифленая?

Ответа не последовало: Дункан не снизошел.

Обед прошел уныло, художник не замечал присутствия другого мужчины и за все время произнес всего несколько слов, и то как будто их клещами вытягивали из глубины его заносчивой, мрачной души.

— Тебе он не понравился, но на самом деле он гораздо лучше. Он очень добрый, — говорила Конни, когда они возвращались с обеда.

— Злой, самовлюбленный щенок, помешанный на своих спиралях.

— Сегодня он действительно выказал себя не лучшим образом.

— И ты будешь ему позировать?

— А меня это теперь не волнует. Прикоснуться он ко мне не посмеет. А так я согласна на все,

лишь бы у нас с тобой все устроилось.

— Но ведь он вместо тебя изобразит на холсте какое-нибудь непотребство.

— А мне все равно. Ведь он таким образом выражает свои чувства. Это его дело. Мне-то что! А пялить на меня свои совиные глаза — пусть пялит сколько угодно, на то он и художник. Ну, нарисует он меня в виде трубок — что со мной случится? Он возненавидел тебя за то, что ты назвал его искусство самовлюбленным и претенциозным. Но ты, конечно, прав.

19

«Дорогой Клиффорд. То, что ты предвидел, боюсь, случилось. Я полюбила другого и надеюсь, что ты дашь мне развод. Сейчас я живу с Дунканом, у него дома. Я тебе писала, что он был с нами в Венеции. Мне очень, очень тебя жаль, но постарайся отнестись ко всему спокойно. Если подумать серьезно, я тебе больше не нужна, а мне невыносима даже мысль вернуться обратно в Рагби. Я очень виновата перед тобой. Прости, если можешь, дай мне развод и найди жену, которая будет лучше меня. Я всегда была плохой женой; у меня мало терпения, и я большая эгоистка. Я не могу вернуться в Рагби-холл, не могу больше жить с тобой. Если ты не будешь нарочно себя расстраивать, ты скоро поймешь, что на самом деле мой уход не так для тебя и страшен. Ведь я лично не много для тебя значу. Так что, пожалуйста, прости меня и постарайся обо мне забыть».

Внутренне Клиффорд не очень удивился этому письму. Подсознательно он уже давно понял, что Конни от него уходит. Но внешне никогда этого не признавал. Именно поэтому удар был так

силен. На уровне сознания он безмятежно верил в ее верность.

Таковы мы все. Усилием воли держим под спудом интуитивное знание, не пуская его в сферу сознательного; когда же удар нанесен, он кажется стократ сильнее, и страдания наши безмерны.

Клиффорд сидел в постели мертвенно-бледный, с невидящим бессмысленным взглядом, как ребенок в истерическом припадке. Миссис Болтон, увидев его, чуть не упала в обморок.

— Сэр Клиффорд, что с вами?

Никакого ответа. Вдруг с ним случился удар, испугалась она. Потрогала его лицо, пощупала пульс.

— У вас что-то болит? Скажите, где? Ну скажите же!

Опять молчание.

— Ах ты, Господи! Надо скорее звонить в Шеффилд доктору Каррингтону. Да и нашему доктору Лики — он живет ближе.

Она уже подходила к двери, как вдруг Клиффорд заговорил:

— Не звоните!

Она остановилась и, обернувшись, вперила в него испуганный взгляд. Лицо у него было изжелта-бледное, пустое, как лицо идиота.

— Вы хотите сказать, что не надо звать доктора?

— Врач мне не нужен, — проговорил замогильный голос.

— Но, сэр Клиффорд, вы больны, я не могу брать на себя такую ответственность. Я обязана послать за доктором. Если что случится, я себе никогда не прощу.

Молчание, затем тот же голос произнес:

— Я не болен. Моя жена не вернется домой.

Эти слова Клиффорд произнес на одной ноте, точно глиняный истукан.

— Не вернется? Вы говорите о ее милости? — Миссис Болтон несколько приблизилась к кровати. — Этого не может быть! Не сомневайтесь в ее милости. Она, конечно, вернется.

Истукан в постели не шевельнулся, только протянул поверх одеяла руку с письмом.

— Читайте! — опять произнес он замогильным голосом.

— Это письмо от ее милости? Я знаю, ее милости не понравится, что я читаю ее письма к вам. Вы просто скажите мне, что она пишет, если вам так угодно.

Лицо с мертво выпученными голубыми глазами не дрогнуло.

— Читайте! — повторил голос.

— Если вы находите нужным, сэр Клиффорд, мне ничего не остается, как повиноваться, — сказала миссис Болтон и взяла письмо.

— Я удивляюсь ее милости, — изрекла она, прочитав послание Конни. — Ее милость со всей твердостью заявляла, что вернется.

Застывшая маска стала еще мертвеннее. Миссис Болтон встревожилась не на шутку. Она знала — ей предстоит сразиться с мужской истерикой. Ведь она когда-то ухаживала за ранеными и была знакома с этой неприятной болезнью.

Сэр Клиффорд немного раздражал ее. Любой мужчина в здравом уме давно бы понял, что у жены кто-то есть и что она собирается уйти. И даже он сам — она не сомневалась — в глубине души был в этом уверен, но не смел себе признаться. Если бы он посмотрел правде в глаза, он либо сумел бы подготовиться к ее уходу, либо вступил в открытую борьбу и не допустил бы разрыва — вот поведение, достойное мужчины. А он, догадываясь, прятал голову под крыло, как страус. Видел проделки черта, а убеждал себя — забавы ангелов. Этот самообман и привел в конце концов к катастрофе, лжи, расстройству, истерике, что, в сущности, есть проявление безумия.

«Это случилось, — думала она, немного презирая его, — потому что он думает только о себе. Он так запутал себя своим бессмертным „эго“, что теперь ему, как мумии, не сбросить этих пут. Один вид его чего стоит!»

Но истерический приступ опасен, а она — опытная сиделка, ее обязанность — вывести его из этого состояния. Если она обратится к его мужскому достоинству, гордости, будет только хуже, ибо его мужское достоинство если не умерло, то крепко спит. Он будет еще больше мучиться, как червяк поверх земли, и состояние его только усугубится.

Самое для него лучшее — изойти жалостью к самому себе. Как той женщине у Теннисона, ему надо разрыдаться, чтобы не умереть.

И миссис Болтон начала первая. Она прижала ладонь к глазам и горько зарыдала. «Я никогда, никогда этого не ожидала от ее милости», — причитала она, думая о своих давних бедах, оплакивая собственную горькую судьбу. Она рыдала искренне — ей было над чем проливать слезы.

Клиффорд вдруг с особой ясностью осознал, как подло его предала эта женщина, Конни; горе миссис Болтон было так заразительно, что глаза его

увлажнились и по щекам покатились слезы. Он плакал над своими горестями. Увидев слезы на безжизненном лице Клиффорда, миссис Болтон поспешно отерла щеки маленьким платочком и наклонилась к нему.

— Не убивайтесь так, сэр Клиффорд, — сказала переполненная чувствами миссис Болтон, — пожалуйста, не убивайтесь, вам это вредно!

Тело его содрогнулось от беззвучного рыдания, и слезы быстрее заструились по щекам. Она опустила ладонь на его руку, и у нее самой слезы хлынули с новой силой. По его телу опять прошла судорога, и она обняла его одной рукой за плечи.

— Ну, не надо, не надо! Не терзайте себя так! Не надо, — приговаривала она сквозь слезы.

Притянула его к себе, обняла широкие плечи; он зарылся лицом к ней в грудь, сотрясаясь, рыдая, тяжело сутуля жирные плечи, а она гладила его темно-русые волосы и приговаривала: «Ну, будет, будет, не надо. Не принимайте близко к сердцу».

Он тоже обнял ее, прижался, как малое дитя, от его слез у нее насквозь промокли фартук и ситцевая бледно-голубая блузка. Он выплакивал свое горе.

Она поцеловала его, баюкала на груди, а в душе

говорила себе: «О, сэр Клиффорд, великий и могучий Чаттерли! До чего вы опустились!»

Клиффорд плакал, пока не уснул, всхлипывая, как ребенок. А миссис Болтон, выжатая, как лимон, удалилась к себе в комнату; она смеялась и плакала, с ней тоже приключилось что-то вроде истерики. Это так смешно! Так ужасно! Такое падение! Такой позор! И в общем такое расстройство всего!

С того дня Клиффорд стал вести себя с миссис Болтон совсем как ребенок. Он держал ее за руку, покоил голову у нее на груди; как-то раз она поцеловала его ласково, и он стал просить: «Да, да, целуйте меня, целуйте!»; в ее обязанности входило мыть губкой его белое рыхлое тело; он просил целовать его; и она целовала его везде, как бы в шутку.

Он лежал на кровати покорно, как ребенок, со странным, тусклым лицом, на котором чуть проглядывало детское изумление. Он смотрел на нее широко открытыми детскими глазами, как верующий на мадонну. С ней его нервы полностью расслаблялись, мужское достоинство исчезало, он возвращался в детство; все это, конечно, было патологией, ненормальностью. Он запускал ей руку за пазуху, трогал груди, целовал

их с восторгом младенца — болезненным, экзальтированным восторгом. И это был мужчина!

Миссис Болтон и волновали эти ласки, и вызывали краску стыда. Это было сложное чувство, любовь-ненависть. Она ни разу не остановила его, ни разу не возмутилась. Мало-помалу они перешли к более интимной близости, близости аномальной: он вел себя как ребенок, впавший в состояние сродни религиозной экзальтации, озаренный искренней и чудесной верой, буквальная, но патологическая иллюстрация библейского изречения «будьте как дети». Она же выступала в роли Magna Mater[27], исполненной животворящей силы, на попечении которой оказался белокурый исполин, мужчина-мальчик.

И что удивительно, когда этот мужчина-мальчик — Клиффорд был им теперь в полном смысле слова, он шел к этому многие годы — явился на свет, в делах он оказался гораздо умнее и проницательнее, чем в бытность свою просто мужчиной. Это патологическое существо «мужчина-мальчик» стало настоящим деловым человеком; Клиффорд вел теперь свои дела, как подобает сильной личности. В мире бизнеса это

---

[27] notes: 27
великая мать *(лат.)*

был настоящий мужчина, острый, как стальная игла, неуступчивый, как кремень; он ясно видел свои цели и выгодно продавал уголь своих шахт; обладал почти сверхъестественной проницательностью, твердостью и прямым метким ударом. Как будто отречение от своего достоинства, служение Magna Mater были вознаграждены блестящими деловыми способностями, некой сверхчеловеческой силой. Купание в своих эмоциях, полное подавление мужского «я» родили в нем вторую натуру — холодную, почти мистическую — натуру умного дельца. Человеческие чувства на деловом поприще для него не существовали.

Миссис Болтон торжествовала. «Сэр Клиффорд идет в гору, — говорила она себе с гордостью, — и это моя заслуга. С леди Чаттерли ему никогда не сопутствовал такой успех. Она не из тех женщин, кто помогает мужьям. Слишком занята собой». И вместе с тем в каком-то закоулке своей загадочной женской души она презирала его и даже порой ненавидела! Он был для нее поверженным львом, судорожно извивающимся драконом. Да, она помогала ему и всячески вдохновляла, но, бессознательно повинуясь древнему женскому инстинкту, презирала его бесконечным пре-

зрением дикаря. Самый последний бродяга в ее глазах был и то более достоин уважения.

Его отношение к Конни было необъяснимым. Он настаивал на встрече. Более того, он требовал, чтобы она приехала в Рагби. Настаивал бесповоротно. Конни дала слово вернуться и должна его сдержать.

— Какой в этом смысл? — спросила миссис Болтон. — Разве нельзя отпустить ее раз и навсегда?

— Ни в коем случае. Она обещала вернуться и пусть возвращается.

Миссис Болтон не стала спорить. Она знала, с каким характером имеет дело.

«Не буду говорить тебе, какое действие оказало на меня твое письмо, — писал он Конни, — но если бы ты захотела, то легко могла бы вообразить — какое. Впрочем, вряд ли ты станешь напрягать ради меня воображение. Скажу тебе одно: я смогу принять решение только после того, как увижу тебя здесь, в Рагби. Ты дала слово, что вернешься, и должна вернуться. Пока я не увижу тебя в нормальной обстановке, я ничему не поверю и ничего не пойму. Нет нужды объяснять тебе, что в Рагби-холле никто ничего не знает, так что твое возвращение будет принято как само собой разумеющееся. И если после нашего разговора

ты не изменишь своего решения, тогда, можешь не сомневаться, мы придем к разумному соглашению».

Конни показала письмо Меллорсу.

— Сэр Клиффорд начинает мстить, — заметил он, возвращая письмо.

Конни молчала. Ей было странно признаться себе, что она побаивается Клиффорда. Побаивается, как если бы он был носителем какого-то злого и опасного начала.

— Что же мне делать? — сказала она.

— Ничего. Если не хочется, ничего не делай.

Она ответила Клиффорду, стараясь как-то отговориться. И получила такой ответ: «Если ты не вернешься в Рагби сейчас, ничего не изменится, рано или поздно тебе все равно придется приехать, чтобы вместе все обсудить. Остаюсь при своем решении и буду ждать тебя хоть сто лет».

Конни стало страшно. Это был коварный шантаж. Она не сомневалась — на попятный он не пойдет. Развода ей не даст, родившийся ребенок будет считаться его ребенком, если она не найдет способа доказать незаконность его рождения.

После нескольких дней терзаний она решилась ехать в Рагби, взяв с собой Хильду. И отправила Клиффорду соответствующее письмо. Он отве-

тил: «У меня нет желания видеть твою сестру, но, разумеется, двери я перед ней не захлопну. Ты преступила свой долг, нарушила обязательства, и она, конечно, этому потворствовала. Поэтому не ожидай, что я проявлю восторг, увидев ее».

И сестры отправились в Рагби-холл. В час их приезда Клиффорда не было дома. Встретила их миссис Болтон.

— О, ваша милость! — воскликнула сиделка. — Не о таком вашем возвращении мы мечтали!

— Не о таком, — согласилась Конни.

Значит, миссис Болтон все знает. А остальные слуги — знают ли они, подозревают ли о чем-то?

Она вошла в дом, который ненавидела теперь лютой ненавистью. Огромное, беспорядочное строение казалось ей олицетворением зла, грозно нависшего над ней. Она больше не была в нем госпожой, она была его жертвой.

— Долго я здесь не выдержу, — шепнула она Хильде чуть ли не в панике.

С тоской в сердце отворила дверь в спальню и вступила в нее, как будто ничего не случилось. Каждый миг в стенах Рагби-холла был ей хуже пытки.

Они увидели Клиффорда только за обедом. Он был в смокинге, вел себя сдержанно — джентль-

мен до корней волос. За обедом он был безукоризненно учтив, поддерживал вежливый, ничего не значащий разговор; и одновременно на всем, что он делал и говорил, лежал отпечаток безумия.

— Что известно слугам? — спросила Конни, когда миссис Болтон вышла из комнаты.

— О твоем намерении? Ровным счетом ничего.

— Миссис Болтон знает.

Клиффорд изменился в лице.

— Я не причисляю миссис Болтон к прислуге, — сказал он.

— Да я ведь не возражаю.

Напряжение не ослабело и во время кофепития. После кофе Хильда сказала, что поднимается к себе.

После ее ухода Клиффорд и Конни какое-то время сидели молча. Ни один не решался заговорить. Конни была рада, что он не распустил перед ней нюни. Уж лучше пусть держит себя с высокомерной заносчивостью. Она сидела молча, разглядывая свои руки.

— Я полагаю, — наконец начал он, — ты без всякого угрызения совести нарушила данное слово.

— Я в этом меньше всего виновата.

— Кто же виноват?

— Никто, наверное.

Он окинул ее холодным, полным ярости взглядом. Он так привык к ней. Он даже включил ее в завещание. Как смела она предать его, разрушить канву их каждодневного существования? Как смела устроить в его душе такой погром?

— И ради чего же ты изволила так все взять и бросить?

— Ради любви.

Пожалуй, самое лучшее — пойти с этой карты.

— Ради любви к Дункану Форбсу? Но вспомни, когда мы познакомились, чаша весов перетянула в мою сторону. И ты хочешь меня убедить теперь, что любишь его больше всего на свете?

— Люди меняются.

— Возможно! Возможно, это твоя прихоть. Но тебе еще придется доказать мне необходимость столь крутых перемен. Я просто не верю в твою любовь к Дункану Форбсу.

— При чем здесь «верю — не верю»? От тебя требуется одно — дать мне развод. Какое отношение имеет к этому искренность моих чувств?

— А почему, в сущности, я должен дать тебе развод?

— Потому что я не хочу больше здесь жить. Да и ты не хочешь, чтобы мы были вместе.

— Ну уж извини меня. Мои чувства неизмен-

ны. К тому же ты — моя жена. И я хочу, чтобы ты жила под моей крышей достойно и покойно. Если отбросить чувства, а мне это, уверяю тебя, нелегко, то перспектива потухшего семейного очага представляется мне страшнее смерти. И ради чего? Ради твоего каприза?

Подумав немного, Конни ответила:

— Ничего не поделаешь. Мы должны расстаться. У меня, наверное, будет ребенок.

Он тоже задумался.

— И ты хочешь уйти отсюда из-за ребенка? — наконец сказал он.

Она кивнула.

— Почему? Неужели Дункан Форбс так уж озабочен судьбой своего потомства?

— Гораздо больше, чем был бы ты.

— Ты так полагаешь? Но я не хочу расставаться с женой. И я не вижу причин, почему я должен отпустить ее. Она может растить ребенка под моей крышей, если, конечно, все будет в рамках приличия. Ты хочешь меня убедить, что Дункан Форбс мил тебе больше, чем я? Никогда этому не поверю!

Опять воцарилось молчание.

— Ну неужели ты не можешь понять, — прервала молчание Конни, — я хочу уйти от тебя, чтобы

жить с человеком, которого люблю.

— Не понимаю. Я за твою любовь не дам и ломаного гроша. Вместе с человеком, которого ты любишь. Это все ханжество и ложь.

— У меня на этот счет иное мнение.

— Иное? Моя дорогая жена! Уверяю тебя, ты сама не веришь в любовь к Дункану Форбсу. Ты для такой любви слишком умна. Поверь мне, даже сейчас ты питаешь ко мне большую симпатию. И ты ожидаешь, что я клюну на эту глупость?

Конни понимала, что он прав. И больше не могла ломать комедию.

— Дело в том, что люблю я не Дункана, — Конни твердо посмотрела ему в глаза. — Мы назвали Дункана, чтобы пощадить твои чувства.

— Пощадить мои чувства?

— Да. Потому что на самом деле я люблю другого человека. Узнав, кто он, ты возненавидишь меня. Это мистер Меллорс, он был здесь егерем.

Если бы он мог соскочить со своего стула, он бы соскочил. Его лицо пошло желтыми пятнами, глаза выпучились, в них она прочитала — полный крах всему.

Он откинулся на спинку стула и, тяжело дыша, воззрился в потолок. В конце концов сел прямо.

— Ты хочешь сказать, что на этот раз не обма-

нываешь меня? — сказал он, ненавидяще глядя на нее.

— Ты и сам знаешь, что это правда.

— И когда у вас с ним началось?

— Весной.

Он молчал затравленно, как попавший в капкан зверь.

— Все-таки это ты была у него в спальне?

Значит, в глубине души он все знал.

— Да, я!

— Боже правый! Тебя мало стереть с лица земли.

— За что? — едва слышно прошептала она.

Но он, казалось, не слышал ее.

— Этот мерзавец! Это ничтожество! Этот возомнивший о себе мужик! И ты! Жила здесь и все это время путалась, с ним, с одним из моих слуг. Боже мой! Боже мой! Есть ли предел женской низости!

Он был вне себя от гнева, возмущения, ярости. Она ничего другого и не ожидала.

— И ты говоришь, что хочешь ребенка от этой мерзости?

— Да, хочу. И он у меня будет.

— Будет? Значит, ты уверена? Когда ты это поняла?

— В июне.

Он замолчал, и в его лице опять появилось странное, детское выражение непричастности.

— Диву даешься, — наконец выговорил он, — как подобных людей земля носит.

— Каких людей?

Он дико посмотрел на нее, не удостаивая ответом. Было очевидно, он просто не в состоянии даже помыслить о малейшей связи между существованием Меллорса и собственной жизнью. Это была чистая, огромная и бессильная ненависть.

— И ты говоришь, что хочешь выйти за него замуж? Носить это подлое имя?

— Хочу.

И опять его точно громом ударило.

— Да, — наконец обрел он дар речи. — Это только доказывает, что я никогда не заблуждался на твой счет: ты ненормальна, не в своем уме. Ты одна из тех полоумных, с патологическим отклонением женщин, которых влечет порок, nostalgic de la boue[28].

Неожиданно в нем проснулся обличитель, бичующий современную порчу нравов. Он сам — воплощение всех добродетелей. Она, Меллорс

---

[28] notes: 28
ностальгия по навозной жиже *(фр.)*

и иже с ними — олицетворение зла, грязи. Вещая, он как бы стал утрачивать плотность, а вокруг головы почти засветился нимб.

— Теперь ты видишь, самое лучшее развестись со мной и на этом поставить точку, — резюмировала Конни.

— Ну уж нет! Ты можешь убираться куда угодно, но развода я тебе не дам, — с идиотской непоследовательностью заявил он.

— Почему?

Он молчал, одержимый тупым упрямством.

— Ты предпочитаешь, чтобы ребенок считался твоим законным сыном и наследником?

— До ребенка мне дела нет.

— Но если родится мальчик, он будет согласно закону твоим сыном и унаследует твой титул и поместье.

— Мне все равно.

— Но ты должен подумать об этом. Я, конечно, сделаю все, чтобы ребенок юридически не считался твоим. Пусть он будет незаконнорожденным, если не может носить имя родного отца.

— Поступай, как сочтешь нужным.

Он был неумолим.

— Так ты не дашь мне развода? Причиной может служить Дункан. Он не возражает. А на-

стоящее имя может вообще не фигурировать.

— Я никогда с тобой не разведусь, — сказал, как вогнал последний гвоздь.

— Почему? Потому что я этого хочу?

— Потому что я всегда действовал по собственному разумению. И сейчас мне представляется самым разумным не разводиться.

Спорить с ним было бесполезно, Конни пошла наверх, рассказала Хильде.

— Завтра едем обратно, — решила та. — Надо дать ему время опамятоваться.

Полночи Конни упаковывала личные, ей принадлежавшие вещи. Утром отправила чемоданы на станцию, не сказав Клиффорду. Они увидятся перед самым завтраком, только чтобы проститься. А вот с миссис Болтон надо перед расставанием поговорить.

— Я пришла попрощаться с вами, — сказала она сиделке. — Вам все известно, но я рассчитываю на вашу скромность.

— О, ваша милость, на меня можете положиться. Но это для всех нас такой удар. Надеюсь, вы будете счастливы с этим джентльменом.

— Этот джентльмен! Ведь это Меллорс, и я люблю его. Сэр Клиффорд знает. Об одном прошу вас — ничего никому не рассказывайте. Если вдруг

увидите, что сэр Клиффорд согласен на развод, дайте мне знать. Я хочу юридически оформить отношения с человеком, которого люблю.

— Я так понимаю вас, ваша милость! Можете рассчитывать на мое содействие. Я не предам ни сэра Клиффорда, ни вас. Потому что вижу — вы оба по-своему правы.

— Благодарю вас. И позвольте подарить вам вот это…

И Конни вторично покинула Рагби-холл. Они с Хильдой отправились в Шотландию. Конни осталось только ждать, когда в Клиффорде вновь заговорит здравый смысл. Меллорс уехал куда-то в глушь, будет полгода работать на ферме, пока тянется дело о разводе. Они с Конни купят впоследствии ферму, куда он сможет вкладывать свою силу и энергию. У него должно быть свое занятие, пусть даже тяжелый физический труд. Деньги Конни только первоначальный вклад.

А пока надо ждать — ждать новой весны, рождения ребенка, будущего лета.

«Ферма Грейндж, Олд Хинор, 29 сентября.

Я оказался на этой ферме по воле случая: инженер компании Ричардс — мой старый знакомый по армии. Ферма принадлежит угольной компании «Батлер и Смиттэм». Мы сеем овес и

заготавливаем сено для шахтных пони. На ферме есть коровы, свиньи и другая живность. Я нанялся подсобным рабочим и получаю тридцать шиллингов в неделю. Роули, фермер, взвалил на меня все, что мог, — за эти полгода к следующей Пасхе я должен выучиться фермерскому труду. От Берты ни слуху, ни духу. Понятия не имею, где она, почему не явилась в суд на первое слушание, и вообще, что у нее на уме. Но надеюсь, что если я буду вести себя тихо, то уже в марте стану свободным человеком. Пожалуйста, не волнуйся из-за сэра Клиффорда. Не сомневаюсь, он очень скоро сам захочет от тебя избавиться. Уже и то хорошо, что он не докучает тебе.

Я снимаю комнату в старом, но вполне приличном доме в Энджин-роу. Хозяин работает машинистом в Хай-парк. Он высокий, с бородой, и до мозга костей нонконформист. Хозяйка, маленькая, похожая на птичку, очень любит все высокородное и все свои разговоры начинает с «позвольте мне…». Они потеряли на войне сына, и это наложило на них неизгладимый отпечаток. У них есть дочь, длинное, как жердь, застенчивое существо. Она учится на школьного преподавателя, я ей иногда помогаю, так что у нас получилось что-то вроде семейного круга. Но в общем они

приятные, вполне порядочные люди. И, пожалуй, уж слишком добры со мной. Думаю, что жизнь сейчас более милостива ко мне, чем к тебе.

Работа на ферме мне по душе. Утонченных радостей она не дает, да я их и не искал. Я умею обращаться с лошадьми, а коровы, хотя в них слишком много женской покорности, явно оказывают на меня успокаивающее действие. Когда я дою, уткнувшись головой в теплый бок, то чувствую прямо-таки утешение. На ферме шесть довольно хороших херефордширок. Только что кончили жать овес, если бы не дождь и мозоли на ладонях, занятие вполне пристойное. С здешними людьми я общаюсь немного, но отношения со всеми хорошие. На многое надо просто закрывать глаза.

Шахты работают плохо; район этот шахтерский, мало чем отличающийся от Тивершолла, только более живописный. Иногда захаживаю в местный кабачок «Веллингтон», болтаю с шахтерами. Они высказываются очень резко, но менять ничего не хотят. Знаешь, как говорят про наших шахтеров — «сердце у них на месте». Сердце, может, на месте, а вот вся остальная анатомия — хоть плачь. Лишние они в этом мире. В целом они мне нравятся, но не вдохновляют, нет

в них бойцовского азарта. Они много говорят о национализации шахт, всей угольной промышленности. Но ведь нельзя национализировать только уголь, оставив все остальное как есть. Говорят о каком-то новом применении угля, что-то вроде затей сэра Клиффорда. Кое-где, может, это и сработает, но строить на этом будущее, мне кажется, нельзя. В какой бы вид топлива ни превратить уголь, его все равно надо продать. Рабочие настроены пессимистично. Они считают, что угольная промышленность обречена, и я думаю, они правы. А с промышленностью обречены и они. Многие поговаривают о Советах, но убежденности в их голосах не слышно.

Они убеждены в одном: все — мрак и беспросветность. Ведь и при Советах уголь надо кому-то продавать.

В стране существует огромная армия индустриальных рабочих, которые хотят есть; так что эта дьявольская машина должна, пусть через пень-колоду, крутиться. Как ни странно, женщины куда более решительны, чем мужчины; кричат, во всяком случае, громче. Мужчины совсем пали духом, на лицах у них безысходность. Но в общем, никто толком не знает, что делать, несмотря на разговоры. Молодые бесятся, потому что у них

нет денег, а кругом столько соблазна. Они видят смысл жизни в приобретательстве, а приобретать не на что. Такова наша цивилизация, таково наше просвещение: в людях воспитывается только одна потребность — тратить деньги. А гарантии их заработать нет. Шахты действуют два, два с половиной дня в неделю, и никакого улучшения не предвидится даже в преддверии зимы. Это значит, кормилец приносит в семью двадцать пять — тридцать шиллингов в неделю. Больше всех возмущены женщины, но ведь они больше всех и тратят.

Кто бы внушил им, что жить и тратить деньги не одно и то же. Но им ничего не внушишь. Если бы их учили в школе жить, а не зарабатывать и тратить, они могли бы прекрасно обходиться двадцатью пятью шиллингами. Если бы мужчины, как я тебе говорил, щеголяли в алых штанах, они не думали бы так много о деньгах, если бы они пели, плясали и веселились, они бы умели довольствоваться малым. Они любили бы женщин, и женщины любили бы их. И никто не стеснялся бы наготы; их надо учить петь и плясать, водить на лужайках старинные хороводы; делать резную мебель, вышивать узоры. Тогда бы им хватало и нескольких шиллингов. Единственный спо-

соб покончить с индустриальным обществом — научить людей жить разумно и красиво, без мотовства. Но это невозможно. У всех сегодня одно на уме — приобретать, приобретать. А бедняки к тому же просто ни о чем другом и не умеют думать. Им бы жить и веселиться, поклоняясь великому, доброму Пану. Вот единственный Бог для простых смертных во все времена. Конечно, одиночки могут по желанию причислять себя к более высоким религиям. Но народ должен поклоняться языческим богам.

А наши шахтеры — не язычники, отнюдь. Это печальное племя, мертвяки. Их не могут разгорячить ни женщины, ни сама жизнь. Молодые парни носятся на мотоциклах с девчонками и танцуют под джаз, если повезет. Но и они мертвяки, еще какие. И на все нужны деньги. Деньги, если они есть, — трава; если нет — голодная смерть.

Я уверен, что и тебе все это отвратительно. О себе распространяться не буду, в данную минуту ничего плохого со мной не происходит. Я стараюсь не думать о тебе слишком много, а то вдруг до чего-нибудь додумаюсь. Но, конечно, живу я сейчас только ради нашего будущего. И мне страшно, по-настоящему страшно. Я чую носом близость

дьявола; он пытается помешать нам. Ладно, не дьявола, так Маммоны, этот идол, в сущности, — совокупная злая воля людей, алчущих денег и ненавидящих жизнь. Мне мерещатся в воздухе длинные костлявые руки, готовые вцепиться в горло всякому, кто дерзает жить за пределами власти денег, и сжимать, пока из него дух вон. Близятся тяжелые времена. Если ничего не изменится, будущее сулит индустриальным рабочим погибель и смерть. Я порой чувствую, как все внутри у меня холодеет. И на тебе, ты ждешь от меня ребенка. Ну, не сердись на эти глупости. Все тяжелые времена, сколько их ни было в истории, не смогли уничтожить ни весенних цветов, ни любви женщины. Не смогут они и в этот раз убить мое влечение к тебе, загасить ту искру, которая зажглась между нами. Еще полгода — и мы будем вместе. И хотя мне страшно, как я сказал, я верю, что нет силы, которая нас разлучит. Долг мужчины — строить, созидать будущее, но ему надо и верить во что-то помимо себя. Будущее обеспечено, если человек видит в себе что-то хорошее, доброе. А я еще верю в то легкое пламя, которое вспыхнуло в нас. Для меня оно — единственная ценность в мире. У меня нет друзей, старых привязанностей. Только одна ты. И это

пламя — единственное, чем я дорожу. Конечно, еще младенец, но это боковая ветвь. Для меня Троица — двуязыкое пламя. Древняя Троица, на мой взгляд, может быть и оспорена. Мы с Богом любим иногда задрать нос. Это двуязыкое пламя между тобой и мной — альфа и омега всего! Я буду верен ему до конца. И пусть все эти клиффорды и берты, угольные компании, правительства и служащий Маммоне народ пропадут пропадом.

Вот по всему этому я и не хочу думать о тебе. Для меня это пытка, и тебе от этого не легче. Но я так не хочу, чтобы ты жила вдали от меня. Стоп, если я разбережу сердце, если начнет грызть досада, что-то хорошее будет утрачено. Терпение, терпение! Идет моя сороковая зима. Что делать, все предыдущие зимы никуда не денешь. Но в эту зиму я молюсь двуязыкому пламени моей Троицы, и на душе у меня покойно. Я бы не хотел, чтобы люди задули его своим дыханием. Я верую в некую высшую тайну, которая даже подснежнику не даст погибнуть. И хотя ты в Шотландии, а я в Средней Англии и я не могу обнять тебя, у меня все-таки есть что-то твое. Моя душа мягко колышется в легком Троицыном пламени, вторя любовному акту, в котором оно и родилось. Как и цветы родятся от соития земли и солнца. Но это

легкое пламя пока еще зыбко, чтобы оно разгорелось, нужно время, терпение и время.

Так что теперь я за воздержание, потому что оно непреложно следует за любовной горячкой, как время мира за войной. И я даже полюбил воздержание, полюбил любовью подснежника к снегу. Да, я люблю воздержание, как мирную передышку в любовных войнах. Наше белое двуязыкое пламя для меня — точно подснежник ранней весны. Когда весна войдет в свою силу, пламя это разгорится ярче солнца. А пока пора воздержания, добрая и здоровая, словно купание в горной реке. Мне нравится моя чистая жизнь, она течет от тебя ко мне, как горный поток. Она точно вешние воды земли и неба. Бедные донжуаны! Что за маета эта вечная погоня за наслаждением. Где уж им вздуть легкое двуязыкое пламя — в душе-то не могут навести порядок. Неведом им и чистый горный поток воздержания.

Прости, что я так многословен, это оттого, что не могу дотронуться до тебя. Если бы спать ночью, чувствуя рядом твое тепло, пузырек с чернилами остался бы полным. Да, какое-то время нам придется жить врозь. Но быть может, это сейчас самое мудрое. Только бы не мучили сомнения…

Ладно, не огорчайся… Глупо себя накручивать.

Будем верить в наше легкое пламя и в безымянного бога, который хранит его от сквозняков. На самом деле у меня здесь столько тебя, даже жаль, что не вся целиком.

Выбрось из головы сэра Клиффорда. Если он и не объявится, тоже не очень горюй. Навредить по-настоящему он не может. Наберись терпения, рано или поздно он захочет избавиться от тебя, вычеркнуть из своей жизни. А не захочет, и это не беда. Сумеем с ним справиться. Но он захочет, ты для него теперь отрезанный ломоть.

Видишь, я просто не могу остановиться. Залог будущего — то, что мы вместе, хоть и разлучены. И держим курс на скорую встречу.

Джон Томас шлет привет своей леди Джейн, немножко понурившись, но не утратив надежды».

По поводу романа «Любовник леди Чаттерли» (Эссе)

...Несмотря на резкую критику, я считал роман честной, правдивой книгой, которая так нужна сейчас.

Я хочу, чтобы мужчины и женщины думали о сексе честно, ясно и до конца. Даже если мы не можем получать от секса полного удовлетворения, давайте, по крайней мере, думать о нем безбоязненно, не оставляя белых пятен. Все эти разговоры о юных девушках, девственности, чистом листе бумаги, на котором еще ничего не написано, просто чепуха. Невинная девушка, не имеющий сексуального опыта юноша пребывают в состоянии мучительного смятения. Они в плену у разъедающих душу эротических чувств и мыслей, которые только с годами обретают гармонию. Годы честных размышлений о сексе, поражений и побед в конце концов приводят к желаемому результату — истинной, прошедшей все испытания чистоте, когда половой акт и представления о нем начинают существовать гармонично, не мешая друг другу.

В прошлом люди стремились как можно больше набраться сексуального опыта, бездумно предаваясь плотской любви — этому бесконечному, бессмысленному повторению одного и того же. Наш удел — осознать, осмыслить секс. После столетий блуждания с завязанными глазами ум желает знать все до конца. Когда современный человек участвует в половом акте, он зачастую лицедействует, изображает то, чего от него ждут. А он должен вести себя, как подсказывает интуиция, обогащенная разумом. Наши предшественники так долго и прилежно занимались сексом, ни грана в нем не смысля, что это занятие стало скучнейшим, механическим, разочаровывающим. И гальванизировать его может только полное его осмысление.

Интеллект не должен отставать от секса, физиологии организма. Наше сексуальное сознание заморочено, мы подавлены унизительным подсознательным страхом, унаследованным, по-видимому, от наших диких предков. В этом отношении наш ум все еще не развит. Пришло время восполнить этот пробел, сбалансировать сознание эротического опыта с самим опытом. Это значит, что мы должны почтительно относиться к сексу, испытывать благоговейный

восторг перед странным поведением плоти. Должны включить в литературный язык «непечатные» слова, поскольку они — неотъемлемая часть наших мыслей и обозначают определенные органы тела и его важнейшие функции. Ощущение непристойности рождается только в том случае, если разум презирает тело и боится его, а тело ненавидит разум и сопротивляется ему.

Пример, иллюстрирующий нынешнюю ситуацию, — история с полковником Баркером. Полковник Баркер оказался женщиной, выдающей себя за мужчину. «Полковник» женился и прожил с женой пять лет во взаимной любви. И бедная жена все пять лет была уверена, что ведет нормальную брачную жизнь, она была счастлива и не сомневалась, что муж у нее, как у всех. Открытие было настоящим ударом для бедняжки. Чудовищная ситуация. Однако найдутся тысячи женщин, которых можно точно так же обмануть, и обман будет длиться годами. В чем же дело? А в том, что они ничего не знают о сексе, никогда серьезно не думали о нем. В любви они — слабоумные идиотки.

Вот так обстоят дела. В сознании гнездится древний, унизительный страх тела и его возможностей. Именно сознание мы должны цивили-

зовать, освободить. Этот страх довел до безумия, вероятно, гораздо больше людей, чем мы думаем. Безумие, погубившее великий ум Свифта, пожалуй, можно в какой-то мере объяснить именно этой причиной. В поэме, посвященной его любовнице Силии, имеется совершенно чудовищный рефрен: «Но Силия, Силия, Силия… с…т».

Вот что делает с великим умом иррациональный страх!

Великий насмешник Свифт не видел, как смешон он сам. Разумеется, Силия с…т! А кто нет? Было бы гораздо хуже, если бы она не могла с… Просто слов нет. Бедная Силия, виноватая в глазах любовника только тем, что должна отправлять естественные потребности организма. Чудовищно! Этот страх порождается, во-первых, словами, на которые наложено табу, и, во-вторых, неразвитым сексуальным мышлением.

В противовес пуританскому лицемерию, которому общество обязано существованием безмозглых идиотов во всем, что касается секса, появились высокомерные джазовые юнцы, которые всех презирают и делают что хотят. Боясь своего тела, отрицая его важность, эти эмансипированные задиры впадают в другую крайность — они относятся к телу, как к игрушке, немного,

пожалуй, непристойной игрушке, но которой можно забавляться… до поры до времени.

Они иронизируют над важностью секса, относятся к нему как к бокалу коктейля, доводя взрослых до белого каления. Это супермены будущего. Они презирают книги, подобные «Любовнику леди Чаттерли». Слишком такая книга проста и банальна для них. Непечатные словечки их не шокируют, а отношение к любви в ней — допотопное. Эта книга, говорят они, свидетельствует о-том, что у автора интеллект четырнадцатилетнего подростка. Но, думается, четырнадцатилетний подросток, который все еще питает священный трепет и естественный страх перед сексом, более нормален и здоров, чем безусый любитель коктейлей, чей ум занят только побрякушками, самая занятная из которых — секс. Он и предается сексу и мало-помалу дичает.

Сам я придерживаюсь принципа, провозглашенного в этой книге. Жизнь только тогда выносима, когда разум и тело существуют в гармонии, в равновесии и взаимном уважении.

Какой же жизнью должен жить организм? Жизнь организма, тела — это жизнь чувств и эмоций. Тело чувствует голод, жажду, его ра-

дует солнце и снег, оно получает удовольствие от аромата роз и вида цветущего куста сирени. Гнев, печаль, любовь, нежность, тепло, страсть, ненависть, горе — все это истинные чувства. Они принадлежат телу и осознаются умом. Услыхав самую печальную новость, мы можем вначале почувствовать лишь возбуждение ума. И только спустя время, скорее всего во сне, эта новость достигает нервных центров, и сердце начинает разрываться.

Сегодня многие люди живут и умирают, так и не познав настоящих чувств, несмотря даже на то, что они, как говорится, «жили чувствами». Нас с младых ногтей учат определенному набору эмоций — что: мы должны чувствовать, что не должны и как чувствовать то, что можно себе позволить. Сильных эмоций не существует. Есть только их подделки.

Под сильными эмоциями мы разумеем любовь во всех ее проявлениях: любовь-секс, любовь-дружба, любовь к Богу; разумеем радость, восторг, надежду, праведный гнев, страстное чувство справедливости и несправедливости, истины и лжи, чести и бесчестия, истинную веру во что угодно, поскольку веру ум снисходительно допускает.

В истории не было века более сентиментального, более бедного истинными чувствами, более замороченного ложными, чем наш двадцатый век. Сентиментальность, поддельные чувства стали своего рода игрой, каждый старается изо всех сил перещеголять в этой игре ближнего своего. Радио и кинофильмы без передышки поставляют публике эту фальшь. Не отстают пресса и литература. Люди тонут в фальшивых эмоциях. Захлебываются в них. Живут в них и ими. Пропитаны ими, как губка водой.

Порой кажется, они процветают на такой пище. Но со временем накапливается отрицательный эффект, человек ломается. И все летит к чертям. Рано или поздно сам организм отомстит, и отомстит жестоко. Можно без конца обманывать многих, можно долго обманывать всех, но без конца обманывать всех нельзя, фальшивые чувства себя обнаружат. Фальшивая любовь — красивое пирожное, но очень плохой хлеб. Она вызывает сильнейшие эмоциональные расстройства. Это и есть современный брак и еще более современный развод.

Беда с фальшивыми чувствами в том, что от них никто не бывает счастлив и доволен. Все стараются уберечься от них. Бегут от фальшивой

любви Питера к фальшивой любви Адриана, от поддельных страстей Маргарет к поддельным страстям Виржинии; мечутся между кинематографом и радио, между Истборном и Брайтоном; но куда ни беги, везде одно и то же.

Любовь, более чем какое другое чувство, в наши дни обманна. Если относиться к ней легко, как к развлечению, то с любовью все в порядке. Но если принимать ее всерьез, то непременно потерпишь катастрофу. Не возлагай ни на чей алтарь настоящие чувства, если, конечно, они имеются у тебя в душе. Такова одна из сегодняшних заповедей. Можешь доверить свои деньги, но не чувства. Чувства будут растоптаны.

Мне представляется, не было в истории времени, когда люди меньше бы доверяли друг другу, при том, что в обыденной жизни ведем мы себя вполне пристойно. Мало кто из моих знакомых мог бы стянуть у меня кошелек или подставить сломанный стул. Но осмеять настоящее чувство они готовы всегда. Никто в этом не виноват, это знамение времени.

Секс — камень преткновения для всякой лжи, это единственное, что нельзя подделать. И чем сильнее вы погрязли в сексе, тем больше вам приходится фальшивить. Пока станет совсем

невмоготу. Тогда — конец. Секс страшно мстит поддельным чувствам. Он беспощаден, губителен для фальшивой любви. Особенная ненависть людей, которые не любили друг друга, но притворялись, существовала и в прежние эпохи, но сегодня с ней сталкиваешься на каждом шагу. Смотришь — счастливая чета, уверены, что очень, очень любят друг друга — идеальная пара и уже столько лет. И вдруг — на тебе! Начинают ненавидеть друг друга лютой ненавистью. Если ненависть не обнаружилась рано, она все равно обнаружится, когда счет годам подойдет к пятидесятилетней отметине — великому сексуальному рубежу. Вот тогда катастрофа!

Ничего нет более поразительного, более необъяснимого, чем эта ненависть, которую испытывают мужчина и женщина, совсем недавно так «любившие» друг друга. Она проявляется самым невероятным образом. И причем во всех сословиях. Уборщица, герцогиня, жена полицейского — все ненавидят одинаково.

Секс, сексуальный механизм мужчины и женщины — после того как ему подсунута фальшивая любовь, пусть даже в ответ на столь же фальшивое чувство — аккумулирует разрушительную, убийственную ненависть. Фальшивая любовь

убивает секс, в буквальном смысле сводит с ума — это естественная реакция живого организма на обман.

Трагедия в том, что в век, когда кругом лицедейство, когда во всех подозреваешь неискренность, фальшь, особенно в любви, особенно в сексуальных отношениях, ненависть и недоверие способны погасить тот маленький, живой огонек настоящей любви, который один дает счастье.

Попробую объяснить мое отношение к сексу, которое так сейчас критикуют. Подходит ко мне на днях молодой человек, говорит: «Знаете, я как-то не могу поверить в то, что Англию спасет секс». На что я ему: «Не сомневаюсь, что не можете». Когда томные, высокомерные юнцы затевают со мной разговоры о сексе, я обычно отмалчиваюсь. Да и что они скажут? Секс для них — дамское белье, в котором так легко запутаться. Они прочитали все романы про любовь, «Анну Каренину» и прочее; они видели все статуи и картины, изображающие Афродиту. Весьма похвально, да что толку? Когда дело доходит До жизни, секс для них — бессмысленная девица в роскошном нижнем белье. Это относится и к выпускнику Оксфорда, и к простому рабочему. Типичный пример — подслушанный мной рас-

сказ, характеризующий нравы модного курорта. Отдыхающие там дамы нанимают на сезон в качестве партнера для танцев местных парней. Конец сентября, дамы разъехались. Молодой фермер Джон, простившись со своей «леди из города», болтается один. — «Привет, Джон! — встречает его приятель. — Соскучился о своей леди?» «Нет, — пожимает плечами Джон. — А какое у нее было белье!»

Вот и весь секс — кружавчики, оборочки. И такой секс спасет Англию? Сохрани Господи! Бедная Англия, это она должна сперва возродить секс в своих сыновьях, а уж потом они ее будут возрождать. Не Англия нуждается в спасении — ее молодежь.

Католическая церковь, особенно на юге, не против секса, в отличие от церквей Северной Европы она признает секс, почитая брак таинством, основанным на союзе полов, цель которого — воспроизведение потомства. Но воспроизведение на юге не есть только голый научный факт, как мы это видим на севере. Зачатие на юге и по сей день Тайна, обладающая особой значимостью, как и в давнем прошлом. Человек — потенциальный творец, и в этом его величие. Мужчине в каждодневной жизни необходимо ощущать

себя творцом и законодателем, только тогда он будет получать от нее полное удовлетворение. Сознание нерасторжимости брака обеспечивает, как мне кажется, душевный покой и мужчине, и женщине. И даже если в этом есть нотка роковой обреченности, все равно это сознание необходимо. Католическая церковь решительно заявляет: если вы женились, это навсегда! И люди принимают этот вердикт, сознавая и его благочестие, и его бремя. Для католического священника секс — это ключ к браку, брак — ключ к человеческой жизни, а сама Церковь — ключ к жизни небесной. Секс может быть в глазах Церкви непристойным, святотатственным, но никогда циничным или безбожным.

Вопросы секса, супружества имеют огромную важность. Жизнь общества зиждется на семье, а семья, утверждают социологи, держится собственностью. Считается, что семья — лучший способ упрочения собственности и стимулятор производства. Этим, кажется, сказано все. Все ли? Мы сейчас переживаем бунт против семьи, против ее пут и ограничений. Три четверти сломанных судеб обязаны своими бедами сегодня семье. Считанные единицы среди нас не испытывают ненависти к институту брака, висящего

гирей на человеке. Бунты против правительств не идут ни в какое сравнение с бунтом против семьи.

И почти все считают, что как только будет найден способ обходиться без этой общественной ячейки, институт брака будет упразднен. Советы упраздняют семью, если уже не упразднили. Если в будущем появятся новые авангардные государства, нет сомнения, они последуют примеру Советов. Они попытаются изобрести какой-нибудь социальный суррогат семьи, уничтожив ненавистные супружеские узы. Государственная помощь матери, государственная помощь детям, женская независимость. Эти пункты в программе любой новой великой реформы. И это означает, конечно, гибель семьи.

Церковь, священнослужители которой живут в безбрачии, которая держится на одиноком камне Петра, а может, и Павла, на самом деле жива нерушимостью брака. Утрать семья прочность, постоянство, незыблемость, и Церковь рухнет. Обратите внимание на упадок англиканской церкви.

Дело в том, что Церковь зиждется на идее союза, единства человечества. И первая ступень этого единства — семейные узы. Семейные узы,

семейные путы — как угодно — основное связующее звено христианского сообщества. Разрушьте семью, и вы вернетесь к всеподавляющему господству государства, какое существовало до христианской эры. Вопрос в том, хотим ли мы двигаться вперед или вспять, к существовавшим прежде формам государственного контроля? Хотим добровольно уподобиться римлянам, жившим при императорах или даже под республиканским правлением? Хотим ли быть в рассуждении семьи и собственности чем-то вроде древних греков из городов-государств Эллады? Согласны ли, подобно древним египтянам, выполнять странные ритуалы по указке жрецов? А может, мы завидуем запуганным жителям государства Советов?

Что касается меня, я могу дать однозначный ответ. Ничего подобного я не хочу. И призываю еще раз поразмыслить над знаменитым утверждением, что, пожалуй, величайший вклад христианства в социальную жизнь человека — институт брака. Христианство дало миру семью, ту семью, которую мы сейчас знаем. Христианство учредило автономию крошечной ячейки — семьи внутри обладающего сильной властью государства. Христианство в каком-то смысле

огородило человека от произвола государства. Пожалуй, именно семья гарантировала человеку свободу, дала ему собственное крошечное королевство внутри громадного королевства — государства, обеспечила плацдарм для защиты от государства.

И вот теперь мы хотим уничтожить семью? Если мы ее уничтожим, мы все станем жертвами прямого диктата государства. Хотим ли мы погибнуть под пятой государства? Я бы не хотел.

Церковь устроила семью, объявив ее таинством, соединяющим мужчину и женщину в брачный союз, который может разрушить только смерть. И даже разлученные смертью, они все равно не свободны от брачных уз. Брак для человека — вечен. Брак рождает одно совершенное существо из двух ущербных, дает простор гармоническому развитию души мужчины в унисон с женской на протяжении жизни. Брак священный и неприкосновенный — великий путь совместного совершенствования мужчины и женщины под неусыпным духовным водительством Церкви.

Это и есть величайший вклад христианства в человеческую жизнь, о чем мы так легко забываем. Действительно ли семья — это великий шаг вперед на пути к самосовершенствованию? Да

или нет? Помогает ли брак становлению человека или, наоборот, заводит его в тупик? Это очень важный вопрос, каждый мужчина и женщина должны ответить на него для себя. Если встать на точку зрения протестантов, считающих, что каждый человек — индивидуальная душа и что главное дело жизни — спасение своей души, то тогда, конечно, — брак только мешает человеку. Это хорошо понимают монахи и отшельники. Если я пришел в мир, чтобы спасать души других, — то же самое. Это было известно апостолам и святым проповедникам. Ну а если я не склонен спасать ни свою ни чужие души? Допустим, для меня непостижима самая идея спасения, что, между прочим, так и есть. Допустим, что я просто не понимаю, что значит «Спаситель» и вся эта канитель со спасением, а считаю, что душу надо не спасать, а совершенствовать на протяжении жизни, беречь, питать, развивать и осуществлять ее возможности. Что тогда?

А тогда то, что семья становится необходимейшим институтом жизни. Старая Церковь очень хорошо понимала непреходящие нужды человека, умела отличать их от повседневных нужд. И она установила институт нерасторжимого брака, чтобы человек мог осуществить потенциаль-

ные возможности души здесь, на земле, а не на небесах.

Старая Церковь знала, что земная жизнь человека должна быть прожита как осуществление. Самый ритм-жизни человеческой соблюдался Церковью изо дня в день, из года в год, от эпохи к эпохе. На юге Европы мы ощущаем это, слушая звон колоколов на заре, в полдень, на закате, сверяя часы по мессам и молитвам. Это ритм дневного движения солнца. Мы ощущаем небесные ритмы во время карнавалов, процессий, в праздники Рождества, Трех Волхвов, Пасхи, Пятидесятницы, Всех Святых, в День поминовения. Таков ежегодный круговорот, смена времен года, движение солнца от равноденствия к солнцестоянию. Печаль поста, ликование на Пасху, восхищение чудом Пятидесятницы, огни Ивана Купалы, свечи на могилах в День поминовения, зажжение свечей на рождественской елке — всему этому соответствуют внутренние, эмоциональные ритмы мужчины и женщины, сопряжением которых и достигается совершенная гармония.

Августин говорил, что Бог каждый день творит мир заново, для живой, чувствующей души это — истина. Каждая заря проливает свет на

совершенно новую землю. Каждая Пасха славит совершенно новый мир, раскрывающийся в совершенно новых соцветиях. Точно так же обновляются душа мужчины и душа женщины, благодарно ощущая бесконечную радость и новизну жизни. Так что мужчина и женщина каждый день и час заново открываются друг другу, следуя брачному ритму, который в свою очередь повторяет ритмический рисунок годового коловорота. Секс поддерживает равновесие мужского и женского начал в космосе: притяжение, отталкивание, переходное время безразличия, новая тяга, новое отдаление, всегда по-иному, всегда внове. Долгий покой Великого поста, когда кровь медленно течет по жилам, восторг пасхального поцелуя, весеннее пробуждение плоти, горячие ласки лета, медленное затухание, протест, печаль, серый мрак осени, а следом — острое вожделенное томление долгих зимних ночей. Сею: проходит красной нитью сквозь циклические ритмы года, диктуемые движением солнца. Для человека трагичен отрыв от природных ритмов, ему нельзя рвать связь с землей и солнцем, космосом. Человек сегодня любит эгоистической, однодневной любовью. Бедная, увечная любовь, оторванная от восходов

и закатов, не знающая мистической связи с равноденствием и солнцестоянием. Вот в чем наша беда. Человек подсечен под самый корень, потому что оторван от земли, солнца, звезд, И любовь стала для него циркачкой, насмешницей, ведь мы сорвали этот бедный цветок с древа жизни, поставили в вазу в своем цивилизованном доме и думаем, что он никогда не завянет.

Супружество — ключ к человеческой жизни, его нельзя отделить от вращения солнца, земного тяготения, от блуждающих планет и великолепия неподвижных звезд. Разве на заре мужчина тот же, что на закате? А женщина? И разве гармония и противоречие этих вариаций не составляют музыку жизни? И разве не относится это ко всему течению жизни? Мужчина в тридцать лет совсем не то, что в сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. Так же меняется и женщина, идущая рядом. Но разве эти параллельные перемены не согласуются между собой? Разве не существует какой-то особой гармонии между мужчиной и женщиной в каждый период жизни? Молодые годы, рождение детей, расцвет, взрослые дети, женский критический возраст, болезненный, но несущий возрождение, период угасания страсти, радость тихой привязанности, неясное дыха-

ние приближающейся смерти, смутный страх разлуки, которая, в сущности, не есть разлука, — разве во всем этом не ощущаешь невидимую, неведомую гармонию, лад, завершение, точно жизнь — это беззвучная симфония, ритмично развивающаяся от одной части к другой, такая разная на всем протяжении и все-таки цельная, рожденная беззвучным пением двух изначально обособленных жизней мужчины и женщины.

Таков брачный союз, его таинство, которое осуществляется здесь, на земле. Какое нам дело до того, что будет на небе. Брак должен осуществиться здесь, на земле. Или нигде. Великие святые, и даже Христос, жили и живут для того, чтобы внести в это таинство новое наполнение и новую красоту.

Но — и это «но» пронзает наши сердца, как пулей, — истинным может быть только брачный союз, постоянная основа которого — фаллос, если брак связан с землей и солнцем, планетами и звездами, дневными, месячными ритмами, сезонной, годовой и вековой цикличностью. Если он основан на созвучии крови. Ведь кровь — субстанция души, самых глубин подсознания. Кровь дает жизнь, мы движемся, дышим, живем работой сердца, печени. В крови знание,

чувствование, бытие неслиянны и нераздельны. Никакой Змей и никакое яблоко не смогут разрушить это единство. Истинный брак держится на союзе крови. Фаллос — это столбик крови. И он наполняет собой долину крови женщины. Великий поток мужской крови устремляется к самым истокам великого потока женской крови — не вторгаясь, однако в его пределы. Это сильнейший из всех союзов — и это ведомо всем религиям мира. Это одна из величайших тайн, даже, пожалуй, величайшая, как явствует из всех инициации, утверждающих верховенство брачного таинства.

Два потока крови, две извечных реки, мужчина и женщина, и связующее их звено — Фаллос, нерасторжимо замыкающий два потока в одно кольцо. И это единство, осуществляемое на протяжении жизни двумя разобщенностями, есть величайшее достижение времени и вечности. Им рождается все прекрасное на земле, создаваемое человеком, им рождаются дети.

Мужчина умирает, женщина умирает, разлученные души возвращаются к Творцу. Так ли это? Кто знает? Мы знаем одно — единство кроветока мужчины и женщины в браке завершает Вселенную, течение звезд и движение солнца — и в этом космическая задача человечества.

Но всему этому есть и свой антимир. Это — современный фальшивый брак, а нынче почти все браки — фальшивые. Современные мужчины и женщины — сплошь личности, и в брак вступают именно личности, которые обнаружили, что у них общие вкусы на мебель, книги, развлечения или спорт, их восхищает в партнере ум, им интересно говорить друг с другом, словом, один от другого в восторге. Это сходство умов и вкусов — прекрасная основа для дружбы между мужчиной и женщиной, но оно губительно для брака. Ведь брак это и есть сексуальная активность, а сексуальная активность есть, была и будет в каком-то смысле враждебна интеллектуальной, личностной близости мужчины и женщины. Почти аксиома, что брак между двумя личностями рано или поздно приводит к взаимной, на первый взгляд необъяснимой, ненависти. Стыдясь, они пытаются ее прятать, но она все равно прорывается, причиняя боль всем, а особенно «любящей чете». Сильно чувствующие люди доходят в ненависти до исступления.

Истинная причина этого заключается в том, что родство вкусов, склонностей, умственных и духовных интересов, увы, очень редко совместимо с взаимным сексуальным согласием двух

кроветоков… Таково одно из свойств человеческой психики.

Если Англии и суждено возродиться, это будет скорее «фаллическое», а не сексуальное возрождение. Поскольку «фаллос» — единственный великий символ божественной витальности человека, унаследованный от древних. Вот тогда возродится и брак, истинный, фаллический брак, следующий циклическим ритмам космоса. Мы живем сейчас среди несчастных, слепых, разобщенных людей, чье главное развлечение — политика и гражданские праздники. Человечество должно вернуться на круги своя, вновь обрести нерасторжимую семью и единение с космосом. Это означает возврат к древним устоям. Их придется создавать заново. А это труднее, чем проповедовать Благую весть спасения. Оглянитесь вокруг. Человечество не только не спасено, оно почти на краю гибели, полного уничтожения. И мы должны вернуться назад, в ту эпоху, которая была задолго до Платона, зарождения идеализма и христианской идеи страдания. Иначе нам не подняться на ноги. Евангелие спасения, отречение от плоти усилило трагическое восприятие жизни. Спасение и трагедия — в сущности одно и то же, и теперь им пора покинуть историческую

сцену.

Последние три тысячи лет человечество бродило в пустыне бестелесной духовности и трагедии. Сегодня этот искус завершен. Конец трагедии: сцена, как в театре, усеяна мертвыми телами. Бессмысленные жертвы, и это особенно страшно. Занавес падает.

Но в жизни занавес не опускается. Лежат мертвые тела, одним придется убирать их, другие продолжат действие. Это — завтра. А сегодня? Сегодня — новый день, сменивший эпоху идеализма и трагедии. Уцелевшие герои застыли в немой сцене. Но жизнь идет своим чередом.

Нам предстоит восстановить великие связи, разрушенные гениальными идеалистами прошлого. Будда, Платон, Иисус — все они с глубоким пессимизмом воспринимали жизнь. Человек обретает счастье, учили они, только уйдя от жизни, от ее сезонных, годовых циклов рождений, смертей, плодоношения и приобщившись к вечной, незыблемой жизни Духа. И вот теперь, после почти трехтысячелетней отъединенности от ритмов космоса, мы понимаем, что отчуждение не есть ни свобода, ни благостыня, это — ничто, пустота. Величайшие мыслители и учителя только отсекли человечество от древа жизни. Это наш

трагический опыт.

Космос для нас мертв, как нам вновь ощутить его живое дыхание? «Знание» убило солнце, оно для нас — раскаленный газовый шар. «Знание» убило луну, она теперь — мертвая маленькая Земля, испещренная древними, кратерами, как лицо оспинами; Земля убита автомобилями, она для нас место для езды, более или менее ухабистое. Как же вернуть величественные сферы отраженных в душе небес, которые наполняют нас ликованием? Как вернуть Аполлона, Аттиса, Деметру, Персефону и подземные камеры Плутона? Как вновь узреть Венеру, Бетельгейзе, Вегу?

Мы обязаны вернуть человечеству этот мир, в котором только и может счастливо обретаться душа человека, его высшее сознание. В мире разума и науки, в этом сухом стерильном мирке солнца — газового шара, луны — мертвого осколка нашей планеты, счастливо обретается лишь абстрактный ум ученого. Да, вот каким представляется мир современному человеку, у которого разорваны связи с космосом. Человеку, связанному пуповиной с Вселенной, мир видится иным: то он лазоревый, пастельный, то темный, как подземное царство. Луна то наполняет восторгом, то заставляет тосковать по ней, солнце

то как огромный рыжий лев грозно рычит, выпуская когти, то, как львица детенышей, нежно лижет нас живительными лучами. Существует много способов познания мира, много видов знания. Человек обладает среди прочих двумя: логическим, научным, рациональным — способ человека, отчужденного от космоса, и противоположным ему, который я бы назвал религиозным, поэтическим постижением мира.

Когда Платон начал свой великий крестовый поход, он не думал об утрате этих связей, его волновали «идеальные сущности». Секс — великая связующая сила. Два сердца, объединенных его великой, замедленной вибрацией, счастливы именно со-единением. Идеалистическая философия и религия именно это единение и избрали своей мишенью, вознамерились его убить. И преуспели в этом. Убили наповал. Последний всплеск надежды и дружелюбия был затоплен кровью и грязью войны. И вот теперь каждый человек — крошечная замкнутая в себе личность, особь. И хотя «доброта» сегодня общее поветрие — добрыми должны быть все, — под доброй улыбкой прячется жесткое, холодное сердце. И это, пожалуй, хуже всего. Каждый держит за пазухой камень. Человек ощущает ближнего своего как

источник опасности. В обществе восторжествовали индивидуализм и персонализм. Если я, как личность, отчужден от всех, то любая тварь, особенно человек, всегда против меня. Такова отличительная черта эпохи. Все мы внешне добры, ласковы, но только потому, что в душе у каждого затаился страх.

Обособленность, рождающая чувство опасности и страха, усиливается по мере того, как слабеют между людьми теплые человеческие связи. Одновременно с этим растет индивидуализм, формируется отчуждение личности. Первыми вступают на путь индивидуализма так называемые культурные слои общества, и они первые чувствуют опасность и страх. Простолюдины дольше сохраняют старые, клановые узы. Но в конце концов и они их теряют. Тогда и возникают классовое сознание и классовая ненависть. Классовое сознание и классовая ненависть — лишь свидетельство того, что старые родовые связи окончательно порвались и человек ощущает себя отчужденной ото всех личностью. В обществе появляются группировки, партии для совместной борьбы и выживания. Наступает гражданская нестабильность.

Это еще одна трагедия современной жизни.

В старой доброй Англии между людьми существовали тесные связи. Сквайры были грубы, высокомерны, несправедливы, отличались буйством натуры, но они были плоть от плоти народа, частицей общего кроветока. Мы чувствуем это, читая Дефо, Фильдинга. Тогда были характеры, теперь — личности.

Сэр Клиффорд, герой романа — продукт нашей цивилизации, личность, утратившая все связи со своими соотечественниками, мужчинами и женщинами. Тепло человеческих отношений ему неведомо, очаг его холоден, сердце — мертво. Он добр, как велят устои, но простое человеческое участие ему чуждо. И он теряет любимую женщину.

Меня много раз спрашивали, умышленно ли я сделал Клиффорда калекой, не символично ли это. Мои собратья по перу говорят: не лучше ли было создать его целым и невредимым — женщина от такого все равно уйдет. Право, не знаю. Сев за роман, я не думал ни о какой символичности. Когда стали вырисовываться образы Клиффорда и Конни, я и понятия не имел, что они такое и как все у них будет. Но роман был переписан три раза от начала до конца. И когда я прочитал первый вариант, мне сразу пришло в голову, что

увечность Клиффорда символична. Она символизирует глубокий эмоциональный паралич большинства современных мужчин того класса, к которому принадлежит Клиффорд. Я понимал, что этим самым я делаю Конни менее привлекательной в глазах читателя. Не очень-то красиво бросить пострадавшего на войне мужа. Но их отношения складывались сами собой, и я не хотел в них вмешиваться. Символична увечность Клиффорда или нет, роман неизбежно должен был вылиться в то, что он есть.

Одна газета пожалела бедного итальянца-наборщица, не знавшего ни слова по-английски и, по-видимому, втянутого в этот скандал обманно. Спешу разуверить почтенную газету, никакого обмана не было. Маленькому седоусому итальянцу, только что женившемуся второй раз, было сказано: «В этой книге имеются такие-то и такие слова, и она описывает кое-какие вещи. Если вы боитесь неприятностей, можете отказаться от этой работы». Наборщик спросил, что это за вещи, а узнав, сказал с типичной невозмутимостью флорентийца: «Ну и что, мы этим занимаемся каждый день». И вопрос был исчерпан. Поскольку в книге нет ничего политического, ничего вредного, то и говорить больше не о чем. Дела

житейские, так сказать.

Одна американка, прочитав книгу, заметила: «Муж — интеллектуальный вампир, любовник — сексуальный маньяк. Бедняжке Конни не из чего было выбирать. Обычная история».